

Анатолий Даров

БЛОКАДА



Анатолий Даров

Блокада

«ПОСЕВ»

1964

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2РОС=РУС)6-41

Даров А. А.

Блокада / А. А. Даров — «ПОСЕВ», 1964

ISBN 978-5-85824-206-2

Автобиографический роман Анатолия Андреевича Дарова (Духонина, 1920–1997) имеет длинную историю. Весной 1942 г. автор был эвакуирован из осажденного Ленинграда в Пятигорск, где летом попал под немецкую оккупацию. Первый вариант книги был написан по свежим следам и публиковался под названием «Ленинградский блокнот» в газете «Новая Мысль» в Николаеве в 1943 г. Публикация вызвала нездоровый интерес гестапо, и следующий вариант автор издал уже после войны, в 1945 г. в Мюнхене, будучи беженцем, малым тиражом на ротаторе. Но книгу заметили и положительно оценили эмигрантские критики. Части ее печатались в журнале «ГРАНИ» в 1954–1955 гг. под названием «А солнце всё же светит», затем по-французски в издательстве «Галлимар», где роман выдержал семь изданий, а Харрисон Солсбери в известной книге «900 дней» во многом опирался на показания Дарова. Окончательный вариант романа «Блокада» вышел в Нью-Йорке в издательстве братьев Раузен в 1964 г.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2РОС=РУС)6-41

ISBN 978-5-85824-206-2

© Даров А. А., 1964

© ПОСЕВ, 1964

Содержание

1. Кубань – Ленинград	6
2. Встреча на диспуте	9
3. Все о том же	14
4. Лебединая песня фонтанов	18
5. Хождение в народ	20
6. Мир идет на убыль	26
7. Буря грянула	29
8. Оккупы	34
9. Первые удары	37
10. Фоновое кольцо	41
11. «Административка»	45
12. Дракон, упавший с неба...	47
13. «Поцелуев» госпиталь	52
14. Спите, герои	58
15. Жить можно	61
16. Залитый кровью	65
17. Солнце блокады	68
18. «Но Ленинграда мы сдавать не будем»	71
19. Саночки открывают навигацию	74
20. Две сестры	81
21. Октябрьский праздник	87
22. Вечная прописка	92
23. Третий полюс	98
24. Конец серого котенка	103
25. Бытие	107
26. Дочь России	115
27. Ненормальное чувство	120
28. Голодный рынок	128
29. Мертвые кормят живых	136
30. Шоколадный медвежонок,	143
31. Две встречи	153
32. Общежитие	164
33. Эрмитаж	175
34. Ломая кольцо блокады...	185
35. Конец компании	190
36. Невский проспект	199
37. Один	205
38. Ленинград – Кубань	214



Анатолий Даров Блокада



Работа художницы de Roberty la Serda

1. Кубань – Ленинград

Скорый поезд, несущий на себе пыль огромных пространств, выбившийся из графика еще где-то под Орлом, с полного хода врезался в широкую, извилистую сеть Большой Москвы. Быстро мелькают подмосковные дачи, аляповатые рекламы, заводы, неожиданно многоэтажные дома.

Молодой человек чуть не весь влез в окно, плечами на распор, кричал:

– Здравствуй, Москва, Москва моя!

Рубаха вылезла из брюк, обнажая загорелую широкую спину. Мало что можно было видеть в окне рядом стоящему приятелю; он ворчал:

– И пусть будет твоя, но дай же и другим посмотреть на Белокаменную, твердокаменную, слышишь, Иван?

– А что, завидно? – Иван резко повернулся, щуря зеленовато-хитроватые глаза и улыбаясь всем скуластым, обветренным лицом. Курносый нос облупился, волосы на висках за лето стали совсем пепельными, жесткими и торчали во все стороны. – Конечно, Москва моя, а не твоя. Можешь ехать дальше, в свой Севпальмир. Дыши там, на здоровье, духами и туманами, кашляй и читай Блока... Вот видишь, Москва-Сортирочная! Ура! Херсон перед нами!

– Дурак, еще не проспался со вчерашнего.

– С какого вчерашнего, когда мы уже двое суток в дороге?

Эта была правда. Третью тысячу километров отстукивали под ними колеса.

Друзья выпили третьего дня, накануне отъезда из родного города, который был и не большим, и не знаменитым, но родным, и любимым.

Главная улица, как и во всех городах Кубани, называлась Красной. Красного в ней, правда, было очень мало, если не считать нескольких двухэтажных домов дореволюционной постройки и одного нового пятиэтажного дома – детища первой пятилетки. Рассказывали, что не успели его построить, как инженер сел в тюрьму: дом как-то подозрительно покосился, пришлось стены валить и ставить заново. Жильцы долго не могли спать спокойно: вдруг завалится?

Базары были во все дни, за исключением дождливых. Колхозники привозили свои «излишки», городские торговки – всякое барахло, от современных мешковатых, поношенных костюмов до изъеденных молью смокингов, антикварные вещи, книги, старые журналы, открытки с Верой Холодной и граммофоны с тубным гласом.

Был фотограф-моменталист (частник, с видами Кавказа и породистой фанерной лошадию. К лошади полагался всадник, обязательно в черкеске и с кинжалом).

В жару мальчуганы продавали воду – по пятаку за кружку. Если вода была со льдом, то и с соломой. Выпив, каждый старательно тряс кружку кверху дном: все пили из одной – люди свои, русские.

До самой войны внешне много еще оставалось от нэпа, но базарный дух был уже не тот. Больше покупали, чем продавали (основное отличие). Меньше стало нищих, почти перевелись мелкие воры, а крупные были незаметны. По вечерам молодежь танцевала в городском парке, но чаще пары ходили из конца в конец Красной улицы. Все грызли жареные подсолнечные семечки, шелуху сплевывали на тротуары. Это считалось «некультурным», но все же сплевывали.

Ничего особенного не было в городе Гирее, но была – плыла охватывающая его серебряной подковой – Кубань, широкая, полноводная река: двуглавым орлом слетает она с Эльбруса и двумя рукавами впадает в два моря – Черное и Азовское: берега ее – если не бескрайняя степь, то дубовые рощи, пески или камыши.

А за городом, с южного форштадта, стоит гора невысокая, но называется она – Кавказская. Это и есть начало Кавказа.

* * *

Поезд (Сочи – Ленинград), был единственным, в котором можно было проехать Москву без пересадки. Но какой же уважающий себя русский не остановится в Москве хоть на денек?

Вокзальная площадь встретила друзей обычным круглосуточным столпотворением, которое поражает многих, даже издавших виды иных столиц иного мира. Москва не больше других европейских столиц, но как железнодорожный узел она не знает себе равных, связывая тысячекилометровые пространства страны, едва успевая принять и отправить потоки грузов и людей.

Друзья были не из тех, которых поражает столица, но и они каждый раз, возвращаясь с каникул, после ласковой и мягкой тишины родного города слегка обалдевали в московской суматохе.

Был у них в Москве еще один одноклассник-земляк.

Студент Московского авиационного института (МАИ) Гриша Ивлев жил в общежитии недалеко от института, на «развилке» Ленинградского и Волоколамского шоссе. Здесь Москва кончается – пустырями и далеко разбросанными друг от друга новостройками. Недалеко отсюда – конечная станция метро второй очереди, «Сокол», стадион «Динамо», ресторан «Спорт» (бывший знаменитый «Яр») и газетно-журнальный комбинат «Правда».

Здесь же, недалеко от МАИ, открылся недорогой, преимущественно для студентов, ресторан «Сочи» – веселый деревянный домик с оградой, оплетенной повитью, и с пальмами в кадках. Здесь и работал, вернее – подрабатывал судомоем – Гриша Ивлев, будущий авиаконструктор.

Он был рад приезду гостей, знал, что приедут, ждал их. Вместе и вволю пообедали – подавал сам Ивлев. За бутылкой дешевого вина раздумывали, куда податься. Хотелось Дмитрию побывать всюду – и в Сокольниках, где жил Якушев, и в Центральном парке, и в Химках, и в «Аквариуме». Но Иван сказал одно слово: «Выставка», – и всем оно понравилось:

– Идет.

– Едем. Катнем.

– И кутнем.

Имелось в виду специальное «Выставочное» пиво, лучшее в Москве. Нигде, кроме Выставки, оно не продавалось.

По дороге пришлось использовать все виды прославленного московского транспорта: начали с метро, затем – на «перекладных» трамваях и автобусах, и, наконец, на двухэтажных троллейбусах. На втором этаже разрешается курить и пепел сбрасывать на головы прохожих. На пересадках пили пиво – жди, пока доберешься до «Выставочного».

Характер путешествия определил стиль культпохода.

Во-первых, на Выставку попали через забор (по заборной книжке). «Лишь бы не было собак», – сказал Иван. Собак не было.

Во-вторых, напились, наконец, «Выставочного».

В-третьих, поссорились. Ссора началась из-за того, что Ивлев, после всяких племенных коров (с доярками), коней (с конюхами) и мичуринских фруктов (с мичуринцами), вдруг воззрился, закинув голову, на монумент Сталина среди центральной аллеи.

– И этого... сюда... привели... поставили. Как племенного производителя, что ли? Чем же его тут, дьявола, кормят? Сенцом, что ли? А поят чем? Кроушкой нашей, наверно!..

Стоит ли говорить о том, что, в-четвертых, их выставили с Выставки. Благо до милиции не дошло. Это был один из последних дней сезона, москвичи валом валили на бесплатную раздачу редкостных фруктов, по этому поводу пьяных было много, на них не обращали внимания.

Сумерки застали компанию на гранитном берегу Московского моря, у Химкинского вокзала, славящегося своим рестораном, но зайти – уже не было денег. Ничего, зато выкупались, ныряя прямо с дебаркадера, и протрезвились.

Побывали на Тверском бульваре, в гостях у Пушкина. Поэт стоял, по-прежнему задумчиво, склонив немного набок свою самую умную, как сказал Николай I, в России голову, не смотря в сторону мрачного, серого дома «Известий». Но лик поэта при свете фонарей – его собственных, его телохранителей, отлитых из той же бронзы тем же Опекушиным, – казался печальней, чем днем.

– Главное, пройти около, – говорил Дмитрий, – и поздороваться, тогда я могу спокойно ехать. Он, уже почти ленинградец, т. е. человек, по гроб жизни не признающий первенства первопрестольной, – все же любил Москву, любил бывать в ней и зимой, и летом, бродить по бульварам и площадям.

* * *

Последний поезд на Ленинград отходил в 11.00. Дмитрий вбежал на платформу тоже в 11.00. – И вот снова стук колес, и снова замирает сердце в восторге от того, как много земли оставили нам наши предки и как прекрасна и необъятна эта земля!..

Поезд, хоть и не «Красная стрела», но летит стрелой по единственной в мире прямой дороге, натянутой между двумя столицами, как струна. Постепенно нарастает шум, как рокот прибоя, накатывающегося на прибрежный гравий.

Дмитрия томило какое-то предчувствие, хотя ничему «такому» он не привык верить. Почему-то, прощаясь, плакала мать, как будто в первый раз уезжает, и ведь не Бог весть куда. «Быть может, – думал он, – на этот раз я уезжаю из дому “всерьез и надолго”» (ему нравились эти слова Ленина о нэпе). Не предстоит ли что-нибудь великое и страшное, грандиозная катастрофа, трагедия, – и надо было еще больше, целиком и насквозь, пропитаться южным солнцем, веселым ветром и любовью к жизни, чтобы мужественно устоять во всех бедствиях и остаться самим собою.

Потом он уснул. Ему снились развалины каких-то замков и крепостей, пивные бочки, падающие с неба, шторм на море, зеленоглазая девочка с желтыми косичками, потом еще что-то – пока кто-то не крикнул у него над ухом:

– Херсон перед нами, господа неврастеники!

Поезд подходил к Ленинграду-Сортировочному, а перед Дмитрием стоял Саша Половский, лучший друг по институту, маленький, каштаново-курчавый, синеглазый минчанин. Он крепко скрестил руки на груди и смотрел в упор.

– Свинья – почему не писал?

– А ты?

– Я – другое дело. Я, может быть, был влюблен.

– Поздравляю. Вечно в кого-нибудь.

– Поздравь свою бабушку. Давай лучше лапу, да хоть посмотрю на тебя... Хорош гусь, нечего сказать. Кажется, ты еще способен расти, дубина стоеросовая? Загорел, черт. И глаза совсем какие-то голубые стали. И чуб на месте. Нос орлиный. Нет, зачем я сказал – гусь? Орел – это да. Курск опять же.

– А ты что розовенький такой, Саша?

– Да еще в Минске от стыда покраснел...

– За что же?

– Да за любовь свою. Ты же меня знаешь. Ну, никак не мог поцеловать. Так и уехал. А теперь – стыдно.

2. Встреча на диспуте

Кончилось лето, солнцем согрето, – по небу ползут тучи хмурой ленинградской осени. Срываются первые уверенные капли, чтобы вскоре повиснуть – с утра до вечера – «мелкой сеткой дождя». И это над бескрайним, рвущимся вверх колокольнями и золотыми шпилями дворцов городом! Стыд и срам «этой скудной природы» русского Севера – ограниченное, тупое, глухое небо. Но все равно, это небо родины, под ним рождались и умирали замечательные люди.

31 августа торжественно были закрыты петергофские фонтаны. Теперь фонтаны будут лить с неба.

На следующий день начались занятия в университете, академиях, институтах, училищах и школах.

Что делает студент, возвращаясь в институт после каникул? Прежде всего, как серьезный мужик – хозяйство, он заводит конспекты лекций. Дмитрий старательно вывел на обложках: «История народов СССР», «Западноевропейская литература», «Экономическая география СССР», «Древняя русская литература» – все это церковно-славянской вязью с завитушками.

Уж так повелось, что первые месяцы, до Нового года уходили в учебу: ни одна лекция не пропускалась; потом уходили в себя, т. е. ничего не делали. Правда, Саша Павловский никогда из себя не выходил, писал стихи и читал переводные романы западных и американских писателей. Когда же наступала зачетная сессия, рвали и метали: рвали свои конспекты, метались в поисках чужих, бегали по библиотекам, просиживали над книгами ночи напролет. Результаты экзаменов соответствовали стихийным методам подготовки: иногда были блестящие, но чаще – «скользящие», еле-еле средние.

Первый год учебы и жизни в Ленинграде они назвали культпоходным: экскурсии в музеи, парки, дворцовые пригороды организовывали, помимо института, сами. Второй год был спортивно-бильярдным, причем последний вид спорта грозил стать самым продолжительным и пагубным пороком, не случись крупного проигрыша с дракой.

– С тех пор как отрубило, – рассказывал Саша отцу, хорошему своему приятелю, старому бухгалтеру фабрики «Красная нить», – и рубил ладонью воздух перед его сизым носом.

– Каким будет этот год, – сказал Саша Дмитрию, – мы, конечно, не можем знать (было бы что жрать), но мне бы хотелось, чтобы – театральным. По-настоящему, не как раньше, от случая к случаю, а планоно-календарно. Планоно-экономически.

– Вот найдем работу, хотя бы на 2–3 дня в неделю, – мечтал Дмитрий, – тогда заживем: все театры обойдем.

Работу найти было нелегко, хотя предприятия охотно брали студентов, зная их бедственное положение, но всех не возьмешь – их сотни тысяч!

Саша, никогда не откладывавший на завтра то, что завтра он вряд ли сделает, сразу же после этого разговора заказал билеты на концерт артистов московского Малого театра.

Но этот год не стал для Саши ни театральным, ни учебным. Пришла телеграмма из Минска о смерти отца...

Многие из провожавших девушек чуть не плакали, думая, что в последний раз видят влюбчивого Сашу.

В институте он был знаменит. Во время студенческих волнений, вызванных тем, что правительство, «учитывая рост материального благосостояния трудящихся», решило отнять стипендии у студентов и тем самым «покривить» конституцией, Саша зарифмовал это позорно фальшивое слово с другим, откровенно позорным: проституция. Рифма была не ахти какая, но в такие моменты взволнованным массам только это и нужно. Били стекла в общежитиях, кричали, кто во что горазд, и, конечно, пели песни. Сашу подняли на щит. Поносили, да и

бросили – прямо в лапы НКВД. Самым обидным было то, что дебош он устроил в компании чужих студентов, а донесли свои. Пока он сидел, многие дрожали – от директора до дворника, который, выпив, согласен был с Сашей:

– Оно, конечно, хворменная простипуция.

Но Саша никого не впутал, ото всего «отбрехался», вышел через три месяца бледным, пухленьким и веселым. Больше всего он был доволен тем, что «сидел в одной тюрьме с Лениным», на Шпалерной.

Директор института, старый революционер-публицист, знал и Ленина, и Шпалерную. Он полюбил Сашу за его удачное сиденье. Это он дал ему денег на дорогу и обещал что-то придумать.

Дмитрий, оставшись один, заскучал. Студенты редко бывали дома. Одни работали, другие, как и он сам, искали работу – на это официально давалась одна треть учебного времени, но фактически пропускалось больше.

На курсе и в общежитии все ребята были хорошие, но кто-то же предал Сашу? Для Дмитрия, как и для многих, юных и доверчивых, это был первый удар в жизни.

* * *

В Доме писателя начался долгожданный – лет шесть не было – диспут о советской поэзии. Съехались почти все крупнейшие поэты и критики страны.

Вход на диспут был свободный, но мест не хватало. Жильцы общежитской комнаты, в которой третий год жил Дмитрий, были дружными. Один обычно ехал раньше и занимал места для остальных трех. Сашина кровать осталась пустой.

Все трое – были поэтами. Какие они писали стихи, никто не знал, кроме них самих. Выпив, они нараспев, с подвывом, читали стихи, дружно хвалили друг друга, на остальных смотрели свысока. Алкаева любили за то, что не писал стихов. Печатались они, укрываясь за псевдонимами, по принципу местничества: Сеня Рудин с Северного Кавказа (он же Рудокоп) – в «Орджоникид-зевской правде»; Ваня Чубук («Василько»), полтавчанин, – в «Полтавской правде»; сибиряк Володя Басов (в просторечьи и литературе – Бас) – в трех «Правдах» сразу: Хабаровской, Омской и Новосибирской. «Ну, и “правд” развелось, – говаривал он, – боюсь, как бы меня не пропечатали в “Колымской правде”».

Студенты с партийным стажем, комсомольские активисты и маменькины сынки недолюбливали трех «басенят», называли их кудреватými Митрейками.

*«Кудреватые Митрейки,
Митреватые Кудрейки —
Кто их, к черту, разберет!» —*

писал жестоко-злослычный Маяковский о поэтах-лириках Кудрейко и Митрейко. Так он «репрессировал» многих поэтов и писателей, например, талантливого П. Доронина. Все эти поэты умолкли сами, или их перестали печатать, или посадили. Некоторые из них остались живы и пришли на диспут. Молча сидели они, постаревшие, хлебнувшие, видно, горя и опустившиеся.

«Агитатор, горлан-главарь», их гонитель, давно уже был в могиле, сам не выдержав переменного, как в электрическом токе, напряжения новой эры, которую он так искренне и талантливо воспевал и приветствовал.

Молча сидела за двадцать лет не напечатавшая ни строки поэтесса, прекраснейшая женщина Северной Пальмиры. Муж ее был расстрелян, сын сослан, ее считали тоже погибшей. А она жила. Молчала. Ждала. Чего? Кто знает? Чего мы все иногда ждем? Какого-нибудь лег-

кого толчка или тяжелого удара, мимолетного передвижения чувств, как облаков в небе, или великого обвала...

Поэзия есть во всем: и в хорошей прозе, и в Николаевском мосту, и в шпиле Адмиралтейства, и в мичуринском яблоке. И меньше всего ее в плохих стихах. О них и шла речь на диспуте, который удался на славу, если не считать, что поэты обязательно должны были переругаться между собой и с критиками. Под высокими сводами старинного белого зала висела сплошная ругань. Реплики «дурак», «сам идиот» – никого не удивляли и не огорчали. Наоборот, радовали. Это же была хоть какая-то свобода слова.

В президиуме, как на Олимпе, в облаках дыма сидели маститые – лысые или седые.

Читать свои стихи никому не разрешалось, чтобы диспут не постигло «стихийное бедствие». Некоторых, пытавшихся протащить свое в виде цитат, стаскивали с трибуны за фалды, если не фраков, то все же приличных пиджаков.

И только в последний, десятый день диспута кто-то из критиков вспомнил, что диспут должен был проходить «под знаком Маяковского» – и ни слова о нем.

– Почему же, – возразил один молодой поэт, – хоть под знаком Зодиака – не все ли равно?
– Лучше под знаком любви, – крикнул Бас (басом), – любовь – это сердцевина сердца.

У того, кто вспомнил о Маяковском, спросили, что он писал о «водовозе Революции» раньше.

– Что он водовоз, – ответили с галерки, – и вообще, уважаемый, кто ваши родители и чем они занимались до 17-го года? (Смех).

Посетила диспут еще одна женщина, красавица, причастная к литературе только потому, что большой поэт имел несчастье ее любить любовью «пограндиознее онегинской». Сплетничали, что за ней ухаживал, в ореоле своей славы, моложавый маршал Тухачевский.

*«...Их и по сегодня много ходит,
всяческих охотников до наших жен...»*

А еще была на диспуте одна девушка, которая до сих пор не имела никакого отношения к литературе, а если и будет иметь, то лишь по тому месту, какое она займет среди героев этого повествования.

Окололитературных барышень было полно, но другой такой не было.

– Это не поэтесса, – сразу определил Бас, – это сама Поэзия.

– А сложена... – шептал Сеня Рудин.

– А опять же глаза, глаза – зеленоватости озерной, – почти стихами бормотал Вася Чубук.

Посматривали на нее и с Олимпа умеющие «пленяться со знанием дела». Но всех очарованней глядел Дмитрий. Что-то смутно знакомое, родное и близкое было в ней.

В антракте она прошла мимо переругавшихся между собой кудреек (они и в самом деле были весьма кудлаты и лохматы, недаром дворник называл их дворняжками), взглянула на Дмитрия – не мимоходом, не вскользь, а серьезно и даже недружелюбно. Тон, с которым она к нему обратилась минутой позже, круто повернувшись, шелестя рубцами плиссированной юбки, вполне соответствовал выражению ее больших, хотя и суженных прищуром, глаз:

– Не вы ли – Дмитрий Алкаев?

– Д-д-а, я.

– Я потеряла целый день, чтобы вас найти. Была и в вашем институте, и в общежитии, наконец, приехала сюда, в это сборище явно ненормальных людей.

Кудрейки, сделав вид, что ничего не слышат, разошлись в разные стороны, чтобы сойтись у буфета для обсуждения новой поэтической темы.

Помолчав немного, она продолжала, видимо, довольная его заиканием:

– Я – Тоня Черская. Не путать с Чарской. Устала, пока вас нашла. Потому и сердита. Не обижайтесь. Помните меня?

– Д-да, к-конечно, как же.

– Мы же вместе учились в Гирее, до 5-го класса. Потом нас раскулачили, т. е. отобрали магазин. Отца отправили в Сибирь, а мы с мамой после долгих мытарств попали в Ленинград, к сестре. В этом году по одному делу я была с мамой в Гирее. Она там и осталась. Там я и узнала, что вы учитесь в Ленинграде, адрес взяла у вашей мамы...

Все вспомнил Дмитрий... Очереди за хлебом, кукурузным и сырым. Старшие братья, приходя из школы, по очереди толкут в ступе просо. Просо привозит из своих командировок отец. Но главное – мать. Она умеет варить борщ из лебеды, печь просяные лепешки на сухой сковороде и даже котенку выгадывать какие-то крохи. Котенок все-таки сдох. Старший брат был огорчен больше всех:

– Жрать нечего, а мы позволяем сдохнуть почти взрослому коту тигровой масти. Теперь попробуй, съешь его. Эх вы, гуманисты! (Последнее относилось к матери).

У матери опухли ноги, она с трудом ходит на базар, где уже ничего не продают, только меняют.

Детей не выпускали на улицу после пяти вечера. Да и взрослые не особенно разгуливали. Ходили слухи о людоедстве. По ночам скрипели телеги – собирали и увозили трупы. Трупы были – как плоды, подточенные червем. Ночью их соберут – утром нападают снова – плоды новой, после нэпа, политики. Со всех опустошенных станиц крестьяне тянулись в города, крупный железнодорожный центр. Железнодорожники – все же привилегированная каста, куда-то ездят, что-то привозят.

В школе в каждом классе – опухшие дети. Им дают бесплатный горячий завтрак – во время большой перемены. Все ходят подстриженные под машинку. Раз в неделю раздевают наголо: ищут вшей.

Веселая худенькая Тоня, дочь лавочника, перестала ходить в школу. В лавочке открыли кооператив: гвозди, лопаты, скобяной товар – железо.

Дети учили наизусть стихи:

«Поп – крестом, кулак – обрезом,
Мы – колхозом и железом».

Или:

«Днем, и ночью бегут паровозы,
И упругие рельсы гудят,
Городам говорят про колхозы,
А деревне про город твердят».

...Они два года сидели за одной партой, изредка вежливо дрались. Учились хорошо.

– Любишь ли ты меня? – спросила она однажды.

– Да, но ты же не мама, – ответил он.

Родные ходили друг к другу в гости. В Тонином доме был рояль. Она умела тыкать в клавиши, пока одним пальцем. Никто ее не учил. Не до того было.

Брат-студент спрашивал:

– Если Тоня тонет, что делает ее кавалер Митя?

– Он плачет, – говорил отец.

– Дурак, надо спасать, тащить за косички, – советовал брат.

А Митя и в самом деле плакал. Надоели насмешки.

И когда Тоня уехала, он был даже рад...

Рад ли он был теперь этой встрече – через столько лет, среди самых замечательных, хотя и «ненормальных», русских людей? Он не знал. Но руки его, когда он помогал ей надеть пальто, дрожали.

«Любовная дрожь а-ля мадам Вербицкая», – подумал с досадой, но глядел на нее по-прежнему всех зачарованней – на девушку, пришедшую из детства.

3. Все о том же

Год и в самом деле обещал быть театральным. Тоня выкупила билеты, заказанные Сашей. – Вот я буду вместо Саши – он был твой лучший друг? И я буду. Ведь мы же одни здесь с тобой, землячок...

Она училась на 3-м курсе ларингологического (болезни уха, горла и носа) института. Почему она поступила в этот институт – и сама как следует не знала. Но училась хорошо. Два года была отличницей, хотя в стипендии не особенно нуждалась: жила у «сестры за пазухой», а сестра – у своего мужа, молодого генерала, крупного штабиста. Это он выхлопотал амнистию отцу, и дом их на Кубани приказано было снова отдать им «на вечное пользование». Но отец приехал с дальневосточным экспрессом едва живым и вскоре умер. Дом почти развалился. Ради него и ездили этим летом в Гирей: Тоня – чтоб только посмотреть, сердцем прикоснуться, мать – с твердым намерением больше не расставаться. Получив от генерала деньги на ремонт, она осталась в Гирее, но взяла с Тони слово приехать будущим летом.

– Ты здесь родилась, – сказала она, – люби свой дом. Что родина без родного дома? Ты не помнишь, как мы скитались, пока добрались до Ленинграда...

Тоня забыла о том тяжелом и страшном, что было в детстве. Она росла избалованной и капризной, инстинктивно с лихвой требуя от жизни то, что раньше было отнято. Генерал души в ней не чаял.

Ленинградские дети – организованные. Они с пеленок знают, что такое колыбель революции, «Аврора», Зимний, Смольный. Аничков дворец был отдан им – там они строили или ломали: строили из себя строителей социализма, чтобы всю жизнь потом ломать над ним голову.

Очень долго Тоня думала, что город Ленинград построен Лениным, пока генерал довольно сердито не объяснил ей, что не Лениным, а Петром Великим. Генерал не пропускал ни одной премьеры, ни в опере, ни в драме. Если он брал ложу, то брал с собой и Тоню. Театр был духовной отдушиной для интеллигенции Северной столицы, которая сама еще не так давно была отдушиной всей России.

...У подъезда Дома искусств им. Станиславского – одна афиша с перечислением десятка артистов московского Малого театра, сверхзаслуженных, орденосцев, другая – написана от руки сажеными буквами: «Игорь Ильинский».

Все знают Ильинского – босяка, жулика и проходимца по фильмам эпохи нэпа, знаменит Ильинский – Хлестаков, не имевший дублера, но мало кто знал Ильинского-чтеца.

Тоня так хлопала в ладоши – распухли, и велела Дмитрию целовать их после каждого «номера».

– Неудобно при всех, – ворчал, но целовал.

А Ильинский присвистывал, причмокивал, садился верхом на стул, как на козлы, дрожал всем телом и голосом: насмерть перепуганный чиновник из чеховского рассказа «Напугал».

Лучший комик России брал от публики все, что она могла дать: восторженное внимание, подражание почти раболепное, когда один знаменитый прищур глаза заставляет щуриться сотни глаз. Это не бокс и не борьба, вызывающие судорожные движения зрителей – тоже подражание – рефлекс физический, – но ток высокого творческого напряжения.

В самом разгаре сезона, когда премьеры балета «Кавказский пленник», оперы «В бурю», лермонтовского «Маскарада» и не сходящий со сцены «Отелло» (со знаменитым артистом Ваграмом Папазяном, вернувшимся из эмиграции), – были позади, а впереди приближалась экзаменационная сессия, Дмитрий понял, что он влюблен.

Любовь? Она приходила и уходила уже не раз. Попробуй, разберись, когда она была – или будет – настоящая? «Все минет, а любовь останется». Вот та и будет – любовь, что останется.

Пусть не сразу, с колебаниями, с сомнениями, с разлуками, похожими на «никогда», но уж если останется, то навсегда. Тоня? Но она же родная, девочка с желтыми косичками, а теперь – друг-приятель, говори о чем хочешь, всем делись, верь, как сестре. Но чтобы это была любовь – нет, ему не верилось. Ему казалось, что такая любовь похожа на повторение детской шалости – милой и далекой. И все же...

Они стали встречаться почти каждый день. Занятия были заброшены.

В институте устраивались встречи с известными писателями. Тоне нравились только писатели-старрики: «Спешу видеть, – пока живы». Видели Пришвина, Сергеева-Ценского, Шишкова, Соколова-Микитова. Генерал Игнатьев, автор интересных мемуаров «50 лет в строю», не понравился: вид у него был цветущий, говорил, как Тоне показалось, «чересчур по-русски». И совсем неприятно поразил Новиков-Прибой: вышел на сцену так браво, рассказывал о себе таким звонким, молодым голосом.

– Лучше бы пошли на другого, который в лектории выступает (имелся в виду Телешов), – упрекала она Дмитрия, – тот, наверно, куда дряхлее.

Бывали дни, когда у обоих не было денег. Тогда сидели дома у Тони, в генеральской квартире, играли с хозяином в карты («подкидной дурак») или в «балду». Кто помнит предвоенный Ленинград, эту уже уходящую эпоху, тот знает игру, которой студенты заразили весь город. Это были дни, когда весь город «балдел»: играли в трамваях, в учреждениях, на лекциях.

Генерал с генеральшей обычно «балдели», а Дмитрий и Тоня оставались «в дураках». Чтобы не очутиться в таком положении и на экзаменах, решено было взяться за ум – за чужой ум, обессмерченный в книгах.

У Дмитрия первым шел экзамен по русскому языку – самый страшный для всех студенческих народов, населяющих Россию (разумеется, и русских). Надо знать всего Пешковского (говорили: «Пешковский – Печковский», имея в виду знаменитого певца); всего Даля, не говоря уже о Шапиро. По поводу него ходило изречение Ильи Ильфа: «Все, что вы написали, пишете или собираетесь написать, давно уже написано Ольгой Шапиро, работницей Киевской синодальной типографии».

Настал такой день, когда Тоня не приехала на свидание. «Мы с вами, мистер, больше не знакомы, – написала она, – до конца сессии. Желаю удачи».

Удача была. На «попугаевом билетике» Дмитрию достались местоимения. Он перечислил их, и все, что о них было сказано знаменитейшими грамматиками, и процитировал – насыщенные местоимения – строки одного из самых любимых стихотворений Блока:

*Твое лицо, в его простой оправе,
Своей рукой убрал я со стола.*

Зубрили всей комнатой, вырывая друг у друга конспекты старшекурсников. Любили сидеть на подоконниках, в умывалке, в коридорах, на лестницах – везде, лишь бы не за столом надоевшей за зиму «конюшни». Но больше всего грелись на скупом еще солнышке у дебаркадеров старинного и единственного в городе грязного Обводного канала. Ему, по аналогии с Беломорско-Балтийским, студенты присвоили имя Сталина.

Но в самые напряженные дни сессии, посередине между Кратким курсом истории ВКП(б) и долгим курсом истории России, Дмитрий получил письмо: «Не стыдно ли забывать свою первую, чистую детскую любовь? Я уже сдала ухо и горло, остался нос. Если ты не придешь хоть на один день или сутки, то останешься с носом. А я, черт с ним, его провалю и буду читать вашего Гоголя. Ждем: город Пушкин, Пушкинская улица 34, и я».

Дмитрий, вытащил у храпящего Баса из-под головы конспекты, с радостью пошел «пёхом» на Витебский вокзал. Казалось, что экзаменационная сессия была экзаменом и для их любви.

С замирающим сердцем вышел с Царскосельского вокзала. Вот Пушкинский лицей и столетний парк с вечнозелеными аллеями и вечно первыми грачами. На Пушкинской улице быстро нашел «дом номер 34». Это был обычный для роскошных пригородов небольшой особняк с копыеносной оградой и голубыми «мавзолей-скими» елочками.

Встретила немецкая овчарка – молча, вежливо. Она была спокойная, вышколенная, выхоленная, как сам хозяин-генерал. Генерала не было. Казалось, никого не было дома. Пес улегся на паркете, а гость сел на диван. И уснул.

Проснулся от легкого и мимолетного, как касание ласточкиного крыла, поцелуя. Тоня склонилась над ним – радостная.

- Милый, как хорошо, что ты приехал.
- Прости, что уснул. Сама знаешь, сколько ночей не спал.
- А я загадала: если не приедет, тогда все.
- А если приедет?
- Тогда тоже все.

Почти так и было: почти все.

Они были одни. Даже кухарка и ее муж, «кухарь», инвалид финской кампании, были отпущены в Ленинград.

Пообедали кое-как. Яичница (все, что умела делать), соленые огурцы, водка.

Тоня была в городском русском сарафане – он идет только русским женщинам, – смело декольтированном, легко и плотно охватывающем широкие бедра. Походила скорее на московскую боярышню, чем на казачку. И все ей шло: и ленивая походка, и медлительные, с поволокой, глаза, и манера говорить небрежно, как попало спрягая и распрягая глаголы и вообще всякие слова. Они неслись лихими тройками или цугом, а то и целым табуном.

– Вот, если устал, полежал бы, почитал бы что-нибудь. Вслух. А я слушаю.

У генерала была небольшая библиотека, но нашлась в ней замечательная книга, с любовью изданная, – «Избранные рассказы» Александра Грина.

Запершись в генеральской спальне, они читали до ночи.

– Ах, как он любил, – шептала, почти засыпая, Тоня, – через столько лет, столько мук и так далее, вернуться, встретиться с ней. Ведь мог бы стать идиотом, живым трупом, зверем, кем хочешь? А он – пришел. Здоровый, чистый, благородный. Мог бы ты так любить? Любишь ли ты меня?

– Мне кажется, что ты мне снишься, – сказал он, – ты, эти ковры, сабли на стенах и прочие олени рога. Главное – рога. И эта книга – аромат далеких стран... Чистой, далекой и такой близкой... Можно тебя поцеловать?

– Потом.

– ... любви, любви сновидений. И вот я вижу: на широкой улице, на знакомой улице стоит девочка, окутанная солнцем, и тарашит зеленые глазки, спрашивает меня...

– Да, и теперь снова требую ответа. И прошу не думать при этом о своей матери.

– Хорошо. Ни о матери, ни о родине-матери. Хотел бы я, чтобы ответом моим была вся моя жизнь.

Они целовались долго. Пес сначала вздрагивал, потом ему надоело и он уснул.

– Меня многие целовали, – призналась она. – Не ты первый, но ты будешь последний. Хочешь?

Уткнувшись носом в подушку, он прошептал:

- Я хочу, чтобы ты была со мной всю ночь.
- Я же и так с тобой. А, хорошо. Я понимаю. Я останусь. Но даешь честное слово?
- Ты о чем это?
- Все о том же: о чистой любви.
- Ладно.

– Подвинься же, – попросила она, и они рассмеялись: будто это было не в первый раз.

Прижимаясь, она шептала:

– Мне кажется, что всю жизнь тебя люблю. Ведь когда мы уезжали, я спрашивала: а его, Митьку, не раскулачили? Они не поедут с нами? Мне было твердо обещано, уже здесь, что тебя тоже раскулачат и что ты приедешь. И вот ты приехал. Ты пришел снова – в мою жизнь. Только не целуй меня так шибко. Я не люблю так. Я хочу – нежно, долго, тихонько. Я не страстная, наверное.

Потом она встала, чтобы выгнать овчарку стеречь дом. И через минуту в двери соседней спальни щелкнул замок. Дмитрий остался один.

Под утро радостно взвизгнула собака во дворе. Неожиданно приехал генерал. Дмитрию пришлось переселиться на диван.

– Опровержение ТАСС: некоторые иностранные агентства лгут, что немцы сосредотачивают свои войска на нашей границе, – сообщил генерал. – Раз ТАСС опровергает, значит, быть посему.

– Вы думаете – война? – спросил Дмитрий.

– Да.

– А мне наплевать, – сказала Тоня, – на это у нас есть генералы, всегда приезжающие невовремя.

Генерал качал головой, поджав губы. Он не мог понять, почему не верят, не хотят верить тревожным сообщениям, поступающим со всех сторон. Никто, кроме немцев, не хочет войны. Военные атташе Америки, Англии, Франции считают своим долгом предупредить Сталина. Свои агенты не зевают тоже. Но Сталин никому не верит. Он подсчитал силы. Только сумасшедшие могут решиться напасть на Россию. О сокрушительной силе неожиданного удара он не подумал. Как Гитлер не учел, что этот удар не будет длиться вечно.

Оба ошиблись. Но проиграл только один. А пострадал больше всех русский народ. Немецкий отделался легко.

4. Лебединая песня фонтанов

С Финского залива дул теплый ветер. Каждой весной, вместе с птицами, прилетает этот свободный ветер – дух Европы. Нева смело ломала ледяные устои зимы и последние студеные ее куски быстро сплавляла в Европу: получай, мол, русский сахар.

Студенты, встречаясь, поздравляли друг друга:

– Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Спешите видеть осколки разбитого вдребезги.

– Сами вы осколки, – ворчали старики на набережной, но на них не обращали внимания. С боем брали первые катера, за два рубля катающие по Неве от Зимнего на Елагин остров.

Какой-нибудь крейсер медленно входил в Неву, ошвартовывался у набережной Лейтенанта Шмидта – и всюду мелькали голубые ленточки матросок.

Скоро притащится и старуха «Аврора», станет на своем историческом месте, откуда она из жерла носовой пушчонки возвестила «новую зарю человечества». Теперь это жалкий крейсерок, объект экскурсий, а больше насмешек даже ленинградских пионеров, тонко разбирающихся в классификации современных судов. Устарела «Аврора», поблекли краски, когда-то свежие и яркие, «зари человечества», устарели вожди революции, а многие умерли – если не сами, так с помощью своих товарищей.

«Аврора» – мир уходящий. Она давно снята с вооружения. «Снимут» ее скоро вообще и с движения; последние из могикан самой могущественной партии в мире уступят место своим преемникам, но не таким уже, как они.

... С приходом «Авроры» начинается подготовка к 1 мая. Для России и русской природы это, прежде всего, праздник весны. На международную пролетарскую солидарность наплевать: ни за границ, ни их рабочих, ни их какую-то борьбу Россия не знает и не видит.

Праздник прошел весело. Солнце отстаивалось в термометрах, предвещая доброе лето. Снова весь молодой Ленинград был в Петергофе – на открытии фонтанов.

По сигналу фанфар – разом, как цирковые белые лошади, вздыбились фонтаны к небу – по всей аллее, уходящей к морю; «Самсон» выплеснул свою струю, переплюнувшую Версаль. Сверкающий столб, как смерч, встал из пасти льва, над могучими плечами Самсона, отполированными великими мастерами, водой и временем.

В 9 часов смолкли джазы и оркестры, звеневшие во всех углах парка. На нижней площадке, среди фонтанов Большого каскада, начался балет «Лебединое озеро». Мариинский академический театр перед отъездом на гастроли выступал в полном составе своей балетной труппы со знаменитой прима-балериной.

В перерывах, когда утихал оркестр, в воздухе дрожал тонкий, прозрачный звон фонтанных струй, мягко падающих на мраморные плиты. Переливаясь в радуге прожекторов, они звенели как струны. Звенели и пели...

И кто бы мог знать, что это был не только балет «Лебединое озеро», но и лебединая песня петергофских фонтанов. И знал ли Самсон, что вскоре его сильное бронзовое тело враги распилят на трофейные куски и увезут к себе в Берлин?

И знали ли эти сотни молодых людей, веселившихся на медяки, что это их последний праздник, что война рассечет на части не только Самсона, но и прекрасное тело еще более могучего богатыря – России, что она исковеркает и их молодые и крепкие тела?

Кто бы мог знать... Точно – никто, конечно, – ни времена, ни сроки. Но предчувствовали войну не только слабонервные. Она уже плескалась на Западе – правда, не совсем похожая на войну – без русской крови. Война начала проигрывать от того, что в ней не участвовала Россия. Она топталась на месте.

Россия молчала. От России-сфинкса почти ничего не осталось. Она просто не знала, что сказать. Она не была готова к войне. Вожди, больше для самоуспокоения, говорили: «Политика нашей партии обеспечивает нам мирную жизнь в то время, как уже почти вся Европа узнала бомбардировку с воздуха. Мы живем спокойной жизнью и с каждым днем ее улучшаем».

Но ни в спокойную жизнь, ни в ее улучшение никто не верил.

5. Хождение в народ

Нервное напряжение экзаменационной сессии всегда разряжалось бурно, но старожилы не помнили более безобразных дней: за неделю до отъезда на практику вся «общежитка» перепилась. Началось тихо и культурно, с цитатами из классиков мировой литературы, потом пошло «очко». Целый день с утра кто-то проигрывал, кто-то выигрывал, но к вечеру неизменно все были пьяны. Случилась драка, тоже какая-то необычная, в стиле этих дней, наполненных ожиданием чего-то. В ход была пущена государственная мебель и даже матрацы. Один матрац, тюремно-полосатый, выпал в окно (со второго этажа). И надо же ему было придавить не простого смертного, а милиционера, которого жалели: одни – что едва не умер, другие – что остался жив. Протокол был подписан и разорван, пострадавший выпил мировую.

Наконец поехали – во все углы страны, краеугольные и медвежьи. «Этот содом не перед добром», – думал Дмитрий, покидая Ленинград. Он избрал редакцию газеты одного из промышленных городов области, чтобы быть поближе к «предмету». Тоня осталась дома, она не могла сама выбирать место практики, ее назначили в городской госпиталь. Обещала: «Один раз как-нибудь заеду, приеду на день-два», и сразу же – уехала обратно.

Сотрудники редакции были, как все «газетчики» во всем мире, веселые, «не любили» выпить, «зверски» играли на бильярде и волочились за всеми, особенно приезжими из Ленинграда, дамами.

Почти одновременно с Дмитрием в редакцию приехал почетный гость, разъездной корреспондент «Ленинградской правды» Михаил Жилев, знакомый не только по редким и всегда интересным очеркам в центральной прессе, но и по бильярду в Доме журналиста (на Фонтанке). Бывал он и в институте, сам когда-то его окончил.

По-советски солидный и по-русски добродушный, последней молодости, когда округлившийся живот начинает перевешивать чашу жизни книзу. Но Жилев потуже перетягивался широким командирским ремнем, мотался из конца в конец страны, много писал, еще больше читал, мечтал, не сдавался.

Военный покрой штатского платья или полувоенная форма, введенные в моду Сталиным, к тому времени им же, наверное, были запрещены или попросту всем надоели. Но Жилев по-прежнему щеголял хромовыми сапогами со скрипом.

– Я и войну люблю, – говаривал он не раз, – и на будущую Мировую возлагаю большие надежды.

Какие – об этом он помалкивал, но хитровато шурил голубые ярославские глаза, как будто через их шелки ему было виднее.

Дмитрий встретился с ним как старый знакомый, как всегда встречаются ленинградцы, где бы они ни были; рассказал о своих муках в отделе писем. Попадают такие каракули рабочих и крестьян, что черт в них ногу сломит. Бывают и послания, похожие на косвенный донос. Некоторые редактор, поколебавшись, бросает в корзинку, другие – без колебаний – относит «куда следует».

– Именно, куда не следует, черт возьми, – ворчал Жилев, – но это уже не наше дело. Поговорим о девочках. Как поживает ваша старшая машинистка? Бросьте вы все это и идите в народ! Вспомните народников. Правда, их хождение в народ привело к нашему хождению по мукам... О чем это я? Да, я люблю ваш институт. Что за великаны – наши стариканы профессора! Особенно Аралов. Как он любит смаковать некоторые места в «Великом Зерцале», как читал эти, как мы называли, «Черти-Миней». Он все же скажет новое слово о «Слове о полку Игореве» – двадцать лет пишет. И ребята у вас хорошие. Правда, евреев больше половины. Это в процентном отношении – нехорошо. В издательства, в газеты, в театр – так и прет это племя знакомое. О чем это? Да, не сыграть ли нам, по старой памяти, пирамидку?

В гостинице был единственный на весь город настоящий большой бильярдный стол. Больше часа не поиграешь – всегда очередь. Несколько местных профессионалов, зарабатывающих себе пропитание «облапошиванием» приезжих, только взглянув на то, как гости держат кий, отошли в сторону. Жилов играл мастерски. Приседал, «тянул на себя шара» и сам тянулся, кривлялся, охал и ахал; каждый раз, когда прицеливался «срезать» шара в среднюю лузу, говорил по-украински:

– Оце ж я його злызгну, тонэсенько, тонэсенько, – и «слызгивал» без промаха. Хвастался:
– Я мастер по средним.

Через несколько дней предложил Дмитрию сходить с ним на керамический завод, один из самых больших в стране.

В пекарне пекут хлеб «кирпичиком», а на заводе «Красный керамик» в огромных печах, почти доменного размаха, пеклись кирпичи, как хлебы. Мощные прессы выдавливали чудовищные формы каких-то станин, цилиндров, пушечных жерл.

Завод не успел бы обойти и за весь день, да и все равно – что бы поняли? Жилов, по профессиональной привычке, зашел в кабинет парторга. Тот все знает. Но и всего боится. Особенно корреспондентов. Для него они хуже НКВД.

Мимо Дмитрия, вздрагивающего от периодических грохотов и тресков, женщины катили вагонетки с глиной по узким рельсам. Рельсы были проложены по всему заводу – похоже было на большой железнодорожный узел в миниатюре. Иногда на стыках рельс вагонетки сходу опрокидывались, и женщины поднимали их. Они сбегались со всех сторон; одни как-то наваливались на вагонетку спинами, упираясь ногами в землю, другие налегали грудью, третьи лезли под колеса – и, глядишь, все вставало на свое место, куда-то катилось, взад-вперед, целый день. Сотни людей таскали мешки с чем-то, тянули волоком трупобразные болванки – кричали, ругались, сбивались с ног. Это был один из подсобных цехов, и люди в нем назывались подсобными рабочими. Не будь их, не жили, не горели бы огнем творчества другие цехи высокой техники, цехи прессов и печей, цехи-диктаторы, сжигающие ручной труд людей-рабов.

Шилов недолго был у парторга:

– О чем говорить с этим чинушей и дураком? Все хорошо, но вот на розово-кирпичном фоне есть темное пятно: формовочный цех, где начальником товарищ такой-то, не выполняет месячного задания. Давно, давно пора... Ударить по рукам... и т. д.

Обедали вместе. Ресторан, знакомый Шилону по его прежним наездам, аборигены называли «Адис-Абеба – садись обедать» – африканская жара устойчиво держалась в нем зимой и летом, и мухи спокойно жили, плодились и кусали граждан круглый год, побивая все рекорды мушиной долговечности. Заведующему столовой не раз предлагали пометить крыльшки какой-нибудь нахальной мухе, а через года два сообща изловить ее и отправить в подарок Академии наук или Негусу в Лондон. Пусть это будет для него утешением в эмиграции. Ресторан был обычной жертвой фельетонистов. Но фельетоны писались, а мухи все кусались, потому что – не разваливать же печь? А все дело в ней: ее огромный дымоход целой стеной выходил в столовый зал.

Но повар был на высоте, меню недорогое, и публика, скрепя сердце, потела и ела.

В городе за годы индустриализации значительно выросла «классовая прослойка» холостяков, да еще пополнилась пришлым элементом – людей без роду, без племени: город официально считался 101-м километром. Этой дикой средневековой чертой отчуждения отгораживались новоявленные отцы северной столицы от «неблагонадежных».

Слава Богу, в нашем веке люди еще находят пути от сердца к сердцу, любят поговорить по душам, по-дружески выпить.

Дмитрий по неопытности ничего не признавал, кроме водки, а выдавший виды Шилов только водку и знал. Поэтому обед мог затянуться до ужина, если бы Шилов не решил вдруг

ехать домой, в Ленинград. Багаж его был всегда с ним – огромный портфель рыжей и потрескавшейся кожи.

– Люблю этот город, – говорил он по дороге на вокзал, – не то, что Новгород и Псков: там слишком пахнет ладаном.

Они проходили мимо старинного монастыря, окруженного колючей проволокой, с наблюдательной вышкой посреди двора.

– А здесь чем пахнет? – спросил Дмитрий.

– Чертом с ладаном, вот чем. Все-таки это безобразия, из монастыря, тюрьмы духовно-добровольной, делать тюрьму настоящую. Да еще здесь, посреди города – родины самых красивых в России женщин.

– Что-то я этого не заметил.

– Напрасно. Я, старый развратник, утверждаю это. Я любитель красивых женщин: отдыхает взор. И родины большой любитель и знаток. Только она меня не баловала.

– Как? Почему?

– Эх, брат-демократ, долго рассказывать. А вкратце – в гражданскую войну, безусым энтузиастом, командуя отборным (в смысле сброда) батальоном, я взял несколько каких-то полунаселенных пунктов, одержал несколько небольших – над врагом – и величайших – над своими солдатами – побед. Два раза я попадал под расстрел к белым, а один раз, и это стоило мне седых волос, к красным.

– А к своим-то как?

– По ошибке. А думаешь, эти, что здесь сидят, в монастыре с новым советским уставом, почему попали? Тоже по ошибке, а еще по русской дурости и хамству (с обеих сторон), плюс широкий размах и минус американская деловитость. Это я еще осторожно выражаюсь. Мне и самому не хочется ни говорить, ни думать хуже. Ведь я – настоящий коммунист, старики-карьеристы и молодые сосунки мне не ровня.

– Я слышал, что вы лично знакомы со Сталиным и имеете орден Красного знамени один из первых – самый почетный, чеканки 21-го года. Правда это?

– Правда. Но со Сталиным у меня не вышло. Больше не приглашают. Опоздал однажды на прием. Кстати, прогулы и опоздания – что это? Тоже наше бескультурье и свинство. А закон, отправляющий за это в тюрьму? Это уже совсем нелепость, дичь, варварство, преступление. В Европе смеются над ними. Но там Францы и Гансы серьезнее относятся к жизни и опаздывать или прогуливать не любят. Я знаю, что там слаще можно прожить жизнь и спокойнее, но от сластей выпадают зубы. Если они у Франции и были, так все равно их немцы выбили и теперь распоряжаются всей Европой. Старушка заплатила за кусочки сахара кусками земли, попорченной и отгорженной... Вот кто нам враг номер один – Германия.

– Мы же в дружбе с ней?

– Ха, мальчик! Это политика, то есть грязное и темное дело, а не дружба. Наши-то бы не прочь, да союз непрочен. Раньше с Германией с одной, ну с Италией – справиться можно было легко, но сейчас под ружьем пол-Европы, огромные богатства Франции в придачу. Опыт войны у гитлеровских молодчиков и их боевой задор, окрыленность, вера в непобедимость – тоже не в нашу пользу. А за спиной притаился «япошка». Манера Гитлера – внезапность удара. «Раз – и кvas». Как раз то, чего Россия не любит и сама никогда не делала. Недавно весь зал лектория аплодировал известному военному обозревателю только за то, что он позволил себе пройтись насчет немецких сводок: пространны, мол, и хвастливы, английские же – скромны и скупы. Правда, похвастать им пока нечем. Эх, хотел бы я, чтобы немцы сунулись к нам – в деревню, в глушь, куда-нибудь под Саратов...

– Неужели мы пустили бы их так далеко?

– Поневолепустишь. Но – умнее будем. Пусть начинается. Так жить надоело. Все отдаем для будущего, вернее, для будущей войны. А нам-то что останется? Шиш с маком да выпипи-

вон изредка. А все мы материалисты – живем один раз и – терпим. Раньше люди хоть на тот свет надеялись, а мы и этого не имеем. Душно! Война нужна, чтобы разрядить эту атмосферу. Только после войны, после большой победы мы заживем как люди. Страна наша велика и обильна, и порядок в ней есть, только он порядочно надоел всем. Мы еще повоюем. Мы еще поживем!

Жилов раскраснелся, глаза его блистали, и он еще хотел выпить. Но до поезда оставались считанные минуты.

– Теперь мне не хочется ехать, – бормотал он, – что за черт?

Но, скрепя сердце, скрипя новыми сапогами, не без помощи Дмитрия, сел в подошедший поезд.

– Помните мой совет, – крикнул, когда поезд тронул, – идите в народ. Наш большой народ – большой ребенок. Вы его не знаете. Впрочем, кто же его знает? – и он махнул рукой, не то прощаясь, не то с досады.

* * *

И правда, знаем ли мы свой народ?

Писатели, знающие его досконально, умеют писать только «во первых строках письма» с поклонами от полдеревни. Те же из них, кому удавалось выйти в люди, – Кольцов, Никитин, Трефолов – эти соловьи залетные из курского леса в английский парк, – отрываясь от народа, пели монотонно, быстро спеваясь, если не спивались.

В народоведении они недалеко ушли от наших классиков, не знавших народа, но умевших к нему прилепляться душой.

Не знают народа, за редкими исключениями (Горький, Пришвин, Шолохов, В. Иванов), и советские писатели, почти все бывшие «попутчики» из буржуазии.

Один Есенин стоит в стороне ото всех и ближе всех к народу. Когда-нибудь ему все-таки поставят памятник в Рязани.

Пройдут годы – и не так уж много, – и независимо от власти, мира или войны – народа, этого простого, малограмотного, мудрого и мудреного расейского мужика, думающего, «про рожь, а больше про кобыл», не станет. Все будут шибко грамотные, и композитор Чайковский придет на конюшню, как писала одна районная газетка. Тогда, если уже не сейчас, народные писатели не будут нужны.

* * *

Неделями пропадал Дмитрий в деревнях, за 30–50 километров от города, передавая по телефону в редакцию сводки о ходе посевной кампании. Дожди, пуды налипшей на сапоги грязи, ночевки и степи, долгие часы в седле на добродушной кляче – все это нравилось. Иногда определяли «на постой» к кому-нибудь из «зажиточных», или у кого изба просторней. Гостя потчевали чем могли.

Вековой уклад русской жизни, как вязка бревен, еще оставался: с белобрысыми ребятишками на полатах, с тараканами и сверчками запечными, друзьями сердечными, с прялками и скалками, с темным ликом Христа в углу или любимейшими Божьими Матерями – Иверской и Казанской.

Но о политике поговорить любили, были неплохо осведомлены о событиях в мире и больше всего интересовались «немцем».

Попал Дмитрий и на большой праздник в одном селе, у самого председателя колхоза. Начался праздник переборами тальянки, а под конец перебрали всех святых. Поссорились из за трудодней:

- Он же с ней, стервью, спит в сене. Вот и начисляет лишнее, – кричала какая-то гостья.
- А тебе какая дела? – урезонивали ее.

По случаю ссоры праздник перенесли и на другой день. Приехавшая кинопередвижка никого не интересовала и передвинулась, захватив Дмитрия, в другое село. Но и там была та же картина, только с еще большим размахом: все село было пьяно, вперемежку с гостями – председателями, бригадирами и даже парторгами из других сел. Если бы это было в конце сева – понятно, но сев был в самом разгаре.

- Ничего не поделаешь. Предстольный праздник, – объяснил счетовод.
- Престольный? – удивился Дмитрий.

– Да, религиозный вроде. Церкви у них давно нет, да и была-то одна на пять-шесть деревень, вот они день ее открытия вроде и празднуют, по памяти, значит.

- И как же не влетает за это?

– Нет, брат, шалишь: круговая порука. Начальство-то и само пьет. Подите, и вас напоят, – и вам будет нечем крыть.

- Да я что, я с удовольствием...

В третьем селе не миновала их чаша колхозного веселья.

- Кино? Ня надо кины, отдохните, будьте гостями, выпейте, – пригласил их председатель. Не отказались. Вслед за ними ввалился огромный детина лет двадцати двух.

– Во-во, поди-к сюда, – словно обрадовался председатель, старичок тонкоголосый, маленький, этакий сивый меринок.

- Ну, иду, а чаво? – детина бесстрашно придвинулся.

- Полюбуйтесь на него, стервеца! Будешь работать-та аль нет? Говори.

Парень молчал.

– Граждане, обратите вашу внимание: этого стервеца мы взяли с детдому, вспоили и, можно сказать, вскормили. И что жа? Послали его на курсы трактористов. И что жа? Вывчился, а к нам не возвернулся. В мэтэса остался. Хорошо. А его и направили к нам на пахоту. И что жа? В хорошую погоду пьет, в плохую – спит. А у нас план срывается. Вот стерва. Вот изменщик! Чаво с ним исделать? А еще комсомол.

Детина оживился:

– Был, да весь вышел. Механически вышел. А вам я не подчиняюсь. Директору мэтэса я принесу справку от доктора. А вам нет. Я теперича – рабочий класс, – и он гордо посмотрел на всех. – А работать по такой грязи – только пережог горячего получается. А вы только свой план знаете.

Никто не нашел ему ничего ответить. Только председатель тряхнул бороденкой, пьяно взвизгнул еще раз:

- Изменщик, стервец!

Наконец, добрался наш корреспондент до знаменитого суворовского села Кончанского. Гостиница, ресторан, библиотека, полная средняя школа. Заведующая, недавняя студентка-москвичка, одна из тысяч комсомольцев-идеалистов, новых ходоков в народ, отдающих свои молодые жизни русскому захолустью, с грустью рассказывала:

– Бежит молодежь из деревни. При мне здесь был в этом году первый выпуск десятиклассников. О мальчиках не говорю. Они идут в армию. Но девушки – ведь мало кто из них попадает в вуз, но и здесь ни одна не останется. Хоть в счетоводы, в машинистки, в телефонистки, в уборщицы, но – в город...

Она оставила Дмитрия спать у себя, на кухне. Проснулся рано, отчего – не сразу понял. Снова закрыл глаза – и услышал: чистая и нежная мелодия, словно знакомая с детства, реяла над головой. Выглянул в окно – и рассмеялся: оборванный колхозный ангелочек – мальчишка лет двенадцати, золотоголовый и голубоглазый, сидя на скамейке под окном, старательно дул в рожок.

Недаром эта мелодия кажется всем знакомой, даже тем, кто никогда не жил в деревне. Рожок пастуха – один из первых музыкальных инструментов человека, как свирель. Дмитрий вспомнил Блока:

*Свирель запела на мосту,
И яблони в цвету,
И ангел поднял в высоту
Звезду зеленую одну.*

И яблони, кончанские яблони, осыпали розоватые лепестки на землю, когда-то носившую сухонького и чудаковатого старика, – с любовью и страхом: гул его походов в чужие земли сейсмически сотрясал и эту, знаменитую только яблонями.

И утренняя звезда еще зеленела в светлеющем небе. И рожок пастушонка вытягивал что-то призывное.

А в распахнутом настежь окне милая русская женщина улыбнулась печально, как родному.

– До свиданья, – крикнул Дмитрий, шагая в степь.

И пожелал ей в душе: «Пусть не вся твоя жизнь пройдет в глуши, с народом и все-таки в одиночестве». Через полчаса был на почте.

В чахоточной трубке телефона, похожего на шарманку, нарочито измененный до писка женский голос спросил:

– Это вы, товарищ Алкаев? Я хотела бы немедленно и официально поговорить – посмотреть, – и тому подобное.

– Тоня, это ты? Знаешь, я сегодня слышал рожок...

– Что ты плетешь? Не пьян? Чем занимаешься? Хождением в народ? Хождением или похождениями?

На центральной разъединили. Он и так долго занимал линию со своим севом зерновых культур.

Не стал ждать случайной машины, попросил лошадей. «Вот тебе и пастораль», – думал, подпрыгивая на старомодном, чуть не суворовских времен, тарантасе. И поймал себя на мысли: глубина вспашки, боронование, пережог горячего, «предстольный» праздник, изменщик, учительница. Не мысли – одна мысль: о своем народе. Вот он был перед твоими глазами – хорош ли, плох ли, но – свой.

«Не знаю, как насчет культуры вообще, но с зерновыми культурами все в порядке, – думал он, – сев закончен».

Лошади неслись, расхлопывая грязь, ездовой пел свою ямщицкую песню. День выдался на редкость ясный и теплый, после почти месяца противной северной весны, больше похожей на осень.

6. Мир идет на убыль

Здравствуй лето, здравствуй, солнцеликое! Привет тебе, самое счастливое мое время в году! Зима унижает человека, заставляя его тепло одеваться и бояться простуды, осень хороша только вначале, паутинками бабьего лета связанная с еще не совсем ушедшим летом; красавица-весна – даже она, веселая революция в русской природе, – только надежда на то, что за нею придет лето солнцеликое.

Они лежат на пляже, загорают и отдыхают после только что совершенного подвига: широкая русская река переплыта обоими, рука в руку, простым русским стилем – саженками.

– Почему ты приехала в этой дурацкой шляпке? Стыдилась бы.

– Это а-ля «маленькая мама» – дурацкая? Тогда сам ты дурак. А вообще – чтобы удивить ваших провинциалок. Они всех нас, ленинградских, ненавидят, я знаю.

– А что же ты думала. Посмотри вон на ту девушку. Сколько ей лет?

– Девушку? Да это же баба!

– Вот ты и ошибаешься. Она моложе тебя. В двадцать лет – хриплый голос, тяжелая походка, обветренная кожа и морщины на лбу. Попробуй-ка с утра до ночи поработать в степи.

– Ты что, недоволен, что я приехала? В госпитале поругалась, и с тобой придется. Так назло не уеду. Я, кажется, на свой счет живу, отдыхаю в этом деревенском городе, в своем номере гостиницы. И не буду больше с тобой ездить по всяким колхозам имени Сталина или того же Забубённого.

Он молчал. Она, успокоившись, начала шарить в карманах его брюк.

– И чтобы никаких секретов. Подумаешь, какие могут быть тайны? Плевать на твои тайны.

Найдено было письмо от Саши Половского:

«Скучно, Митя. Может быть – без тебя. Издали ты мне больше нравишься. Жил я все время неважно. Пожизненную пенсию, которую мамаша получает за отца, нельзя назвать и полужизненной. Сеяли на огороде редиску, поледили, поливали, вырывали и продавали, но не пропивали. И мне совсем недавно (а то все на редиске сидели) предложили работать в русской минской газете. А теперь наш директор прислал письмо, чтобы я в июле ехал сдавать какие то экзамены. Он меня, оказывается, оставил в институте заочником. Так я в середине июня уже буду в Ленинграде. А пока тощица и духота. Маленькая, серенькая радость: прибился ко мне котенок. Прямо на улице – имени Сталина, конечно. Я ему (не Сталину) написал стихи:

*Серый маленький котенок,
Друг моих ночей бессонных,
Яне сплю – и ты не спишь,
И перо шуршит как моська.
Не оно ль тревожит уши
Заостренные твои?..
Наши серенькие души
Породнились в эти дни.
В эти дни и в эти ночи,
Что томят меня тоской,
А перо – скрипит и строчит
Неразборчивой строкой.
Ты крадешься тише, тише,
Мягко прыгаешь кругом...
Все равно ты не услышишь,*

*Как порой скребутся мьши
Больно на сердце моем.*

Оцени, дружище. Я и Басу эти стихи послал. Если бы не писал стихов и вообще не думал о всяких глупостях – нечего было бы делать. Какое-то странное нудное затишье. Душное время. Передует оно нас всех, как котят.

Кланяемся тебе, Саша и Ко (тик). Помнишь, у Некрасова:

*Душно без счастья и воли;
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли,
Чаша с краями полна...*

До свиданья, надеюсь, скорого. Саша».

– Мне тоже душно, – сказала Тоня помолчав. – И я забыла тебе рассказать, что в Ленинграде по вечерам бывает масса пьяных. К чему бы это?

Все дышало миром и знойным, мягким, тяжеловесным покоем. В голубой вышине неподвижно, как белые копчики, распластали крылья перистые облака.

– В голубой вышине самолеты летят. И куда они летят – ничего не говорят, – напевала Тоня новую ура-военную песенку, перевирая ее на мирно шуточный лад: собирала цветы – ромашки и еще какие-то, чахлые. Природа здесь в начале июня бедна.

Вдали, над крутым поворотом реки, открывалась большая, сложная, окутанная не романтической дымкой, а дымом, пылью и копотью, панорама какого-то грандиозного засекреченного строительства. Места глухие. Леса кругом. Ничья вражеская нога, даже татарская, здесь никогда не была. А на стройке этой не была еще нога ни одного «вражеского» корреспондента. Издали было видно, как там копошились люди – строительные муравьи – заключенные.

По реке, вниз по течению, в сторону стройки, плыли плоты, связанные руками – сухожилиями! – тех, кто не знал теперь ни мира, ни голубого покоя, ни счастья солнечных дней, ни радости любви. Недалеко от города, вверх по течению реки, обширные лесоразработки тоже обнесены проволокой. Плоты из одного проволочного ограждения попадали в другое.

Когда один из плотов, широких и устойчивых, подошел близко к берегу, Дмитрий с разбега нырнул под него. Плот был широк – 3–4 сажени, но и не такие переныривают русские дети, выросшие на реках, и Дмитрию было не в первый раз. Не в первый раз, но чуть было не в последний. Когда он хотел вынырнуть, голова больно ударилась о бревно. Снова рванулся вперед, задевая спиной о шершавую кору. И снова потолок из бревен. «Этак я пересчитаю их все своими боками», – успел только подумать он и от нового удара затылком потерял сознание – на секунду-две, решающие жизнь. Но тело, в последнем слепом напряжении еще не ослабевших мускулов, снова рванулось вперед и вверх. В следующую секунду он уже хватал в рот первый, превращающий кровь в огонь, кусок воздуха, осязаемый во рту, как кусок хлеба.

С берега, оскальзываясь на бревнах, бежала Тоня. Как заправский плотовщик, она села на плот, опустила обе широко расставленные ноги в воду и одним сильным движением вытащила его на плот, в свои объятия.

Потом он часто вспоминал: это были самые сладкие объятия в его жизни. И самые «солидные».

– Плот – комплот – оплот – жизни – любви, – бормотал он, силясь улыбнуться синими губами.

– Разве так ныряют... – и эхо звонкой пощечины прокатилось по реке. – Показала бы я тебе, да теперь сама боюсь, – сказала Тоня и заплакала. Они сидели на берегу до сумерек. Солнце опускалось медленно, не как на юге. Тучи, или темнеющие облака, облизывали его,

как леденец, прежде чем проглотить совсем. Ласка первого летнего тепла уходила с солнцем. Тонко позванивала тишина в ушах. Что-то убывало в природе, в мире, как убывает день или вода в реке.

Может быть, это Мир шел на убыль. Она целовала его горячо, чтобы синие губы отошли. Он все еще не мог говорить. Зато она:

– Ведь я взаправдешно люблю тебя. Только мне не нравилось, что с самого детства. Слащаво как-то получалось. И генерал смеялся: это, говорит, только в сказках так бывает, да у Чарской. Я и сама пробовала ее читать – и бросила. А сестра – любит. Значит, не те времена. Тот мир ушел от нас.

– Уйдет и этот, – сказал, наконец, он. – Все может быть. Уплывет завтра плот, под которым я чуть не погиб без всякой войны. Пошатнется какойнибудь оплот... чего-нибудь.

– Ну, все это пустяки, – перебила она, – а теперь я решила: все равно – любовь. Хотя бы с детства. Или с до-революции. А ты люби – хоть с каменного века... Но почему мне так грустно, скажи?..

– Потому что грусть, эта русская трехэтажная грусть-тоска-печаль – интеллигентские попутчики революции-любви! Отставить! – как говорит один мой знакомый, военный, твой родственник. Кстати, мы ему докажем, что сказки еще живут и в нашем мире, мире уходящем не знаю куда, может быть, к черту.

– Замолчи, дельфин. Ты меня так напугал сегодня! Даже боюсь одна спать. Если хочешь, останься у меня. Разумеется, на прежних началах-условиях, как в Пушкине. Во имя Пушкина. Во имя чистой любви, начинающей тебе надоедать со мной вместе. Впрочем, мне пора уже уезжать.

«Она смеется надо мной», – подумал он, и ответил с обидой.

– Тогда пусть будет все, как в Пушкине.

– Ах, так! Хорошо. Впрочем, ты сейчас новорожденный. Иди и спи один...

Домой они шли белой ночью, не такой, как в Северной Пальмире, в Северном Полмире, ее здесь не украшают дворцы, и она не украшает их, но есть холмы, старенький городок, обли-тый ее молочным светом, рощи и цветы на лугах.

Кажется, это была первая в этом году белая ночь. Она проплыла над миром белой лебе-дью, шурша облаками.

Тупая боль в затылке долго не давала Дмитрию спать. Не выходило из головы:

Буря бы грянула, что ли —
Чаша с краями полна...

7. Буря грянула

*Усталый, голодный военный
Ты скорчен в предсмертном броске,
И бьется затравленной веной
Нева у тебя на виске!*

Иван Елагин

– Говорит Москва, говорит Москва... – Ква, ква, – слышится во сне; мелькает финская легенда о сотворении мира – Москвы; Мосок и Ква. Голос диктора, очень взволнованный и торжественный, настойчиво и властно врывается в сознание...

– ...минут, слушайте выступление товарища Молотова.

– Что-то будет, – подумал Дмитрий, вставая. – Это уже не какая-нибудь сессия и не съезд, а протягивание братской руки помощи, или новый процесс вождят-изменников, или, – он выглянул в окно: на площади около репродуктора, уже установленного на балконе Горсовета, собралась толпа, – или настоящая, большая война.

На стук в дверь Тоня не отвечала. Дверь не была заперта. Он вошел. На полу, сдвнутая ветром, лежала записка. Не надо было наклоняться и брать ее в руки, чтобы прочесть слова, крупные, как большое несчастье: «Прощай, дельфин. Ныряй без меня. Чем ты меня обидел и как – я пока не поняла. Разберусь потом. Сейчас некогда. Я уезжаю».

Был ли это каприз, или вчерашнее вещее чувство идущего на убыль мира, как уходящая волна, захлестнуло с собой и Тоню?

– Это все, – сказал он – и, даже не подобрав с пола эти крупные, набухшие печалью, разбросанные как попало буквы, вышел – на площадь, в толпу, в это уже недолгое ожидание чего-то.

– Это все, – повторял он. Почти так оно и было: почти все.

Черная труба с балкона хрипела, кашляла и трещала, словно волнуясь, готовясь к тому, чтобы через несколько минут извергнуть гром среди ясного неба.

Вчера сводка погоды точно предсказывала ясное небо надо всей страной, а сегодня уже военные сводки принесли первые точные известия о поражениях на фронте и замутившемся от бомбардировки небе над Киевом, Одессой, Гомелем...

Какую-то, с кем-то – войну ждали. И все же она была ударом не только грома среди ясного неба, но и молнии, расщепляющей дуб-Россию.

Речь Молотова поражала своей запутанной откровенностью. Советские вожди, привыкшие тщательно и заблаговременно готовить свои речи и даже короткие выступления, зная, какое огромное значение придают им во всем мире, на этот раз оплошали. Впрочем, они сплеховали вообще.

– Прошляпили, – вот слово, брошенное народом на площадях, как площадная брань.

– Непобедимых армий не было и нет, – сказал Молотов. Фраза с двухсторонним промахом: в России никто немецкую армию непобедимой не считал. Красная армия этими словами вычеркивалась из «непобедимых».

«Наполеон тоже был в Москве» – параллель, приготавливающая стези к отступлению, а то и потере Москвы, – весьма рискованная в смысле паники и пророческая в своей фатальной повторимости: по этой параллели и пошла война в первом своем, ничего не решившем, этапе.

«Создать народное ополчение» – еще одна неутешительная историческая параллель: надежды на армию, пожиравшую половину народного дохода 25 лет, – нет.

Молотов, с огромной силой воли преодолевая заикание и понятное волнение, довел свою речь до победоносного конца: «Победа будет за нами!»

Все ожидали еще одной речи, но главный вождь, пока еще даже не генерал, молчал – чтобы через две недели, видя провал на всех фронтах, выступить со своей, пожалуй, единственно искренней – или прочувствованно-лживой речью: «Братья и сестры!»...

Пройдет война, и еще несколько немировых войн (надо же было повоевать тем, кто не участвовал в великом сражении, и тем, кто еще не навоевался), но эту речь, вернее, первые ее слова, их просительный тон – будут помнить.

Сразу же началась война в эфире. Только к вечеру московским глушителям удалось справиться с немецкими.

Редактор сам организовывал неизбежные отзывы трудящихся и передавал их Дмитрию на правку. «Бей фашистских гадов, – еще из рядов выкрикнул товарищ Иванов и вышел на трибуну». И это не был из ряда вон выходящий товарищ Иванов: к вечеру Ивановых, выходящих из рядов, набралось в заметках до сотни.

Кто как встретил войну? Этот день навсегда останется у всех в памяти. В душевной общественно-государственной атмосфере многие «сыны отечества» встретили войну не как бедствие, а как избавление от гнетущей несвободы. Для них война была клапаном, выпускающим, как пар, духовные силы на волю – на простор сражений, поражений или побед, опьяняющих до самозабвения.

Наивные авантюристы и романтики встретили войну с падающим, жутко замирающим сердцем.

Больше всего война взволновала врагов советской власти, сидящих в концлагерях, или живущих под надзором, или просто недовольных. Врагов у России – русских – нет. Есть только политические противники, большевицкой властью обиженные. Их восприятие войны было наиболее сложным: избавление или бедствие? Оно стало симптомом вскоре определившегося трагического отношения к войне лучшей части советского общества. Одни ушли из России с сокрушенным сердцем, и борцов против власти из них не вышло, другие боролись, считая себя в душе изменниками, третьи, отчаявшись, не найдя решения, умирая за Россию, спасали чуждую им власть.

Большинство же гуляющих на свободе (относительной) молчало. Война так война! Чему быть, того не миновать.

* * *

Вся водка в магазинах к вечеру была разобрана. Когда редакция хватилась – было уже поздно. Но «блат» мирного времени еще действовал. Рассыльная принесла по записке редактора несколько литров. Приготовленный с субботы на понедельник номер газеты пошел в разбор, пришлось работать всю ночь всем – и редакции, и типографии.

Набирались патриотизма и мужества, входящих как составной элемент в крепчайший для всех времен и народов напиток «Московскую особую». Капля на скатерти мгновенно застывала восковым блинчиком, капля на сердце запекалась родимым пятном – воспоминанием о первом дне войны.

Через несколько дней чудовищное засекреченное строительство было свернуто, тысячи заключенных – отпущены на свободу.

Свободу умереть на фронте. Эта отчаянная публика, в основном уголовная, налетела на город как саранча, но ее быстро пропустили через писорубку военкомата, чтобы отправить на мясорубку войны.

* * *

Только в середине июля, получив телеграмму от директора института, выехал Дмитрий в Ленинград. Под вой сирен покинул он старинный русский городок, никогда не знавший вражеского нашествия. И с этого дня он пошел по дорогам войны сквозь сплошную воздушную тревогу, грохот снарядов и бомб, не раз лицом к лицу встречая смерть и теряя ее на бесконечных сожженных просторах родины, в войну особенно чудесной.

* * *

С вокзала шли эшелоны войск на фронт. Им навстречу тянулись поезда с беженцами из Прибалтики и Ленинградской области Многие шли пешком, уже оборванные, изможденные, с остановившимися глазами. Идущие на смерть встречают уходящих от смерти. Что думают эти молодые и отборные, видя российских людей, над которыми уже надругалась война, так неожиданно и жестоко? Горят ли их сердца огнем ненависти и мести?.. Они должны гореть – и сгореть, чтобы на их пепле когда-то выросла грандиозная и призрачная, как мираж, победа.

*Война, война...
На тех вина,
Кто продает свободного,
Чтоб выкупить раба.*

Странные слова? Откуда? «Юг и Север» Элтона Синклера. А если нет, то все равно. Важно то, что в этой войне столкнулись полурабы с полусвободными. Свобода достается победителю. Победителем должна быть сама свобода.

Поезд подошел к пересадочной станции Угловка. Сладковатый, тошнотворный запах... Это первое смрадное дыхание войны успело дойти до исконно русской земли. Среди белого дня немецкие самолеты налетели на ничем не защищенные эшелоны ленинградских детей – и сожгли их за несколько минут.

Вот они, первые жертвы войны. А что же будет дальше? То же: жертвы и жертвы. Во имя чего? Во имя свободы и независимости.

Но разве мертвым нужна свобода и независимость, эти весьма относительные конституционные блага жизни? Они достанутся живым, да и то в рассрочку, с налогами. Но кто останется в живых? Кто храбрее, сильнее или хитрее? Нет, конечно. Просто те, кому суждено. И что такое война? Может быть, это тоже соревнование, в отличие от мирного, потогонного – кровопролитное: если немцы бьют нас, то чем мы хуже, чтобы когда-нибудь не показать им, как свое время японцу Араки (Халхин-Гол), где раки зимуют? Пели же пионеры:

*Если надо, Кожкинаки
Долетит до Нагасаки,
И покажет он Араки,
Где и как зимуют раки...*

Обо многом передумал Дмитрий, пока не развернулась бескрайне величественная панорама Ленинграда. Он будто впервые увидел его. Тонкий, игольчатый хохолок по проводкам нервов пробежал от глаз к сердцу. Глаза увидели – передали: вот он, любимый город. Теперь он не может спать спокойно. Песня обманула нас. Только ли песня? Сердце, пока еще такой же

чистоты, как глазные хрусталики, сжалось, забилося в этой жалости: что его ждет, любимый город? А тебя самого?

Толпа приезжих вынесла на вокзальную площадь. Через несколько минут уже был у знакомого дома на Старом Невском проспекте. Гранитные львы, по-собачьи поджав хвосты, по-прежнему сидели в подъезде, у подножья колонн. Когда-то – давно ли это было? – Тоня заставляла здороваться с каждым из них за лапу, не как-нибудь.

– Мои Церберы, – говорила она, – не бойся, не кусаются.

Львы были, но Тони не было. Квартира была запечатана – крупная сургучная печать Генерального Штаба свисала на дощечке с plombой.

– Уехали, – сказал дворник, – все уехали. Жена – на юг, на Кубань, что ли, енерал – само собой, воюет, а стрекоза тоже на фронт подалась. Чаво?.. Записка?.. Да, она мне что-то оставила, да я не помню, куда задевал. Ужо поищу.

Сразу идти в институт не хотелось. Надо было побродить по городу – бесцельно, как всегда после разлуки, даже недолгой. Невский проспект... Это первое и самое главное, что должен обязательно видеть каждый, свой или гость, приехавший в Ленинград.

Он красив, Невский, как и двести лет назад, мужественной, суровой красотой, которой так отличался сам Петр от всех земных царей.

Невский проспект по-прежнему высоко держит свою голову – шпиль Адмиралтейства.

Но от блеска его и нарядности почти ничего не осталось. Первые этажи домов сделали шаг вперед, оградив себя противоосколочными каменными щитами. Это первые щиты защиты.

Безобразные щели и траншеи вырыты около памятника Екатерине Второй. Земля разбросана как попало, на кусты и клумбы. Еще больше изрыт Адмиралтейский сквер.

Вот они, первые скорбные морщины на твоем прекрасном челе, град Петров.

Однажды Дмитрий поднимался на купол Исакиевского собора. Тогда впервые и навсегда – поразил его почти стокилометровый размах Северной столицы. Кругом, до самого горизонта, не было видно ничего – ни полей, ни лесов, – кроме стройного каменного массива из ста островов с оазисами парков и скверов, разрезаемого на части Невой, Невкой, Фонтанкой, Мойкой, Большой Охтой, Малой Охтой, каналами.

Если бы снова подняться на купол собора, теперь, наверное, можно было увидеть вооруженным духовным зрением глазом, как мучительная, жестокая гримаса войны исказила черты каменного лица города.

Дмитрий обошел вокруг собора. Над свинцовой Невой отдохнул на полукруглом бастионе – гранитной скамье. Здесь сиживал Пушкин. Некоторые сидели напротив – в Петропавловской крепости. Один князь Кропоткин сумел из нее бежать. Советская власть открыла в крепости музей. А сидят в других местах: на Литейном, Шпалерной, в «Крестах», в Нижегородской. Когда-нибудь устроят музеи и там.

Бригада рабочих заделывала памятник Петру. Со всех сторон заваливали пирамидой из мешков с песком. Но державная рука высунулась на волю, протянулась к Неве, к враждебным финским берегам, а может быть, и дальше, к сердцу Европы. Потом мешки обшили тесовыми досками. В скором времени все памятники, старые и новые, будут прикрыты или сняты и увезены куда-то. Почему-то оставят в покое одну Екатерину Вторую, и при жизни весьма скульптурную женщину, – один из самых крупных и ценных памятников. Она так и простоит всю блокаду, как голая, в окружении своих славных сподвижников, – и уцелеет.

Почти все театры, кино, рестораны, магазины – открыты. В академическом Александринском идет «Фландрия», в театре Радлова – «Бравый солдат Швейк», в «Музкомедии» – что-то веселое, не то «Вдова», не то «Цыганский барон»... Этому театру трудно перестроиться на военную тематику. В «Комедии» – «Под липами Берлина». В большом Гостином Дворе доверенные рекламы Пищеторга: «Здесь эскимо», «Всегда горячее какао», «Пирожки с мясом 25

копеек штука»: розовощекий парень уписывает пирожок. Зубы у него белые, как у негра на крышке зубной пасты.

На фасадах зданий, на чугунных оградах, на специальных щитах – новые плакаты, художественное оформление войны. На одном фантазия какого-то художника изобразила неведомого, как марсианин, молодца с вытарашенными глазами, поставленными так, как в известном рисунке с оптическим обманом в «Занимательной физике» Якова Перельмана: куда ни повернись, всюду встретишь этот прицеливающийся в упор взгляд. Укоризненно указывая перстом на прохожих, молодец вопрошал: «А ты (мол, сукин сын), что сделал для освобождения своей Родины?..»

На этот плакат старались не смотреть: еще мало кто из идущих по проспекту сделал что-нибудь полезное. Но разве уже вся Россия отдана врагу? Пока не отдано и десятой доли. От кого же освобождать? Не от тех ли против народа вояк, под кем большая часть?

Всем нравятся плакаты: «Вперед, буденновцы!» – с усатым дядей а-ля Буденный на коне, и – «Родина зовет» – красивый мужественный солдат трубит в горн.

У Казанского собора – громадное историческое панно: немцы в смешных костюмах подносят ключи Берлина графу Чернышеву. Поднесут ли нам? Пока что преподносят пилюли, вроде бомб и снарядов, на почти не защищенные – ни с земли, ни с воздуха – города.

Казанский собор и при советской власти оставался святыней. В нем хранятся бесчисленные штандарты немецких, шведских, польских, турецких, французских и австрийских армий. Здесь же ключи от Варшавы, Вены, Будапешта, Берлина и Парижа. Конечно, эти ключи устарели. К этим столицам теперь нужно подобрать другие. Да и кто об этом думает?.. Уцелеть бы самим...

Война красна не началом, а концом, а больше кровью. Буря грянула. Бои идут с переменным – то большим, то малым – успехом. От Белого до Черного моря извивается огненный змей – линия фронта.

*За море Черное, за море Белое
В черные ночи и белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни.*

8. Окопы

Уходил июль, а с ним и белые ночи. Они отлетели от города, как чайки с тонущего корабля.

Впереди были черные ночи, и черные дни. Начались они на окопах.

– Все на окопы! – кричали агитаторы, радио, плакаты.

Студенты, профессора, артисты, чиновники – все взялись за лопаты и кирки. Даже рабочие военных заводов: в те дни «ямочки», вырытые «ленинградскими дамочками», – как писали немцы в глупых листовках, казались важнее военных заказов.

Окопы были не только началом трагической эпопеи Ленинграда, школой его жителей и защитников в надвигающихся на них, как зимние холода, муках, которые трудно даже назвать человеческими. На окопах проявились две характерные черты, удивительные для советского гражданского населения, не знавшего ни немецкой оккупации, ни еще не определившегося партийного национально-русского курса.

Красной, политой кровью, нитью прошли они через всю блокаду: великорусский патриотизм и фатальная покорность. Покорность власти, скрыто ненавидимой и почти открыто презираемой (чего стоило ленинградцам одно убийство Кирова!), но больше – судьбе. Мужественная, безропотная, беззаветная, как преданность, – покорность. Просияла, как радуга, и фанатическая любовь к своему городу. Пожалуй, за двести с лишним лет никто, кроме самого Петра и поэтов, не любил так горделивую северную столицу, как четыре миллиона ленинградцев, потомственных рабочих, моряков, военных, ученых, писателей, артистов и студентов – цвет страны, обращенный лицом к Западу и сердцем к России. Москва-собирательница, Москва-кликуша, Москва-купчиха, Москва-митрополичья и Москва-университетская – сыграла первую скрипку в величественной народной симфонии создания Государства Российского. Но блистательный петербургский период был насильственно оборван не революцией, а советской властью. В Москву перевели почти все всероссийские Учреждения и знаменитости ученого и артистического мира. Когда прошел слух о строительстве Московского моря, ленинградцы не на шутку беспокоились за судьбу Балтийского флота: не перетянут ли и его, хотя бы волоком, в Москву...

В иступленной любви ленинградцев к своему городу был и протест против властителей, засевших в Москве-сопернице.

Героизм и мужество были тоже характерными чертами людей и дней блокады, но в этом нет ничего удивительного.

Было ли смешение всех этих черт взлетом российского фатализма, и было ли оно, как говорится, политически правильным – это другой вопрос.

Но ни в Москве, ни в Севастополе, ни в Одессе, ни в Киеве, ни в Сталинграде – ничего подобного не было...

* * *

Окопы были также и промежуточным этапом, смягчающим и подготовляющим переход от полумирных первых дней войны к безвыходной блокаде. К концу июля на окопах был весь Ленинград. В самом городе уже ничего не оставалось делать: перекопали все вдоль и поперек. На фронте тоже, после падения Таллина, оставалось только отступать вплоть до Ленинграда.

Ленинградского направления так и не появилось в сводке. Потом, когда уже немцы подошли вплотную, Совинформбюро, а за ним и весь союзный, так называемый свободный, демократический мир заговорил о Ленинградском фронте. Немцы кричали о нем давно.

Сначала на окопы возили поездами. Потом с конечных трамвайных остановок – автомобилями. Наконец, трамваи прямо подвозили к окопам. Дальше ехать было некуда. «Ямки», вырытые в июне, немцы взяли в июле, июльские копания – в августе, августовские – в августе же. В сентябре немцы остановились. Противотанковые рвы, простые окопы зигзагами, волчьих ямы, блиндажи и землянки с бревенчатыми перекрытиями – все это были небольшие преграды материальные, скорее – духовные, и поэтому, очевидно, сослужили свою службу.

«Личный окоп» нередко спасает солдата под ураганным огнем и под уютящим танком. Грандиозный окоп вокруг города помог ему устоять почти три года. Окопы – это была русская земля. Кто знает ее силы? Осажденный город, как легендарный Антей, прикасался к земле каждый раз, загребая горсть коченеющими пальцами, когда под рукой уже ничего не оставалось, и земля давала ему силу и надежду.

Окопы напоминали строительство какого-то нового сталинского канала: и сотни тысяч одетых во что попало, полугодных (пока, в августе) людей, и миллионы кубометров вывернутой наизнанку земли. Да это и был новый Обводный – вокруг города – канал, но потекла по нему не вода, а кровь.

– Вот она, наша студенческая линия обороны, – показал Саша Половский Дмитрию, – от этого холма до того непролазного болота, чтобы оно провалилось! Видишь: по мшистым, топким берегам чернеют избы здесь и там, приют убогого чухонца. Карело-всякие финны разбежались не только из-за немцев, но при виде нас: кто в капиталистический рай (изменники), кто в социалистический, а кто в небесный. Здесь, брат, уже пробомбили еще до нас изрядно.

Саша был бодр и весел. Низкорослый и голубоглазый, слегка похожий на Есенина, с вымазанными глиной небритыми щеками, он сиял. Можно было подумать, что рад и войне, и окопам. Да он и был рад войне – в глубине души, окопам – даже снаружи.

– Война действует на мои нервы только возбуждающе, с оттенком жутковатости – ни страха, ни совести.

Окопы для него начались чуть ли не с первого дня войны, еще в городе. («Севпальмирвоенстрой» – назвал он). В начале июня он сдал экзамены – провалил только немецкий язык. Когда началась война и пришли первые вести о поражениях, заявил директору:

– Всякие Мински и Пински падут, а на Ленинград будет смотреть весь мир. Я хочу остаться, чтобы тоже на него смотреть. Я один. Моя мать уехала в Сибирь, к брату. Деньги пока есть, на пока. Прощу считать меня снова настоящим студентом, а не заочником-заоблачником.

Директор согласился и послал его «пока» на окопы. Постепенно съехалось десятка два студентов – из тех, кто был на практике в газетах Ленинградской области, военного округа и Прибалтики (куда многие стремились). Директор несколько раз подавал в военкомат заявление о том, что все они добровольно желают вступить в армию. Но к этому времени волна добровольчества, искусственно поддерживаемая «на высоко идеологическом уровне», унесшая на тот свет тысячи совершенно не подготовленных к войне и смерти юнцов и стариков, – спала. Ленинградский фронт, уже полускованный, был пересыщен человеческим материалом. Ему не хватало другого: военного снаряжения, боеприпасов, провианта, а больше всего хорошего командующего. Его не было.

Ворошилов, герой Гражданской – своя своих не познаша – войны, ничего не смыслил в современной битве машин и гениев и, затурканный Сталиным и Ждановым, сложил руки и фактическое командование. Мог бы сложить и голову, но отозвали в Москву. Сталин умно посадил его командующим всех партизанских частей. Нашел и себе местечко – рядом с Суворовым: скоро сам себя пожалует «генералиссимусом».

А пока во что бы то ни стало нужно было спасти Ленинград – город мирового престижа, крупнейших в мире заводов, величайших научных и культурных накоплений и всего золотого запаса России. Немцы бросили в бой первоклассные дивизии, доселе не знавшие поражения. Перед ними отступали, упираясь в свои «единоличные» окопики, тоже весьма хорошо воору-

женные и обученные (не в пример другим фронтам) войска Ленинградского военного округа, теперь Ленфронта. К ним присоединились, держась, однако, особняком, – «черные морские гусары» – или попросту «черти», как их называли немцы. Многих моряков с потопленных судов Балтийского флота списали – кого в царство Нептуна, кого в пехоту.

И к ним всем присоединился весь город: вскоре ему самому суждено было стать фронтом, да еще каким – из города ездили на «настоящий» фронт отдыхать. А жители его стали солдатами, достойными не таких, в сущности, правдивых и простых описаний, а легенд и сказаний...

Работали с утра до ночи. Часто линия окопов шла прямо по огородам. Это был «Зеленый Ленинград» – полоса колхозов и совхозов, поставляющих в город овощи.

Лопаты с хрустом врезаются в крупный, хорошо уродившийся картофель. Окопники ругались – как можно пропадать добру. «Значит, надо спешить, – оправдывались «партийные», – враг близок». Никто из переживших блокаду не забудет эту картошку. Много бы отдали за нее уже через месяц-полтора.

А что бы стоило почти миллионной армии окопников убрать с огородов тысячи тонн овощей.

Людей было столько, что работали локоть о локоть. Нашлись умники – нормировщики, намечавшие линии «отселева доселева», но их быстро послали к черту. Иногда город был совсем близко: виднелись трубы какого-нибудь столетнего завода имени какого-нибудь пятидесятилетнего вождя, мертвые теперь новостройки многоэтажных жилых домов. Близость города усугубляла отрыв от него, волновала молодежь. Но скучать – не скучали. Ночевали в избушках – без окон и дверей – финских деревень, а чаще в стогах: нравилось. Вечерами бродили по садам и огородам. Год был урожайным и на фрукты. Фрукты, главным образом, яблоки, нигде не пропали. Окопники сняли их вмиг... Иногда студенты устраивали концерты самодеятельности. Артисты с всероссийскими именами тоже были здесь. Копали и пели.

Вокруг Ленинграда, еще красивого, спокойного, гордого, как осы у цветущей яблони, кружились немецкие самолеты. Нередко они, острастки ради, били по окопникам из крупнокалиберных бортовых пулеметов разрывными пулями. Раненых было мало... Только убитые. Тоже, правда, немного.

Иногда над головами окопников, читавших о войне только в книгах, десяток «красноголовых» истребителей вступал в бой с полусотней немецких «бомбардировщиков» и «мессеров». Это был героизм более чем очевидный: в небе, на глазах у всех. К удивлению «публики», такие бои часто были безрезультатны.

В селе Рыбацком, где долгое время копалась бригада студентов, стоял артиллерийский полк с зенитками. Большие и гладкие, с лоснящимися боками орудия стояли молча, как коровы в стойле, пережевывая опущенными прожорливыми жерлами хвойную жвачку: что-что, а маскироваться умели хорошо с первых дней войны. Но зенитки – у них работа была: непрерывно тархтели. Только ни одного самолета не сбили – по крайней мере, над селом Рыбацким.

– И какие мы зенитчики, – признавались солдаты, – слесаря мы. Но ничего, дайте обвыкнуть.

Это они – девушкам, которые не любили их за прямые непопадания и всегда выпроваживали с окопных вечеринок, приговаривая: – Не умеете стрелять – уваливайте.

Но однажды зенитчики все же отличились. Пролетало, как обычно, курсом на Ленинград звено чернокрылых разведчиков. Один, из удалства, спикировал, полоснул свинцом по окопам. По нему, выходящему из пика, били все зенитки. Одной удалось вклепить снаряд в хвост. Ударом самолет подбросило немного вверх, и он, медленно перевернувшись вниз мотором, стремительно рухнул в лес! Зенитчики были всеми признаны. Девчата бегали на батарею целовать их.

9. Первые удары

«Этак, пожалуй, скоро начнут и бомбить, – поговаривали на окопах, – теперь ему ясно, что так, целеньким, город не взять». Третий месяц со дня войны кружили немецкие самолеты над Ленинградом, но за черту города прорывались только разведчики. В подвальной статье «Правды» – «Опыт противовоздушной обороны Ленинграда», хвастливо-обстоятельной, – все же не утверждалось, что Ленинград невозможно бомбить: «Немцы не раз пытались прорваться эскадрильями в 100 и 150 машин, но их рассеивали». А если соберут армаду в 500–600 самолетов?

Многие думали, что немцы хотят взять город «целеньким», в немецких «прелестных» листовках указывали даже срок – 15 октября.

Оптимисты уверяли, что зенитки, расположенные в городе в шахматном порядке, не дадут немцам хозяйничать в небе.

И вот погожим августовским вечером на Ленинград были сброшены первые бомбы. Ни «ястребки», ни «шахматные» зенитки ничего не могли поделать против звездного налета сравнительно небольших эскадрилий. Это был новый метод, принесший, наконец, немцам успех.

На окопах о бомбежке узнали только утром. Первым желанием почти всех было – бросить надоевшие лопаты и кирки и бежать в город.

Сотник, директор консервной фабрики, переведенный в Ленинград из Грузии незадолго до войны, был знаменит своим именем: Акоп. Студенты перекрестили его в Окоп и прибавили – Акопян. Акоп Акопян был известным армянским поэтом, из попугачиков. Разговор сотника с «дамочками» передавали по окопам и фронту, как анекдот:

– Вай, вай, душа любезный! Что мы так кричим? Мы имеем такой один мудрый русский поговорок: ехал солдат на Тыплис. Его блоха кусал, кусал. Солдат его поймал, сказал: «Не хотел ехать на Тыплис – поворачивай назад», и выбросил ее в окно. Так и я вам, – сказал Акоп, – не хотите копать окоп – поворачивай назад в Ленинград. Вы убижал, немец приближал, что сказал? – Дурак! – сказал. А что НКВД сказал? Тюрьма – сказал. Вы там сы-дел? Я сыдел.

Постепенно волнение улеглось. «Все крупные города уже бомбили, – успокаивали друг друга, – потерпим и мы». Один старик упрекал соседку:

– А вам бы, гражданочка, надо было уехать, уж если вы так боитесь!

– Молчи, вояка! – взвизгнула гражданочка. – Чтобы я уехала из родного города? Думаешь ли ты, что мелешь, старый хрен? Я не боюсь. Просто – зло берет, и обидно: почему они – нас, а не мы – их?

Снова предложили всем невоеннообязанным и женщинам с детьми спешно эвакуироваться. «Вербовщики» разъезжали в «эмках» по окопам.

Охотников уехать находилось мало. Первые эшелоны ушли еще в первые дни войны. На их место прибыли ленинградцы же, рассеянные до войны по области, Прибалтике и Северу. Поэтому, как было – 4 миллиона жителей, так и осталось. Закоренелые неисправимые питерцы не хотели покидать свой город. У одних это было трагическое непредвидение событий, у других – еще более трагическое русское «будь, что будет», у третьих – самоубийственное, всероссийское равнодушие к своей судьбе.

– Умрем под стенами своего города, но не уедем! – это не был партийный лозунг. Это вообще был не лозунг, а искреннее чувство, от которого недалеко было и до «Умрем, но не сдадимся!»

Вились, назойливее мух, слухи. Слухи на войне достойны изучения – как очень важный психологический и политический фактор. Иногда самые нелепые сбываются, а правдоподобные лгут. Они никогда не отстают от событий, а всегда опережают, предвещают их. Слухи войны – это не бабы сплетни мира. Даже полководцы склоняют к ним оглохшие в битвах уши.

Слух о снижении продовольственных норм давно уже тревожил людей. К нему так привыкли, что, когда сбылось реченное через кликуш – не ужаснулись, не возмутились, а только призадумались. Первое августовское снижение норм – почти что на все продукты – было «половинчатым»: раньше рабочие получали 800 и 1000 граммов хлеба в день, теперь – 400, мяса – 80 граммов, масла – 30; служащие на 30 % меньше, иждивенцы на 50 %.

Студенты, как и все учащиеся, входили в группу «служащих». В первые дни войны они с недоверием разглядывали продовольственные карточки цвета охры, отпечатанные на денежной фабрике «Гознак»: так вот, оказывается, сколько должен съесть нормальный здоровый человек! Они и не знали. Вечно полуголодные, никогда не видали и половины положенного. Поэтому, не переставая удивляться, многие продавали свои «жиры и сахара»: деньги были важнее, без них на те же талоны не пообедает. Вот почему августовские нормы для них были нормальны...

А окопы все еще не были ни подвигом, ни буднями. К ним привыкли. Получали свои 9 рублей в день и два выходных дня в две недели. Для многих студентов девять рублей в день были большими, первыми в жизни самостоятельно заработанными деньгами.

Через несколько дней после первой бомбардировки студенты, возглавляемые Половским, получили отпуск в город на два дня. Все «бесенята» были в сборе. Не было самого Баса. До войны он был в Таллине. Директор института получил официальное уведомление, что Басова в списках раненых или плененных – нет. Он попал в категорию пропавших без вести – наиболее запутанную и драматическую с первых дней войны до последних, да и после войны.

Вспоминали: «Эх, был бы Бас с нами!», хлюпая босыми ногами по лужам. На окопах обуви не напасешься.

Никто не хотел ждать до утра. Сдав лопаты и кирки, двинулись в город «беглым» шагом.

Трамвай позванивал недалеко, километрах в трех, но дойти не успели: напоролись на патруль.

– Стой! Кто идет? – с упоминанием родителей. Ни у одного из патрульных не было карманного фонарика. Пошли к старшине, но и он ничего не мог понять.

– Какие-то подозрительные увольнительные записки у вас. И что за подпись? Нет, лучше позвать лейтенанта.

В блиндаже не было и намека на телефон. В вечерней прифронтовой полосе тишины зазвучали мирные, мерные удары... церковного колокола. На призывной звон явился пожилой толстяк лейтенант из запасных нестроевиков, но с зелеными фронтовыми кубиками в петличках. Он быстро все понял. Знаменитый сотник «Окоп», взволнованный событиями последних дней, подписался по-армянски. Лейтенант отпустил всех с миром.

– Валяйте, ребята. Я знаю этого Акопа. Это тот, который «не хотел ехать до Тыпльс»?

Долгожданные отпускные дни... Первые после первой бомбардировки.

Дома – первые жертвы – на Старом Невском и Тамбовской пострадали незначительно. Потому ли, что бомбы были небольшого калибра, или стены им попадались петровской кладки, но больше двух-трех этажей они не пробивали. Около дома Черских, на мостовой, упала бомба. Львам досталось: одному осколком срезало нос, другой сидел без хвоста.

Разве мог Дмитрий пройти мимо? Вдруг – приехала? На побывку. На три дня. На три часа!..

Перешагивая через три ступеньки, влетел на третий этаж. Но та же печать цвета губной помады висела на двери. Печать войны, заброшенности, разлуки. И свинцовая пломба. Тяжелый металл – свинец.

Вслед за Дмитрием поднялись всей компанией.

Саша Половский:

– Так вот где таилась... Понятно без слез.

Вася Чубук:

– А глаза, глаза зеленоватости о-о-озерной.

Сеня Рудин:

– А как она была сложена... А ты, Митька, целуй ее, да пойдем. Печать целуй.

Дмитрий поцеловал.

– Ну вот, – сказал Саша, – теперь все хорошо: и на устах его печать.

У Московского вокзала толпа с узлами.

В дни народных бедствий в России предпочитают узлы. В них можно на скорую руку – что под нее попало – напихать много, воспоминания, страхи и мечты влезают тоже.

У касс вытянулись вереницы безнадежных глаз и опущенных рук. Кажется, уже поздно.

Но Невский проспект живет прежней блестящей и шумной жизнью. Звенели трамваи, переваливались, как бегемоты, катили троллейбусы. У театральных касс – очереди. На улицах плакаты со словами старика Джамбула:

*Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Мне в струе степного ручья
Виден отблеск Невской струи.*

Это первый сигнал кампании моральной поддержки ленинградцев: обращения, коллективные письма, призывы и приветия посыпались из пропагандного рога изобилия. Но были и трогательно искренние послания. По рукам ходило наивное и страстное письмо группы эвакуированных на Урал ленинградских рабочих: «Прогоните этого дурака Ворошилова. Он же ничего не смыслит. И Жданова заодно, все равно он не заменит нам Кирова. Возьмите дело защиты города в свои руки. Пусть Мерецков командует, Кулик, Шапошников. Держитесь, родные... Мы с вами. Да здравствует наш Питер!..»

Какая-то неунывающая религиозная секта, крайне стесненная в материальных средствах, за неимением гербовой, а также пишущей машинки писала листовки от руки, на тетрадной бумаге в клеточку, и забрасывала их в окна квартир, подсовывала под двери, подкладывала в кресла театров.

«Да поможет нам, ленинградцам, Бог...» – гласила первая строка.

«Молитесь Богу... Времена Апокалипсиса настали. Но Христос шествует к нам. Он уже идет по вершинам Кавказа».

Письмо длинное, с массой ошибок и восклицательных знаков.

И какой-то уже голодающий мыслитель, впавший в черную меланхолию, строчил на красной оберточной бумаге – черным по кровавому – послание: «Всем, всем», кончающееся почти библейским «Быть Петербургу пусту».

Длинные языки работают на длинных волнах, короткие – на коротких. Все эти письма и послания давали пищу мещанской радиоактивности. Слухи и «тайные» письма были перенасыщены ожиданием чего-то неминуемо страшного, – психо-фантастический раствор, из которого иногда выпадали кристаллики истины. По настроению этот фольклор мало чем отличался от газетных посланий и обращений. И само «Обращение к ленинградцам», подписанное Ждановым – секретарем партийной организации Ленинграда и области, Попковым – председателем исполкома и Ворошиловым – горе-командующим северо-западным направлением, – было почти прямым подтверждением панических слухов: не мытьем, так катаньем немцы хотят взять город. Они подошли близко. Видя, что удар в лоб не удастся, они заходят с другой стороны. Вернее, со всех сторон.

Таков был смысл воззвания, спрятанный под перекрытием дубовых партийных фраз и криков о победе, которая так же – не мытьем, так катаньем – когда-то «будет за нами».

Еще в конце июля, когда немецкий штаб и сам еще, очевидно, определенно не знал, что предпринять под Ленинградом, по рядам окопников прополз зловещий слух:

– Окружают. Хотят взять измором...

И дрогнули сердца людей, оставивших свои семьи, чтобы добывать в земле защиту и победу.

Наступил день свершения и этого слуха...

* * *

Студенты налегли на пиво. Водку в магазинах припрятали. Выставили было на показ вина дорогих марок – и те расхватали. Оставалось пиво: крепкое, бархатное, завода имени Стеньки Разина. Почти все пивные заводы – имени этого в свое время не только разбойника, но и романтического героя, а теперь революционера, почти старого большевика. Обувные фабрики – имени Семашко, папиросные – Клары Цеткин, пищевые комбинаты – Микояна.

Пиво имени Степана Разина начали пить за обедом в кавказском подвальчике на Невском. За талоны в 25 граммов мяса и 5 граммов жира подавали полшашлыка с полугарниром.

– Перец – да, – информировал заранее официант, – зеленый и красный, стручковый и дрючковый, но лимон – нет.

– Слегка подкрепились, но более наперчились, – резюмировал Саша Половский, и уже поздно ночью добавил:

– А главное – напильсь.

Запретный час застал всю компанию, руководимую нетвердой рукой Половского, в Мариенгофском парке.

Домой, в общежитие, идти побоялись: с ночным караулом шутки плохи. Прилегли в кустиках. Среди ночи проснулись от близкой трескотни зениток. Где-то в городе пробомбили, коротко и ясно: началось. Воздушная битва за Ленинград проиграна. Теперь тяжелые плоды поражения будут сыпаться на голову. Это была вторая бомбежка.

* * *

В общежитии ворох писем. Почти все – довоенные... Голубые и желтые конверты блеснули последним прощальным лучом ушедшего мира и последним – на долгие месяцы или навсегда – приветом.

Иван Якушев писал Дмитрию: «Теперь мода – писать всякие послания ленинградцам. Держитесь за землю, если будете падать. Ты же, Митря, защищай Севпальмиру во всю... Весь мой курс идет добровольно на фронт. Пока сидим без дела. Говорят, что пошлют в военно-политическое училище. Чему еще нас будут учить после трех курсов литфака? Истории партии?»

Бувай. Пиши мне, не забывай. Твой Иван».

10. Фоновое кольцо

На окопы друзья вернулись вовремя. Утром лейтенант с зелеными кубиками встретил их как старых знакомых.

– Что, поворачивай назад?

– Да, теперь уже на Тыплис, хотэл – не хотэл, все равно не проедешь.

– Что слышно в Питере?

– Бомбили второй раз.

– Без вас знаю.

– Крысы разбежались. Мы, например, ни одной не видели.

– Не зубоскальте. Это плохая примета. Крысы и с тонущего корабля бегут.

– Ну, ладно, старина, довольно каркать. Сам не утони здесь, в своем болоте.

...Линия окопов пошла по болотам и граниту. С 5 часов утра до 8–9 вечера долбили и разгребали то камень, то грязь.

– Вот видите, на чем построен наш город, – говорил студентам профессор русской истории Пошехонов, – на воде и камне, да еще на костях человеческих. Быть может, эта жестокая война разрушит славный Питер, но он вырастет снова, и на этот раз, возможно, на наших костях.

– И пусть, пусть на наших костях, – отвечали ему хором, – лишь бы он вечно стоял на Неве.

Работали, как «ишаки», – так докладывал сотник по начальству.

И что за осень стояла на питерском дворе... Такой, наверно, не помнили ни Петр, ни Пушкин, а о нас говорить нечего. Голубое, летнее-летнее небо плыло над оранжевой землей. Ни ветер не пролетит, ни дождь не сорвется. Только самолеты со свастикой, да бомбы, пока еще редкие, куда попало, как слепой дождь.

После работы иногда слушали профессорские «вроде лекций». Снова пристрастились в «очко». Высокие стога сена были сценой для выступлений артистов, а иногда безобидных, почти добродушных драк, ревности и вообще драм и романов малых форм. Лозунг «Все равно война», отчаянно-равнодушный на всех языках, впутанных в тяжелый и длительный разговор, упростил чувства – хорошие и плохие. Средних чувств не бывает. Разве равнодушие – это, пожалуй, единственное. Но и оно упростилось до отупения.

Рождались, со всеми завязками и развязками, романы.

Одна работница в «кожанке», не только работала с Дмитрием локоть о локоть, но и спала бок-о-бок.

Русская женщина в кожаной тужурке, героиня гражданской войны... Борис Лавренев писал, что с такой приятно лежать в окопе, но не в постели. А эти – ладные и красивые, спортивные, молодые женщины украшали окопы, как цветы на лугах.

Попали на окопы и «блатные», недавно выпущенные из тюрем воровки, подруги воров, или проститутки упрощенного социалистического типа, т. е. полупрофессиональные (настоящих в России давно уже нет). Смазливые и рослые девицы эти держались особняком, курили, красили губы, носили кожаные куртки и красные сафьяновые сапожки. Пели свои песни:

*Ведь все равно, наша жизнь поломатая,
И тело женское проклято судьбой.*

Самой популярной была песня о Мурке, которой было не то мало «барахла», не то она «идейно» спуталась с лягашами (милиционерами, сыщиками), и вот вам результат:

*Там, на переулке
В кожаной тулупке
Мурка окровавлена лежит.*

Не странно ли, что эта песня о «ловкой и красивой» Мурке добрый десяток лет распевалась всей Россией, юнцами и отцами семейств. Мотив ли ее простой, чисто русский нравился, пришла ли она вообще к разоренному посленэповскому двору?

Саше тоже улыбнулась окопная любовь – краснощекая девица, работница консервного комбината имени, разумеется, Микояна, который в свое время тоже не захотел ехать «на Тыплыс», а прочно обосновался в Москве.

– Я знаю, что вас зовут Саша, – сказала она без обидных обиняков, – а меня Маруся. Приходите ко мне в гости. Я вон в той избушке на курьих ножках поселившись.

Потрясенный Саша ничего ей не ответил, хотя открывал рот и моргал глазами.

– Чего он моргает? – удивилась девица и ушла, обидевшись. Только через несколько дней, когда вечера похолодали, а насмешки приятелей надоели, Саша направился к избушке без окон и дверей с решимостью Дон-Жуана, бросающего вызов Каменному гостю.

Заметно уменьшился окопный рацион. О сытных обедах с мясом забыли. Хлеба тоже не стало хватать. Его заменили картошкой, а мясо – бобами, фасолью, горохом, чечевицей. Чечевица... Сваренную ли в окопном котле, поданную ли в ресторане – с янтарными каплями льняного масла, миндалевидную, только что не прозрачную, – кто из ленинградцев может ее забыть. Это было последнее, что ели досыта, и первое, что вспоминали до исступления.

На обед давали чечевичную кашу. Но вскоре и этого не стало вволю. Ходили по полям, собирали неубранный, морщинистый горох. Им закусывали чистый спирт. Его целыми бутылками привозила Сашина девица, иногда успевавшая за ночь «смотреться» на свою «микояншу». Спирт сразу «брал за жабры», а горох, звонко хрустящий на зубах, пережевывали медленно, с наслаждением.

Профессор Павел Петрович Пошехонов и друг его студенческих лет, университетский профессор-геолог, 65-летний старик, оба лысые, без очков и бороды, зато с запорожскими усами, – от гороха отказывались: не по зубам, но спирт «пробовали» охотно, только просили развести водой.

– Иначе дух захватывает, – с виноватой улыбкой говорил Павел Петрович, – а дух-то старый, еще дореволюционный.

– Не оправдывайтесь, знаем мы вас, – подшучивали, перемигиваясь, студенты:

– Ломом вкалываете не хуже нас, молодых, – только камни летят.

Ломом приходилось ворочать как следует. Ни лопата, ни кирка не брали выпиравшие из болота каменные плечи, едва прикрытые шевелюрой кустарника или мхом и лишайниками.

Павел Петрович был любимым профессором. Лекции он читал по старинке, без всяких конспектов, расхаживая между рядами. Программы Наркомпроса он не считал для себя законом. Из года в год на третьем курсе читал он свой знаменитый цикл лекций о культурно-исторической роли православия на Руси – почти «новый» и смелый по тому времени.

– Я одинок. Моя семья – это вы, – не раз говорил он с кафедры. – Учитесь хорошо. Перед вами лежит вся жизнь, весь мир, и стоят великие задачи. Не мне вас учить политграмоте, которую я, кстати, и сам не знаю. Вот я и говорю: скучна, бледна история нашей страны, медлительно течение ее великих дней, как великих рек, – по сравнению с бурной и яркой историей Европы. Но у нас крупные события обычно все переворачивают вверх дном и оставляют глубокие следы в веках. Серьезна наша история. Трагична, может быть, – не знаю. Но в ней этакая степенность мужика, его пьяный разгул и трезвое упорство. А главное – гениальное терпение до крайности, а то и до бескрайности. Эта война тоже может перевернуть все вверх дном, но мы победим, вот увидите.

Постепенно на окопы переместились важнейшие жизненные центры города – рынки. Торгаши и менялы раскинули свои шатры на сеновалах: сухо и можно всегда надежно «занащить» товар, да и самим спрятаться при обыске. Ленинградцы, с присущим им остроумием, назвали такие рынки филиалами известного Сенного. Это были предтечи Голодных рынков осадных дней. Здесь впервые начал стремительно падать рубль. Спекулянты пожимали плечами.

– Что деньги... Гоните нам теплое барахло, золото, бриллианты, в обмен на спирт, водку, хлеб, табак – что хотите.

Этим людишкам, всегда напичканным товарами сверхширокого потребления и слухами-сплетнями сверхдальнего распространения, суждено было сыграть весьма важную роль в трагедии Ленинграда. Они же первые сказали страшное слово:

ГОЛОД...

У военных ничего нельзя было добиться толком. Отмалчивались или отругивались.

Но вот все пришло в движение. Треща и подпрыгивая, пронеслись мотоциклетки связных, загудели автомашины – одиночные и бесконечными колоннами. Молча проходила угрюмая пехота; за нею – тягачи с тяжелыми орудиями и, наконец, танки, танкетки, самоходные пушки.

Как зачарованные, смотрели окопники на эту почти киноленту фронтовой передраги.

Ранним утром, вернее – это была еще ночь, – ароматная хвойная настойка тишины расплескалась шквалом огня. Орудийные залпы почти секундной частоты загрели по всему фронту. Это был сплошной вой, треск, вспышки. Черные, длинные руки орудий с полотняным треском разрывали на куски плотные низкие облака. И казалось невероятным, что солнце все-таки встало. И на фоне алой зари, даже прямо на солнечном диске поблескивали чешуйчатые вспышки выстрелов...

Но молодой, душевно и физически здоровый человек не был жалок в этой панораме битвы. Нет, он не был жалок, если не был трусом или не обалдевал. Блестели глаза, и сердце сжималось в радостной жути. Может быть, это вспышка безумия: если не ума – он почти не участвует в этом – так сердца... Или, наоборот, что вполне естественно, нормальная реакция на все ненормальное, величественное, потрясающее?..

Столбы дыма и огня вырастали на горизонте. Это был штурм одновременно Пушкина и Колпино. От Колпино, от Ижорского города-завода отбили, Пушкин отдали. Орудийный ураган улегся в свое, вспаханное снарядами, логовище – поле, засеянное горькими семенами-осколками поражения, из которых иногда вырастают сладкие клубни побед... Побухивали, не угомоняясь, еще какие-то пушчонки, но Пушкина уже было не вернуть. Взяли Пушкин немецкие пушки. Немцы сделали еще один скачок к Ленинграду с запада в лоб.

И не только в лоб. Это был концентрический штурм Ленинграда. В несколько дней были взяты: Лигово, Горелово, Стрельна, Петергоф, Павловск, Гатчина, Красное Село, Кингисепп. Ораниенбаум попал в отдельное окружение. В эти же дни весь Балтийский флот был блокирован немецким флотом и авиацией и не мог принять никакого участия в отражении штурма самого обреченного города.

Советские военные сводки на этот раз откровенно и правдиво сообщали о тяжелых, кровавых потерях с обеих сторон. Фронт стоял у Средней Рогатки и по ту сторону Пулковских высот. Сам Пулковский холм несколько раз переходил из рук в руки. Основной корпус Обсерватории, высокая башня с главным телескопом, библиотека – хранилище жизнеописания всех звезд, великих и малых, – все было разбито и сожжено. Но холм остался за Ленинградом, за его защитниками. Рухнула одна из мировых обсерваторий, поистине хватавшая звезды с неба, но под ее останками уцелел Пулковский меридиан, мировая русская орбита.

А в Гатчине, на высоком обелиске у входа в вековой пушкинский парк, пришельцы цементировали огромного черного паука – свастику.

Нашлись люди, готовые жертвовать собой, лишь бы сбить эту свастику – во имя Пушкина, во имя России.

В Александровском дворце расквартировалась потрепанная в последних боях испанская Голубая дивизия. Прославилась она больше на «бабьем» фронте, да и там ей не особенно повезло. Россия встретила войну все еще отсталой во многих отношениях, особенно – в отношениях между мужчиной и женщиной.

На Карельском перешейке, в сторону Ладожского озера, немцы и финны не подошли к Ленинграду ближе, чем на 60 километров. Это была самая глубокая излучина в замыкающемся вокруг города фронте, подошедшем со стороны Кировского завода на 2–6 километров от города, в других местах – на 8, 9 и 15 километров.

Черная речка, где сто с лишним лет назад пролилась праведная кровь поэта, а теперь лилась кровь его потомков, осталась после тяжелых боев за нами; ставшая в Парголово и Токсово большая армия – заслон против финнов – так и осталась, и простояла всю блокаду без движения.

Несколько немецких дивизий штурмом взяли Дудергоф – Воронью гору, ставшую артиллерийской Голгофой Ленинграда. С этой горы, господствующей над всей округой, немцы корректировали артиллерийский огонь во все долгие месяцы блокады.

Наконец, 28 августа воздушным десантом была взята станция Мга – последняя отдушина, через которую Ленинград еще сообщался с Москвой и страной.

С чисто русским уважением к сильному и умному врагу рассказывали, что десантная дивизия немцев билась с гарнизоном до тех пор, пока не подоспели части ГГ.

Это был последний и неотвратимый, как судьба, удар. Судьбой была и сама блокада. Конечно, это и военное поражение, и тяжелый урок не столько правительству – оно, может быть, на лучшее не надеялось, – сколько всему народу и всей стране, которая гордилась своим Питером и была связана с ним тысячью нитей.

И вот эти нити были оборваны.

В огне и дыму пожаров, сея смерть и разрушения, колесница войны вплотную подошла к Ленинграду и описала вокруг него роковое кольцо.

Так началась блокада, длившаяся почти три года. С военной точки зрения, она, возможно, была стратегическим болотом, засасывающим и людей и технику, но в нем – совсем по-речному – текла кровь, и для осажденных не было ли оно мистическим воскрешением другого болота, засыпанного костями строителей Санкт-Петербурга? Через два века рядом с ними легли костями защитники Ленинграда.

В сухом, подожженном со всех сторон небе фонтанами взлетают и расплескиваются ракеты – пунктир фронта. Пожары кажутся едва заметными кострами, потом, вспыхивая чаще и чаще, к ночи разрастаются в широкую, подрагивающую бисерную цепочку – на весь горизонт. Вся земля в огне... Русская земля...

Тысячи согбенных людей в зареве пожарами смутными силуэтами стоят над могильным зиянием окопов – перед лицом Голода и Блокады.

Над исковерканной землей в тучах дыма повис раскаленный осколок луны – месяц. Месяц сентябрь.

11. «Административка»

Кто в России не сидел за всякие пустяки? Но есть люди как люди: посидели один раз – и хватит. Другим же везет: что ни кампания партии и правительства – они уже там. Будто тюрьма скучает без них, как поется в блатной песенке. К таким, видно, принадлежал и Саша Половский. 1-го сентября начались занятия в ЛИФЛИ (Ленинградский институт философии, литературы и истории), как и во всех учебных заведениях города. После лекций Саша засиделся в библиотеке, потом выпил пива в подвальчике у Калинкина моста и решил пройтись по Фонтанке. Шел он потихоньку и, забыв обо всем, о запретном часе также, напевал одну из самых жалостливых песен эпохи Гражданской войны – о «цыпленке жареном». И в самом интересном месте песни, как раз в том, где цыпленку «велели пачпорт показать», к Саше подошел милиционер.

– Предъявите и вы мне документы. Следуйте за мной без разговоров.

В участке участь людей, туда попавших, решалась быстро. Утром Саша познакомился с судопроизводством в военные дни. Оно было упрощено: за преступления высшего порядка судил трибунал, за мелочи – Административная комиссия, нечто новое в юстиции, чудовищное по своей простоте, несправедливости и глупости. «Упаси Бог от Административки», – говорили ленинградцы.

Во всех районных советах города заседали филиалы этой «что за комиссии, Создатель» – с утра до вечера. Судьями обычно были профсоюзные работники, чаще женщины. Никакие смягчающие вину обстоятельства не признавались. Профсоюзники, всегда верные слуги партии, принялись за «дело» так рьяно, что уже в первые дни войны переполнили все тюрьмы. Люди, выпившие во время воздушной тревоги и нарушившие какие-то правила ПВО, которых никто толком не знал, исчезали из дому. Они сидели в тюрьме без права переписки и свидания.

Месяц-два тюрьмы – срок небольшой, считали государственные мужи, а просто люди недостроенного, подвергшегося капиталистическому нападению социализма сбивались с ног в безуспешных поисках засевших родственников.

Седеющая деbeatая партийная старуха с лицом каменной скифской бабы, в окружении «пишмаш» (так называются все секретарши-машинистки по имени Ленинградской фабрики пишущих машинок— «Пишмаш»), полуответственных полумужчин, не взятых на фронт за дефективностью, и пионеров на побегушках. Эта заслуженная мегера, даже не взглянув на бедного Сашу, громыхнула, содрогаясь мощным бюстом:

– Один месяц.

Саша вздрогнул, «пишмаша» остервенело протарахтела на машинке какие-то жестокие слова – и приговор был подписан твердой не по годам рукой.

«Кто не был – тот будет, кто был – не забудет», – вспомнил Саша изречение старых революционеров, потом контрреволюционеров, входя в широкие ворота тюрьмы на Нижегородской улице, близ Финляндского вокзала. Он даже весело насвистывал: не в первый раз.

Это была старая тюрьма, построенная по типу «Крестов»: основной корпус расположен крестообразно. До революции «Кресты» были самой большой и страшной тюрьмой России. Теперь Москва и в этом выдвинулась на первое место: «Крестам» далеко до «Лубянки».

Сашу вкинули в большую камеру-гроб: голые стены, цементный пол. Посередине, на бушлатах, сидело несколько моряков с крейсера «Киров». Ленточек на их бескозырках не было. Очевидно, арестованным не полагаются. Матросы были осуждены за опоздание на корабль: за 5 минут – на 5 лет, за 10 – на 10. Одному за двухдневный прогул дали «вышку» (расстрел), но заменили двадцатью годами.

– Без нас войны не выиграют, – сказал он, – на то мы и балтийцы.

– Но что же с вами будут делать? – спросил Саша. – не сидеть же будете?

– Спишут в морской штрафной батальон, – сказал «вышак», – жаль, что нет штрафных боевых судов.

Саша представил себе: штрафной крейсер на всех парах бросается острой грудью на эскадру неприятеля, и... уснул.

Утром его послали на работу в тюремную баню, поражавшую чистотой и образцовым порядком, в установившемся при Сталине стиле издевательского бережливого отношения к человеку: его воспитывают, учат, лечат – и потом калечат где-нибудь, не дай Бог, в Нарыме или на Колыме, где как говорят, 12 месяцев зима, а остальное лето.

Саша с двумя «огольцами», мальчишками по 15–14 лет, мыл пол после каждой партии заключенных – казалось, им не будет конца.

Банщик, хам из разжалованных энкаведистов, почти ничего не делал сам. Командовал, матерился и делил скудный паек. Потом, когда появились пленные немцы (летчики), ему понравилось раздавать им кусочки мыла. Он встретил упавших с неба блондинов, как половой в гостинице. И не только он. Тюремное начальство по приказу свыше кормило «дорогих гостей» из особого котла. Утром – сладкий кофе с галетами, в обед каша с таким куском мяса, какой ленинградские рабочие имели только раз в неделю.

Через несколько дней Саша не вышел на работу и сразу же пожалел об этом.

Из рабочей «камеры», где он сидел с двумя напарниками, его перевели в такую же по размеру, но стояло в ней около сорока человек.

Административка работала.

Упасть в обморок было некуда. Бессильно оседавших, валившихся на плечи соседей выносили и, облив водой, снова вталкивали.

И это за ничтожнейшие проступки, чаще всего ни за что. И это в разгар войны, когда нужна каждая пара рук и ног, еще не оторванных снарядом.

Когда перевели в общую камеру, голую и холодную, все повеселели. Но, выползая из щелей деревянных нар, на сотни заключенных набросились тысячи клопов. Они шли в полный рост прямо среди бела дня. Борьба была неравной и кровопролитной.

12. Дракон, упавший с неба...

Когда это было? Какой-то студент влетел в общежитие с батоном белого хлеба в руке и объявил:

– Этот хлеб получен мной непосредственно из рук самой очаровательной работницы прилавка славного Питера. Спешите видеть! Новая булочница в новом магазине на Лермонтовском проспекте.

Все бросились в булочную. Кому надо и не надо – все купили хлеб. Какой-то первокурсник знакомился по всем правилам:

– А я вас знаю, вас зовут Маруся.

– Нет, Нина.

– Ах, да, Нина. Очень приятно. А меня – Ваня.

Теперь, как всякий видевший виды ловелас, Ваня должен назначить свидание и постараться хотя бы ради первого раза не опоздать. В большом городе любовь бывает в большой зависимости от трамвая, но здесь – рукой подать, и Ваня уже поспешил сообщить Нине, что «мы тут по-соседству, в общежитке, знаете?». С места в карьер он старается ликвидировать опасность соперничества: «Наших тут много болтается. Вы не того... Они все – прощелыги и насмешники. Циники, как говорят».

Обычно такой разговор прерывает какой-нибудь покупатель или свой же брат из циников, и Ваня ретируется: «Так вы закрываетесь в 10? Я буду ждать». Это – шепотом, свистящим, слышным даже на улице.

Познакомился и проводил Нину домой один Ваня, другой, третий. Все познакомились и проводили. И все возвращались с кислыми минами: «Девушка не из тех, а из этих, и не из этих, а из тех».

Только одного Сашу Половского не зацепило это повальное увлечение, а Дмитрий, в тот год опоздавший к началу учебы, познакомился с Ниной последним.

– Я давно о вас слышался, – сказал он.

– А я вас первый раз вижу. Что же вы раньше не заходили?

– Боялся влюбиться. Вся общежитка в вас влюблена. Ведь скоро сессия. Что тогда делать?

– Не бойтесь!

– А когда вы сегодня...

– Кончаю работу? В десять. Приходите и ждите.

Такое начало ему понравилось. Повалился провожать – благо недалеко: жила Нина в одном из деревянных домиков, целой деревней осевших за Балтийским вокзалом. Потом... Что было потом?.. Сессия, какой-то грипп, Тоня. Но сердце, занятое другой, отметило где-то в уголке своей капризной памяти: хорошая девушка Нина. И недаром отметило.

...Давно ли это было?.. Было ли это время счастливым?.. Нет, это было не так давно, и время было не таким счастливым, каким оно вспоминалось в сентябре 1941 года и каким оно кажется иногда в минуту слабости автору, когда все ушло в почти потустороннее далеко.

Не всегда удается переменить, как пластинку на граммофоне, воспоминания. Пойми меня, читатель, искушенный в воспоминаниях, особенно – мастер воспоминаний, эмигрант: студенческие годы, первые влюбленности, и главное – какой бы то ни было мир. Такой забытый и такой недавний мир.

Дмитрий хотел есть. После окопной янтарной чечевицы сидел на студенческом пайке: 200 гр. хлеба и кипятка, иногда с сахаром вприкуску. Кусочки сахара стали разменной монетой. Жиров и мяса на месячных карточках теперь, если даже не есть вволю, хватало на одну неделю – не больше.

Все чаще и чаще хотелось есть неожиданно, рефлексивно: идешь по улице, увидишь булочную с круглыми желтыми, как сдобный хлеб, буквами на вывеске – как не зайти?

Месяц только начался, а талонов на карточке у Дмитрия оставалось немного, она была уже «куцая» – не везде по ней дадут хлеба: забирать на много дней вперед запрещалось.

Но все же он решил рискнуть. В булочной на проспекте Майорова (б. Измайловский) было две очереди – к двум весам. Опытным взглядом оценил продавщиц – какая добрее. Определенно – блондинка. Но... неужели она? Да, это была Нина! Вот, если она улыбнется – и на щечках появятся ямочки, когда-то сводившие студентов с ума. «Воронки от поцелуев» – назывались эти ямочки. Но Нина не улыбнулась. Она работала механически, не глядя на покупателей. Какие теперь покупатели? Просители... Дмитрию показалось, что и он сказал просительно-виновато:

– Здравствуй Нина. Вот неожиданная встреча. Можно получить хлеб на после?

Золотистые ресницы ее вздрогнули.

– Митя, – спросила она тихо, грустно. – Откуда?

– С окопов. Так можно аж на после-после завтра?

– Конечно. И подожди меня, если есть время. Я быстро кончу свой хлеб и выйду.

Он ходил по проспекту, натываясь на бетонные надолбы, лестные знамения рогаток, и медленно жевал хлеб, начиная с коричневой, почти черной верхней корки. Пористая желтая нижняя корка, панцырьком предохраняющая мякушку, была с этой мякушкой отложена на завтра. «Завтра» пришло через пять минут... Он думал о том, что значит «кончу свой хлеб». Это и было первое, о чем он ее спросил, когда она вышла.

Она не удивилась такому вопросу после стольких-то «лет и зим», – ответила:

– Каждая продавщица принимает, строго по весу, определенное количество хлеба. Иногда его можно продать быстрее чем за 7–8 часов, особенно теперь: моментально расхватывают. Скажи лучше, где пропал?

«Ну и свинья же я, – подумал он. – Такая девушка! И почему я перестал «ухаживать»? И хоть бы написал...»

– Хоть бы написал, – сказала она, снова тихо и грустно.

Это было новое в ней, так шедшее к ее бледному, простому лицу, – тихость, печаль. Только ли в ней? В те дни таким был лик всего Питера-града, да и всей России.

– Я сидел, – неожиданно для себя соврал он, – шесть месяцев сидел в НКВД.

Попробуй кто-нибудь не поверить. Даже самый бессовестный лгун обидится: что, за человека не считаете? Она даже не спросила, за что сидел и как.

– А меня перевели вскорости в другую булочную, и никого из «господ неврастеников» больше не видела.

– Почему не эвакуировалась? – вопрос был обычным в Ленинграде тех дней.

– Все равно, куда ни поедешь, война. Отец уже убит. Мама поехала на лето домой, в деревню под Лугой, теперь там немцы. Мы с сестренкой остались одни в квартире. Пойдем к нам?

Он не успел ей ответить – завывла тревога, пятая или шестая за день. На этот раз – запоздалая тревога: в небе гудели надсадно моторы. На этот раз – роковая тревога.

В ясном вечернем небе, будто густой толпой, но если всмотреться – стройными эшелонами, прямым курсом шло несколько сот черных самолетов – медленно, бесстрашно, не обращая внимания на трескотню зениток. Загорелся один, пошел на спуск другой, почему-то отстал третий самолет. Но остальные, не нарушая строя, идут, идут. Вот уже первый косяк бросает зловещую тень – пока еще не бомбы – на крыши центра города. Идут дальше. Под ними, подожженные бортовым огнем, пылают аэростаты воздушного заграждения – огромные, похожие на акул, готовых, казалось, ринуться на врага. Но это беззубые акулы.

А черные машины все плывут, плывут в небе, все не бросают свой груз, гребут к какой-то им одним известной черте. И вот они, наконец, измотав весь город ожиданием, игрой в безвыигрышную лотерею смерти, достигли своей цели. Несколько бомб, легко прошелестев, разорвались негулко: пробные, по зениткам. И разом куда-то – пачками, гирляндами, гроздьями, сотнями тонн металла, раскаленного, будто прямо из доменной печи, адской печи войны. Близко звывило, рвануло, сотрясло.

– Ишь, как они нас, как они нас, – причитал какой-то рабочий в толпе, в подворотне.

– А слышите, гарь-то какая? Как на кухне.

– Не склады ли разбомбили?

– Молчали бы уж. Некоторым прямые попадания почему-то нравятся.

– Сама попала пальцем в небо, дура.

– Сам дурак!

– Что-о-о?

Подъехал на велосипеде милиционер в грязи и копоти. Все к нему:

– Где горит? Что?

Отдышавшись и закурив, и еще помедлив, замызганный представитель власти сказал:

– Бадаевские склады горят, вот что. Сам только что оттуда... А вы бы рассредоточились, граждане.

– Валяй, валяй! Лучше бы склады рассредоточили. Вот сгорит все зараз, что будем жрать?

Теперь конец...

– Довоевались, идола.

– Бить «их» некому!

– Как же, теперь есть кому.

И тот же рабочий:

– Ишь как они нас, как они нас...

* * *

Бомбардировка длилась около часа. Выходя на улицы после отбоя, люди останавливались в горестном изумлении.

Слоеные черные гроззовые тучи сцепились, упали на землю и бешено клубились в руках огня, в растопыренных пальцах – языках пламени, в когтях дракона, тоже сорвавшегося – или сброшенного – с неба. Все змеилось черными и красными полосами, вспыхивало ярко и трескотно, взбухало космато, рассыпалось вокруг. По улицам в районе пожара металась толпа обезумевших крыс.

Огненный дракон изгибался и трепетал, силясь оторваться от земли, вскарабкаться вверх, в чистую синеву – охладиться.

По тяжелым слоям – ступенькам дыма – юрко взбирались на небо краснорубашечные грузчики с мешками крупы, пшена, сахара и хлеба, хлебца, хлебушка.

Широкие полотнища пламени то рвались с треском, то вздувались, как паруса, льнули к высокой, чудом уцелевшей трубе, как к мачте корабля, плывущего по волнам дымного моря, – прямым курсом в небо.

Горели Бадаевские продовольственные склады – кладовая города. Из еще сильных и крепких рук осажденного Ленинграда был выбит самый крупный и надежный козырь.

Жирен был дым от сгоревших жиров, причудливо разбухал, как тесто на дрожжах, – от испеченной муки, горек от расплавленного сахара. Горько было сознание бессилия перед этой фатальной бедой, имевшей такие губительные последствия.

Над черным ликом пожарища долго носились дымы и дымки, демоны теперь уже неотвратимого ГОЛОДА.

* * *

Около домика Нины упало несколько бомб. Вылетели не только стекла, но и рамы, и двери. Во дворе, среди разбросанных вещей, на узле сидела сестренка Тамара и плакала, утирая слезы кулачком. «Совсем ребенок, – подумал Дмитрий, – и хорошенькая».

– Вот ты там себе работаешь, а меня здесь себе раз-раз-бом-било, – сказала она, тонко всхлипывая. – А это кто такой?

– Митя. Помнишь?

– Ага. Это, который студент? Вот хорошо! – она вскочила с узла и побежала в дом.

Около домишек толпились люди.

– Вот какой разгром фашистов получается, – сказал какой-то железнодорожник, приветливо улыбаясь Дмитрию, как старому знакомому. – Успевай только поворачиваться. Намедни в нашем доме слева стекла вылетели, а нынче справа. Как говорится, и в хвост и в гриву... А ужо, гляди, долбанут в анхвас.

– И зеркало раз-раз-бомбили, – в окно выглянуло чумазое личико черноглазой Тамары, и сама она выпрыгнула, как коза, на чемодан.

Он треснул, Нина ахнула.

– Дура неумная.

– Оно известно – дитё, – сказал рабочий, – а вы бы принимались за дело, пока не темно.

И помощник есть.

Кое-как забили окна фанерой и досками, навесили дверь. В коридоре лежало много досок.

– И откуда взялись? – удивлялась Нина, – вот кстати.

– Кста-ти, – передразнивала ее Тамара, – с неба падали, а я собирала: бывает же, рыбы падают с неба, и разные лягушки. А тут – доски. Да еще в бомбежку. Что удивительного? Хорошо еще, что не на голову.

– Они, наверно, не падали, а под руку попадались, – сказал Дмитрий.

– Все могло быть. Главное, на мой взгляд: не теряться.

Женщина с перевязанной рукой ходила по двору и у всех спрашивала:

– Куда девались мои досточки – ума не приложу. Вы не видели, случаем?

– Случаем, – ворчала Тамара. – Тут света не взвидишь, а она – доски захотела увидеть.

Где-то чья-то ловкая и добрая рука соединила оборванные провода, и в домишках зажегся свет. Далекая и, очевидно, да, конечно, красивая и нежная женщина мягко сказала:

– Продолжаем нашу передачу. Слушайте концерт-лекцию «Венский вальс».

– Я предпочитаю венскую булочку. Впрочем, у нас кое-что есть. Вот мы сейчас упрямимся, – сказала Тамара и, подоткнув юбку выше колен, вальсируя под музыку, принялась подметать пол и наводить порядок, т. е. рассовывать вещи под кровати.

К чаю у сестер нашлось довоенное печенье и шоколад.

– Теперь мы тебя, мил-дружок, не отпустим, – щебетала Тамара, – как хочешь, а оставайся с нами.

– Вы уже на «ты»? – спросила Нина.

– Мы на «мы», на мой взгляд.

– Ты у меня домыкаешься сегодня. Пойди-ка, достань это самое...

В квартире из трех комнат одна была «безработной». Тамара долго возилась в узлах, потом, с таинственным видом держа руки за спиной, подошла к столу.

– Угадай – что? – и, не дожидаясь ответа, подняла над головой бутылочку водки.

– Золотая рыбка в золотой ручке, – сказал Дмитрий и был награжден таким взглядом... Пожалел, что ему не 16 лет. В России со времени «Героя нашего времени» юноши в 20–25 лет уже вздыхают об «ушедшей» молодости.

И Тамара, дитя Северной Пальмиры, тоже сказала эту сакраментальную фразу, в войну сбившую многих с пути: «Все равно – война». И выпила, как большая, не моргнув глазом, только закашлялась.

Постелили Дмитрию прямо на плите, на Тамариных досках. Спал, как в детстве на полатах, с легким отрывом от пола, от избы – в мир полупрошлый, полубудущий, фантастический мир русской детворы, засыпающей под вой метелей – белых ведьм.

Ночью была еще тревога, но ее даже не слышали. Начали привыкать.

Ранним утром сестры провожали Дмитрия, как на войну. Какой-то узелок, тысяча пожеланий – и главное: «Приходи, не забудь; дал слово».

Обводный канал все еще тускло мерцал в дыму. Не в дыму – столбом, не в дыму – коромыслом. Над глеющим пожарищем повис огромный, бесформенный, обглоданный огненными вихрями слоеный пирог дымных туч. Было из чего небу его выпечь.

13. «Поцелуев» госпиталь

У осажденного города свои горестные сенсации. 11 сентября корабли Балтийского флота прорвали немецкую блокаду в Финском заливе и, огрызаясь, день и ночь шли к Кронштадту сквозь сплошную бомбардировку немецких крейсеров и авиации. Выведены из блокады почти все суда – крейсера, транспорты, катера, миноносцы, пароходы, тральщики, – но из них уцелела едва половина. Немецкие пикирующие бомбардировщики тучами гнались за разрозненными судами и топили их, топили...

Два крейсера, спасаясь, полным ходом вошли в Неву. С проломанными ребрами, с разорванными, как на груди рубашками, – флагами, но с высоко задранными носами-орудиями, они своим появлением озадачили не только случайных зрителей, но и высшее командование.

Тихо и скромно стали крейсера у Дворцовой набережной. Вслед за ними в Неву вошли еще несколько судов и бросили якорь у монументальной Биржи. Израненные, они прижались к гранитной набережной, словно прося у города защиты. Потом им самим пришлось защищать его: крепостями, батареями, самыми страшными для врага, стали они в долгие месяцы блокады.

Город был полон рассказами о тяжелом прорыве флота, и самими матросами – обезумевшими, презрительными и угрожающе спокойными.

– Эй, вы там! Посторонитесь, дайте утопленнику выпить! – слышалось у пивных ларьков.

Многие добрались на судах, как на перекладных: с одного потонувшего на другое тонущее, потом на третьем, с пробоинами, – и так под непрерывную бомбардировку, гром орудий, фонтаны воды и крови, крики о помощи и морской мат – до Кронштадта и самой Невы.

В одном из больших морских госпиталей, и раньше не пустовавшем, сразу же палаты переполнились ранеными.

Тоня, только что откомандированная сюда с Карельского перешейка, где ей приходилось оказывать первую помощь лишь легко раненым, теперь работала почти круглые сутки...

Война застала ее в Ленинграде, на практических занятиях в Пироговской академии. Весь ее курс решил пойти в армию. В те дни это решалось быстро, и в конце июня она была на фронте. Война была как новая смертоносная жизнь – жизнь, полная смертельных несчастий. Сразу же пришлось кланяться железным мухам цеце, но уже в первые дни не всегда: не успевала, или из упрямства. Ежегодный с первыми холодами, легкий грипп не привязался к ней теперь. «Пошел в отставку по случаю войны, – подумала она, в душе подсмеиваясь над своими фронтовыми страхами, постелью йога – две доски с гвоздями, хотя и загнутыми, и всеми «земляничными» неудобствами. Земляники, кстати, в лесу была такая сила, что и немцы перед ней не устояли: слышно было, жрут и хвалят.

В санбат Тоня явилась с невиданным в здешних местах чемоданом – заграничным, подарком генерала. Но после первых же ехидных улыбок товаровок-сестер чемодан пошел в отставку. И многое, что было в нем: губная помада, пагубная для репутации, пудреница, роман «Наши знакомые» и, наконец, с некоторым душевным колебанием, дневник: два-три увлечения, поездка на Кубань, Алкаев, размышления о жизни вообще, о любви в частности. «Тоже не мешало бы в отставку, – думала она о ней, – но, кажется, и без меня отставилось. Оборвалась моя любовь в самом начале. Не судьба». Вспомнила, как всю ночь перед отъездом на фронт писала письмо Дмитрию. В этом письме – целой тетради – сухим и точным был только номер полевой почты. Все остальное запутанно-нежно. «Стоило ли писать... Все равно не получил». Она была уверена, что Алкаева нет в Ленинграде.

Оставалось еще зеркальце – парижское, зависть студенток всех курсов: в кожаном футляре, на обороте – с глянцевым личиком мидинетки над двумя строго симметричными полушариями голой груди, – оно после больших душевных и даже физических колебаний,

последний раз отразив Тонино расстроенное, но решительное лицо, перешло в трепетные руки старой фельдшерицы, называемой фельдьящерицей. Тоне были подарены новая пилотка и командирский ремень.

Нет, это не было только швыряние дневников и баночек из заморского чемодана, а потом и самого чемодана, в лес, это не была просто бесконечная примерка сурового обмундирования, обмен чулок на портянки, гимнастерки на стеганые штаны, белого халата на серый. Это было преобразование внутреннее и внешнее. На таких девушек, в грязных они халатах или чистых, с красными крестами или красными звездами, – падал отблеск Преображения Господня, отблеск Христовых риз.

А с чемоданом вышла целая история. Его подобрал денщик полковника, командира дивизии, хитрая и властная личность, называвшая себя – Тимохвей. Стоило в штабе появиться какому-нибудь гостю, особенно в часы-минуты отрешенного фронтового затишья, – как уже звали:

– Тимохвей, покажи свой трохвей.

Показали чемодан и новому командующему армией, генерал-лейтенанту Попову. Улыбнулся генерал, спросил:

– А нету ли у вас тут такой сестрички, Черской?

– Это блондиночка такая суровенькая? – спросил комдив. Тоню позвали.

– Так-то ты ценишь мои подарки? – грозно встретил ее генерал, указывая на лежащий посреди комнаты – пьедесталиком – чемодан. – А ну, подойди, поцелую. Дочь моя. Приемьш ты мой. Подкидьш лет двадцати.

После обеда генерал пошел по рубежу дивизии. Рубеж был такой, что – не каждый кустик ночевать пустит. Почти на каждом шагу вырастали, отряхиваясь от листьев, солдаты и молча приветствовали. Круглые крепостцы дотов, глазницы и амбразуры с живыми зрачками пулеметов, бесконечные противотанковые рвы, бивни тяжелых слоновых гаубиц и пушек – здесь все было готово к обороне. И ничего к наступлению.

В этот вечер на всем протяжении Карельского участка фронта сосны и ели на все наложили свои зеленые лапы – маскируя, утихомиривая. Не все же сходить с ума! Смотрите – закат-то какой. Из-за холмов, утыканных сквозными спичечными сосенками, доплескивал из этого неожиданного моря тишины – тихий колокольный звон.

Генерал, Тоня и полковник заспорили, какого вероисповедания финны.

– Немецкого, – сказал Тимохвей, имеющий право совещательного голоса, а иногда и решающего. Все с ним согласились.

Всем остался доволен генерал на участке дивизии, кроме Тони. Никак не мог ее уговорить переехать в санчасть при своем штабе.

– Я против семейных лавочек, – сказала она хмуро. – И вообще, сам знаешь: война, и я уже не маленькая.

– Имей в виду, – сказал он, уезжая, – я буду жаловаться по начальству – жене и мамаше. И за чемодан, и за геройство, или как там... безумство храбрых, и за письма твои короче твоего носа.

Через несколько дней Тоня получила приказ о переводе в город, в военно-морской госпиталь. Это касалось всех студентов-медиков. Генерал тут был ни при чем. Пришлось подчиниться. Вернулась в Ленинград, без чемодана, помады, зеркала. Все осталось в Карельском лесу. Там осталась и прежняя Тоня.

Часто вспоминала слова профессора, провожавшего ее курс на фронт:

– Можете забыть обо всех наших знаниях и учиться снова – у военных врачей. Среди них есть много скромных дельных работников. Все ваши уши, горла и носы теперь никого не интересуют. Война отрывает их сразу, вместе с головой, а если нет, то все равно – лечить их некогда. И не лейте слез – это никому не поможет.

«Не поможет», – не раз шептала Тоня, склонясь над каким-нибудь матросиком. Много их умирало в те дни. Фантастический прорыв фронта, героизм и значение которого не оценили обе воюющие стороны, дорого обошелся военным морякам.

Госпиталь был конвейером, раздваивающимся в конце: с одной стороны – скажем, с левой – везли в мертвецкую, с другой, с правой – в жизнь, тоже разделенную надвое: фронт и тыл.

Само Балтийское море несло сюда тысячи раненых на волнах бушующего прибоя. Тоня не раз хотела бежать от этого наводнения крови, наплыва безногих, безруких, полуживых, полутрупов. Но потом, с невысыхающими от крови руками и от слез – глазами, она устыдилась своего малодушия – перед тем глубоким морем страдания, что она видела в глазах молодых людей, еще так недавно бывших такими же здоровыми и жизнерадостными, как она.

Пульс ее капризной и своенравной природы с каждым днем войны бился тише, спокойнее, печальнее. Война вызвала к жизни доселе дремавшие душевные силы, настойчиво и мягко проступили черты исконно русской женщины: упрямого терпения, готовности к взрыву подвига или медленному горению страдания.

Здесь, в госпитале, заканчивалось Преображение.

...Перед нею лежала история болезни Ивлева, «род. 8.9.1919 г. в гор. Гирей, Краснодарского края», студента четвертого курса МАИ, бывшего на практике в авиации Балтийского флота. Потом перед нею лежал и сам Ивлев. Правда, он спал, с головой укрытый простыней. С выпукло проступавшими бицепсами скрещенных рук и широкой грудной клеткой, он никак не походил на труп, – скорее на не совсем классическую (уж слишком долговяз) гипсовую фигуру атлета. Вот сейчас придет скульптор, сорвет покрывало, полюбуется, покажет друзьям и отправит свое творение на выставку. И пришел главный хирург с двумя ассистентами, и откинул простыню, и открылось недовольное, гипсовое лицо притворно спящего атлета, с фиолетовыми веками и длинным носом.

– Молодцом, – только и сказал врач, – а ведь контузия была тяжелая, и ранение в голову.

Отошел старик довольный, а Ивлев снова так натянул на голову простыню, что хоть бей, как в барабан. Больной не признавал одеяла – в палате было тепло.

Да, он никак не походил на труп. Смерть немного поработала над ним. Хирург-скульптор оказался сильнее. Другой бы на месте Ивлева как укрылся простыней по-покойнически, так бы под ней и остался.

Тоня несколько раз пыталась поговорить с земляком, но безуспешно. «Ранение в голову сказалось», – думала она. «Буду прикидываться пришибленным, скорее выпустят, – думал он, – а девка ничего. В ней что-то слышится родное».

В одно из вечерних дежурств Тоня услышала, наконец, слабый, но уверенный голос больного:

– Это вы бросьте, мамаша. Нету Бога.

А старенькая сестрица, выморощенная монашка, только без «формы», – свое:

– Ан, глядишь – и есть.

– Где же это – «глядишь»?

– А хотя бы на том свете.

– Ну, я туда не собираюсь.

– Сколько тут таких было, тоже не собирались. Не дай Бог, конечно. А вы бы лучше помолчали. У вас жар. А Бог есть.

– Нету, – шипело свистящим под простыней, горячим и каким-то почти злобным шепотом. Тоня знала: родная одинокая душа мечется в жару, страдает сильный, терпеливый и озлобленноупорный человек из тех, кто до самой смерти не сдается смерти.

– Ну и раненые пошли, – сетовала старушка, отойдя с Тоней от Ивлева. – Какие то все непримиримые, злые. Никак не могут смириться со своим несчастьем. А все оттого, что веры нет.

– Да, это вы правы, – сказал Ивлев. – Нет веры: ни в Бога, ни в черта, ни в победу, ни в пар...

– Вам спать надо, – строго перебила его Тоня, давно уже усвоившая язык и манеры медицинских сестер.

– А это беленькая, – под простыней зашелестело, зашипело, как в испорченном механизме, и прошептало покорно и добродушно: – Ладно, вас я послушаюсь. Уже сплю. Я же не виноват, что такой слух у меня. На нашей авиаматке – «авиамайке», как говорил боцман из сербов, служил вместо звукоуловителя. Только и знал кричать: «Воздух». Вот меня и шибануло этим воздухом. Два часа плавал, пока вытянули. Ну, сплю.

Пришлось отойти от него еще дальше. Доверительным шепотом старушка сообщила самое важное:

– Ночью-то не спал. Бредил. И как вождей крыл, как честил... И все Политбюро, говорит, и всех ихних родственников, и еще мало того, сто верст вокруг. Не до смеха. Что-то надо было придумать. Я уж его в одеяла кутала, кутала, чуть рот не затыкала...

– Вы сегодня с кем дежурите? – спросила Тоня.

– С Ивановой.

– Это славная девочка. Других старайтесь не подпускать к нему. Понимаете... На сто верст вокруг.

На следующий день Тоня поместила Ивлева в палату тяжелобольных. Там казалось безопасней. Бред был обыкновенным разговором.

– Куда ты прешь?.. Не видишь – там немцы...

– Где немцы?

– Бей прямой наводкой.

– Поздно!

– Эх, мать моя родная...

В первую же ночь на новом месте Ивлев вступил в этот нестройный хор. Сосед справа, лейтенант, внимательно прослушав одно из его выступлений, в котором гнев против партии и правительства распространялся на многие версты вокруг, пожаловался дежурной сестре:

– Здесь некоторые антисоветской агитацией занимаются. Надо выяснить, кто такой. Дайте-ка мне карандаш и бумагу.

Другой больной сказал:

– Такое карандашом не пишут.

И кто-то хрипло:

– Сволочь, чтоб ты сдох.

Лейтенант умер с карандашом в руках, не дописав доноса.

Долго думала Тоня, куда бы перенести Ивлева. Наконец придумала.

Старушка, придя, как всегда, на дежурство раньше времени, услышала из комнаты тяжело раненого генерала:

– Что? Митька?.. Да я его в пятом классе один раз ка-ак звезданул по кумполу. А то, знаете, любя дрались. Любя – это значит, ни из-за чего. А дрались по-настоящему. Учитель физкультуры, физрук, бывал у нас обычно арбитром. Строго судил, по всем правилам. А как через забор на выставку? Он не рассказывал?..

– Нет.

– Ну, тогда и я не буду, Тоня. Но где он теперь?

– Не знаю. Не в городе, конечно. Я ему два раза писала на общежитку. Никакого ответа.

– Ну, вы же знаете нашу почту.

– Да он знает, где я живу. Зашел бы. Письмо там оставила – большое.

– А здесь дела плохи. Флот пропал ни за грош. Без него городу крышка. Но я бы никогда не сдался. Вы знаете, меня словно подменили. Я таким патриотом стал – хоть доносы пиши.

– А как же сто верст вокруг? – смеялась Тоня.

– Ну, это одно другого не касается. Но кусается. А родину я люблю, в неизмеримо большом диаметре. Вот поправлюсь – и на фронт. Мы не отдадим Ленинграда. Даже за один этот кусок гранита, что я вижу в окне, я бы держался зубами. Как этот мостик называется, такой горбатенький?..

– Поцелуев мост.

– Здорово! Какая роскошь. Можно вас поцеловать в щечку?

– Можно, – Тоня сама поцеловала его в лоб – весь в испарине еще не угасшей муки.

– Бедный Митька. А за ним что?..

– За кем?..

– За Поцелуйским мостиком?..

– Дальше – Оперная площадь, Оперный театр, консерватория, памятник Глинке, какая то церковь.

– Красота! Я еще там не был.

– Знаете, вы подлежите эвакуации. Не придется вам защищать Ленинград.

– Что?.. Не может быть.

– Я приказ видела. И вы, и генерал.

– Вот здорово... Чудеса, право. То никому я не был нужен, а то... Вы знаете, что я на авиаматке делал? Без конца разбирал моторы. Иногда собирал, если не лень было. А то еще самолетика разгонял по палубе. Как толкну его в хвост – так и летит, как из пушки. Это называлась практика. Пьянствовал. Потом – война, и почти сразу – амба, то есть крышка.

Генерал спал. Он почти все время спал. Его и ранило – в живот – спящим. В промежутках между сном он тоже ругал всех вождей и, главным образом, их родителей.

– Спелись, соколики, – докладывала Тоне старушка. – Так и честят, так и честят, на чем свет стоит, один другого лучше. И меня не стесняются. Ероиня – говорят. Такая, говорит старик, своим тельцем еще как может пулеметное гнездо закрыть, осенив себя крестным знаменем. А молодой подпевает: и красным знаменем. А потом, говорит, на Марсово поле. Черные лошади, фанфарный марш, салют, все плачут. А то прямо в мавзолей...

– Я им сделаю выговор, – пообещала Тоня.

– Да не мешает. Постыдились бы. За ними ухаживаешь, а они только насмешки знают. Главное – старый хрен меня донимает. Вот, говорит, еще кусок желудка вырежут, – можно и жениться на вас. Все равно пропадать.

Тоня тоже не была им помехой. Обыкновенно, держа термометр, они продолжали свое наболевшее:

– Представьте, молодой человек, на фронте даже песни поют:

Солдатушки, браво ребятушки, где же ваши танки?..

Да буденовски тачанки – вот где наши танки.

– Эх, на тачанку бы все Политбюро, да в Финский залив с обрыва, туда, куда моя бедная авиаматка отправилась. К этому богу. Птун или не Птун, как его называют.

– Нептун.

– Во-во. К Нептунчику бы их в гости.

Тоня смеялась.

– Эх, хороша девка, – басил генерал. – Да разве таких можно немцу отдавать? Вот уж я поправлюсь, я им покажу.

Через две недели генерал и Ивлев сошли с госпитального конвейера вправо, прямо на самолет. В Москву. Боевой генерал и студент МАИ были одинаково ценным «грузом».

Ивлев на всю, может быть, недолгую жизнь, запомнил этот госпиталь – грандиозную глыбу, ноздреватую окнами, серого камня петровского гранения.

Он даже дал ему название:

– Спасибо тебе, Поцелуев госпиталь, – шипел, снова потеряв голос от волнения, целуясь с Тоней на прощанье.

– Спасибо вам, милая землячка, старушке-ероине также. А меня ждет другая старушка – Москва. Люблю ее и все предместья на сто верст в округности.

– Вот как Ленинград из окружения выберется без нас? – ворчал генерал.

Тоня была счастлива стоять «на подхвате» у правого крыла госпитального конвейера. Генерал с Ивлевым были первые, сходящие с ее «неколебимых» рук.

14. Спите, герои

Наконец Саша вышел на свободу – в порыжевшем, по-собачьи облезшем костюмчике и с одним рублем в кармане. Что чувствует человек, вышедший из тюрьмы, в первые минуты дурмана свободы? Сашу, например, второй раз поразила свобода идти куда вздумается: направо или налево, по той или другой улице, только подальше бы от тюрьмы. Это было простое и приятное чувство, доступное пониманию только тех, кто его испытал. Все мы ходим по земле, как хотим, но не у всех за плечами тюремные ворота, или несколько их – этакой анфиладой.

Целый месяц Саша был оторван от мира. От мира, в котором давно забыли о мире в урагане войны. Как идет война? Что еще ей – немцам – отдали? Не взяли ли что-нибудь, хотя бы для престижа, обратно? Нет, ничего не взяли, а отдали много. И в каждой сводке – «превосходящие силы противника» и «заранее подготовленные позиции». А сколько зверств... В конце концов перестанешь верить или привыкнешь – как будто так и надо.

И воздушная тревога без конца. Пока доехал до Московского вокзала, пришлось три раза выходить из трамвая и идти с равнодушной толпой куда-нибудь в подворотню, лишь бы с глаз милиционера долой. К общежитию подъехал под звуки, кажется, шестой тревоги и встречен был «басенятами» восторженно. Случайно все были дома. Кричали:

– Качать его, чертенка пухленького!

– Да здравствует первый поэт – узник Административки.

Качали. Расспрашивали. Возмущались. Сами рассказывали. Притащили от дворника кровать, постель. Саша сидел именинником и пил чай, даже с сахаром. Потом повезли его на Невский.

– Едем в кинотеатр «Художественный», – сказал Дмитрий, – мы давно собирались. Там идет старинный раздирательный фильм – не то «У камина», не то «У плиты», с Верой Холодной в главной роли.

– И совсем не «Художественный», – поправил Руднев, – теперь он так и называется: «Кинотеатр старого фильма». Был «Убо-жественный», стал – «Божественный».

Но посмотреть ископаемый фильм не пришлось. Прошлой ночью в кинотеатр попала бомба. Куски рекламы и кирпичи валялись у разъятого на две части вестибюля.

– Вот тебе и «Божественный», – ворчал Саша. – Раз-бомбежественный. И вы все ослы. Все время живете на воле и никогда ничего не знаете.

В утешение решили выпить пива. Это было не так просто, как месяц назад, но голь на выдумку хитра, особенно голь студенческая. Зачем становиться в очередь, когда можно подождать тревогу. Если ее не было, то вот-вот взвоят. Очередь рассыпается в разные стороны от ларька, а наш брат, наоборот, со всех сторон движется к ларьку: короткими перебежками, почти по-пластунски, от угла к углу. И едва ударит отбой, как они уже первые в очереди. Пьют сразу по несколько поллитровых кружек – в запас и чтобы «дома не журились».

Саше такая «метода» понравилась. Только после третьей кружки, переведя дух, он спросил, наконец, о занятиях в институте.

– Увидишь сам, – ответил Дмитрий, – какие теперь занятия. Завтра пойдем. Ведь довоенный закон об обязательных двух третях учебных часов теперь не действует. Ходим, когда хотим. Правда, директор грозит, что не выдаст продуктовых карточек тем, кто почти совсем не посещает лекций.

Пройдя через три воздушных тревоги и три пивных, вернулись на Невский.

– А я слышал, что в кафе «Квисисанна» дают фруктовое мороженое, – робко заметил Сеня Рудин.

Пошли проверить. Мороженое давали. Чем-то подкрашенные кусочки льда проглатывали с энтузиазмом, читали стихи, гремели стульями. Поэтому свист, этот широкий плотный

росчерк снаряда по небу, который услышали все, кто в этот момент был на Невском, до них не дошел. Но тем большее, почти восторженное, удивление выразили их вдруг поглупевшие лица, когда почти напротив кафе, на другой стороне проспекта, сверкнуло кустиком, ударило – и задымилась разорванная снарядом голубая крыша Аничкова дворца.

Несколько человек упало посреди проспекта. Их по-тюленьи распластанные фигуры казались совсем детскими на асфальте, на фоне колоннады Дворца для детей. Все поднялись, оглушенные, но один с портфелем еще полежал немного. Когда к нему побежали, он поднялся сам – испуганный, не верящий, что остался жив. В толпе засмеялись.

- Пощупай себя, товарищ.
- В мягкое место не угодило?
- Портфельчик-то не забудь.
- Что зубоскалите? Это ведь конец нам приходит.
- Да, уже теперь без всякого предупреждения начнут трахать...
- Ничего, когданибудь и мы трахнем.
- Молчи, трахало.

Закричали милиционеры, зазвонили трамваи, все двинулось, успокоилось в движении. Первый снаряд, как и первые бомбы, не показался страшным. Но – лиха беда начало.

Это был первый гвоздь, вбитый в распятое тело осажденного. Воронья гора каркнула: возвестила новый, кровавый этап блокады.

Несколько дней, вопреки ожиданиям, немецкие пушки молчали. Но авиация методически вхолостую налетала днем и два-три раза бомбила вечером и ночью.

По вечерам студенты собирались в одной комнате вместе с полужнакомыми девушками-второкурсницами, случайно оставшимися в городе. Они никогда не сходили по тревоге вниз, оставались с мужчинами.

- Почему не страшно? – спрашивали.
- Потому что мы с вами, в частности – я, – отвечал Саша. – Я давно уже заметил, что во время бомбежки по мне с бешеной скоростью циркулируют всякие бесстрашные патриотические токи... Что за смех?
- Да мы ничего.
- И я думаю, естественно, что эти токи передаются и вам – каждой по способности. Разумеется, при условии полного контакта. Поэтому прижимайтесь крепче.

Девушки прижимаются покорно. А бомбы где-то падают с нарастающим шелестом, и, опереженные мгновенным блеском, тяжело раскатываются взрывы.

Но всему бывает конец, хоть и не всегда. Взрывные волны уже несут на своих краях тишину передышки. Отбой – четкий, радостный голос артиллерийской трубы в репродукторе – встречают криками «Ура!» и поцелуями.

– Отбой воздушной тревоги, – три раза повторяет диктор. Иногда он не успевает сказать все три раза, снова воеет сирена и включается метроном, он для многих уже отсчитал последние секунды жизни: мерный вязнущий в тишине стук, таинственный и жуткий, как ход башенных часов в замке с привидениями. А над головой какой-то курносый блондин, бывший слесарь или мамин сынок из страны классического сентиментализма, уже открыл люк, и уже свистят бомбы.

Голос диктора никому не нравится: тревогу объявляет слишком испуганно, отбой неуверенно. Будешь неуверенным – вот снова воеет тревога. На этот раз бомбы рвутся далеко, едва ощутимым толчком. Но зажигательные бомбы, словно колесики зажигалок по кремню, чиркают по крышам и мостовым. Иногда они «дают прикурить»: вспыхивают пожары. Но не так часто, как, очевидно, ожидали немцы да и сами осажденные. Кто же знал, что тысячи детей ползут на крыши и, обжигая ручонки, будут тушить ненавистные «зажигалки».

Отыскался след Тараса – Баса. В одной из междубомбежных пауз радио успело сообщить, что отделение партизанского отряда под командованием студента ЛИФЛИ товарища В. неожиданно для немцев заняло населенный пункт М. под Ораниенбаумом и...» Новая бомбардировка помешала узнать, что натворил Бас в населенном пункте М. Забыв о бомбежке, землетрясительной полосой идущей где-то совсем рядом, наперебой придумывали планы соединения с отрядом Баса.

– Главное, ни у кого не спрашиваться. Сами поперем.

– Во-во. Походным порядком...

– Оно бы лучше пароходным.

– А самолета не хотел?

Пришел сынишка дворника, семилетний веснушчатый Игорек. Сознание ответственности за весь дом, а то и за весь город – не давало ему спать. И в два, и в три часа ночи можно было слышать важное сопение на лестнице. Ни разу не видели его в подвале, а с крыши он слезал только после крупных угроз.

– Я пришел, чтобы вам напомнить, – сказал он, – чтобы завтра двое дежурили на чердаке. Кто у вас по расписанию – разбирайтесь сами. Я там, конечно, сам буду. Вы же мне знаете. И затмению поддерживайте в порядке, иначе папаня свет совсем выключит.

– Да у нас и так у всех затмение...

– А на этом, которое коридорное окно, нет. Поймите же, это безобразия. Вот я открываю сейчас эту нашу дверь, а свет-то и бросается в окно. А еще, – малыш для пущей важности, или подражая отцу, широкими шагами ходит по комнате, задевая стулья, – я хотел сказать, что мы с Ваняткой вчера пропасть зажигалок погасили. Одна около моей ноги таки и впилась, зануда. А я ее – за хвост, да на мостовую. Ванятка шесть штук оторвал, а я десять. Правда, он первый раз, методы еще не знает, да еще руку обжег. А ребята из пятого номера хвастаются, будто сто штук погасили. Врут, поди.

– Ну поди, поди, герой. Ты сам не заливаешь ли?

– Их нельзя заливать. Тогда они еще пуще горят, стервозы. Ну, я пойду. Смотрите же мне!

– Есть, товарищ командёр.

Дворниченок, степенно заложив руки за спину, потопал вниз. Маленький ленинградец, из многих тысяч таких же сероглазых, чье детство озарилось большими пожарами большой войны, чьи жизни закалились в огне как сталь или сгорели, как соломинки.

– Спице, герои – сказал Саша, – желаю вам спокойствия в ночи.

Успокоенная тишиной в воздухе, возшла луна. Бездонный парашют небосвода держал ее над землей, как осветительную ракету, – над всеми фронтами сразу.

Над всеми усталыми людьми, над сонными провалами их душ, в которые вламываются всякие дикие, и нелепые, и чудесные сновидения.

Вот тихо посвистывает Сеня Рудин. Его простое круглое лицо спокойно. Вася Чубук мечется, что-то бормочет во сне, очевидно – стихи. Длинные волосы спутались, упали на лоб, достают до тонкого носа. Саша вздрагивает и ежится. Дмитрий сбросил на пол одеяло. Ему снится всё родное: дом, братья, Тоня. А на одеяле, что он сбросил на пол, спит, мерно вздымая могучую грудь, Бас... Он только что пришел тихо, как сильный и усталый зверь в свою берлогу. Ему тоже снится родной тесовый дом и пельмени. От чмо-кательного движения губ и от храпа, напоминающего рокот истребителя, шевелятся его партизанские усы в полколечка.

Спице, герои... Мало кому из вас суждено увидеть родной дом, пусть же он вам хоть приснится. Все вы как индейцы Лонгфелло, вступили на тропу войны, пересеченную звериными следами столетий, и пошли по ней, следуя поговорке «Волка ноги кормят».

15. Жить можно

– Вечера моих фронтовых воспоминаний не будет, – твердо сказал Бас, – тем более, что на дворе утро. И первый снег. Эта дата знаменательна еще тем, что в этот день враг хотел взять город.

– И еще тем, что Бас пришел спасти нас, – добавил Саша.

Много можно было бы сказать о Басе, но сам он о себе помалкивал. Известно было только, что восьми лет он смылся из дому в Ташкент, который в 20-х годах заменял русским детям Америку. Почти всю Россию исколесил он пассажиром 4-го класса, т. е. под вагонами. Только в конце нэпа вернулся домой. Рассказывал: «Мамаша встретила грозно: скалкой. Побила, потом заплакала, потом я съел десять котлет, и она снова заплакала: отцу на ужин ничего не осталось».

Когда Баса принимали в комсомол, спросили, как он жил в бегах.

– Вопрос странный до дикости, – ответил он. – Разумеется, приворовывал, а частично подрабатывал.

Более он не распространялся. Так и сейчас.

– Конечно, я повидал кое-что, – говорил он, – но вспомните известную нам синодальную писательницу Ольгу Шапиро: все или почти все, о чем бы я вам ни рассказывал, давно уже расписано в нашей прессе. И поверьте мне, почти все, что вы читали, – правда. И за эту правду немцев надо бить до тех пор, пока они не запросят мира, и даже если запросят, бить дальше, до самого Берлина.

– О себе, о себе расскажи, – просили.

– Что ж о себе? Партизан из меня не вышел: походка тяжелая, да и характер тоже. Вот один эпизод... Словечко тоже: «эпизод»... Я понимаю, если я пошел до ветру, а мне всадили пульку в мягкое место, это – эпизод. А когда кровь ручьями льется...

Наш отряд рейдировал от Риги до Ораниенбаума. В одном селе я вижу: согнали на площадь население. Прусь туда. Бородища у меня, автомат под тулупом, гранатки – «лимонки». Знаете чувство оружия?.. Нет? Погодите, узнаете. Кажется, чего не могу сделать? Человек с оружием – он не только смел. Я и без оружия не был трусом. А тут я был – гордый. Да еще злой. Походка тяжелая, аж земля под ногами хрустит. Плечами людишек распахиваю, население это самое. Ведь у нас, партизан, иначе не говорят: не граждане, не товарищи – население. Поднимаю глаза – виселица. И веревку уже прилаживают, а под ней мальчишка. На груди у него (какая там грудь – цыплячья) дощечка: «Партизан». Был ли он партизаном, я и до сих пор не знаю, но выглядел он вроде меня, грешного, в ранней молодости, когда меня милиционеры из-под вагонов гоняли... Чумазенький, замухрышечка такой. Много я повидал, но тут сердце совсем по-селезеночному екнуло. Эх, думаю, не дам мальчишке пропасть. Но – как?

Немцев целый взвод. Они же любят вешать. Фотографируют, улыбаются. Этак по-сверхчеловечьи. И населения этого полно. Девки режут, мужики сопят. И я чуть не плачу, не зная, что делать. Холодно. Мальчик уже и без петли посинел... И вдруг, как в сказке или как в боевых эпизодах под редакцией Лозовского, налетает шестерка «ястребков». Побомбили вокзальчик, и на толпу. Им там не видно, кто и что. А может, и видно. Все – врассыпную. Немцы – тоже. А мальчик стоит себе, привязанный к столбу веревками толстыми, как морские канаты. Я рублю эти чертовы «концы» и прю мальчонку, как кораблик, которому суждено было, видно, плыть да плыть...

Но куда его девать? Была у меня явочная «фатера», жеребец там мой стоял наготове, впряженный в двуколку, – всегда, если я уходил ненадолго. Тащу мальчонку туда. В конце концов привез его к нам в лес. А через неделю откомандировали меня в институт, доучиваться. Не угодил, видно. И неужели это правда, что вы учитесь?

– Да так, вроде учимся, – ответил за всех Саша, – иначе продкарточек не получишь. А на фронт не берут.

– Говорят даже экзамены будут весной, – добавил Чубук, – и дипломы выдадут.

– А потом все равно на фронт, – заключил Бас, – только на фронте, как я погляжу, гораздо веселее, чем здесь. Но это большое дело, что вы учитесь. Город в блокаде, а вам начхать, учитесь себе, детки, стараетесь.

– Вы также будете, мистер, – заметил Дмитрий, – раз уж к нам возвратившись. Ты лучше скажи, как думаешь, долго в блокаде сидеть будем?

– Не век вдове вековать, но женихов сейчас маловато. Все на фронте... А вы что делать сегодня собираетесь? Подать-ка мою сумку. Вспомним Багрицкого: «А в сумке – трубка, спички, табак. Тихонов, Сельвинский, Пастернак». И – да простят мне вышеназванные поэты – коньяк, добавлю я от себя и своих щедрот. Правда, немецкий, не обессудьте, ультрафиолетовый.

Выпили. Бас немножко раскачался. Слушали его, как дети.

– Пока еще жить можно и воевать можно, не робей, ребята...

Знаете, какую клятву дает каждый партизан? «Я клянусь, что умру в жестоком бою с врагом, но не отдам тебя, родной Ленинград, на поругание фашизму», или вот, еще лучше: «Я клянусь всеми силами беззаветно и мужественно помогать Красной армии освободить город Ленина от вражеской блокады».

На моих глазах падали мертвыми немецкие парашютисты, расстрелянные еще в воздухе. Я видел и немецкие танки, поцелованные болотом взасос, простите мне, бывшему поэту, – так, что экипажи иногда не успевали выскочить.

Я видел наши бронепоезда, штурмующие участок Московской дороги в десять-пятнадцать километров. Я видел тысячи наших солдат, штурмующих этот же участок, – и все безуспешно... Все это было так недавно. Все это было как во сне... И все же я так рад, что я снова с вами. Это странно до дикости, что мы до сих пор не поздоровались с вами как следует. Подходи по старшинству, черти-дьяволы!

Баса качали. Потом все накачались так, что было не до института: у Баса в сумке нашлась еще бутылка древесного спирта. Никто еще, кроме самого Баса, не пил этого технического снадобья, он же показал и простейший способ счистки – через вату.

– Можно через медвежью шерсть, – сказал он, – тоже нича-во, очищает.

– А немцы здорово волосатые? – спросил Вася Чубук.

Саше больше всего нравилось «чаво»:

– Бас, это что же – диалект оккупированных областей?

– А что, плохо звучит? «Чаво» – это русский вопрос, «нича-во» – это русский ответ. «Великое русское ничаво», как говорят немцы.

Когда спирт был очищен, Бас выпил первый. Крякнул.

– Кислотная реакция, – определил Дмитрий, – лакмусовая бумажка краснеет.

– Что ж, попробуй ты, – сказал герой дня, – только бойся щелочной реакции – не посиней.

Все выпили, радостно охая, тараща глаза.

– Пить можно, – заявили в один голос.

– А когда пить можно, то и жить можно, ребяташки, – таково было мнение дворника, который тихонько, в валенках, вошел, сел, расправил бороду и, не сводя глаз с бутылки, тяжело вздохнул: загнипотизировался.

Старику поднесли. Очки его полезли на лоб и брови выгнулись вопросительно.

– Крепонец первачок.

– Древесный, папаша.

– Неужто из дерева стали гнать?

– Все немцы.

– Они и нас из России могут выгнать.

– Чаво? Не бывать тому. А вы только и знаете, что насмешничать, не стыдно? – дворник ушел, обиженно бормоча под нос: – А еще стубенты. Раньше разве такие были? Бывалча, на диманстрации урядник яво сашкой, а он яво фуражкой...

Все повеселели. Саша кричал:

– Есть в русской словесности две родственные древесности: спирт и гроб!

Бас соглашался с ним:

– Это точно, как пуля в лоб... Но хуже всего, когда не сыт и не пьян. Но вот что я вспомнил: на фабрике-кухне, на верхнем этаже, жила-была работала в столовой официантка Маруся. С ней я когда-то – дело прошлое – был знаком коротко и кротко. Роман начался на почве моего недоедания. Кончился пресыщением. Навестим ее. Может, застанем?

Кто не знал фабрику-кухню? Это огромное, нельзя сказать бесформенное – многоформенное здание эпохи первой пятилетки, черное, почти сплошь застекленное, с магазинами и столовыми на всех этажах. И на самом верху, как венец коммунхозовского творения, дешевенький ресторан – студенческий «люкс», с официантками в «укокошниках», как говорил Половский, пальмами в кадках и пивом в бочках. У входа, вроде швейцара, бессменно стоял, глинобитный или гипсовый, Сталин. Он с любопытством всматривался в другого Сталина, на противоположной стороне Нарвской площади, прикрывающего своим мощным фанерным торсом недостроенный фасад здания около Дома культуры им. Горького.

За его спиной висел тоже его портрет, но сам по себе. Он не смотрел ни на того, ни на другого: этакий Сталин-самостийник: молодой, чубатый, злоглазый. А что, может быть, в то время он еще называл русских «урус»?

От прежней фабрики-кухни, в которой жизнь была ключом – так, что если бы из-под какой-нибудь пальмы в кадке вдруг забил нарзанно-тарзаный источник, то никто не удивился бы, – ничего теперь не осталось. Все этажи были пусты, и только на самом верху еще теплилась жизнь: пахло едой и слышались соленые словечки. Теперь там была столовая для учеников школ фабрично-заводского обучения. В черных шинельках мальчуганы с таинственным видом собирались стайками, как галчата, по углам, перешептывались, перемигивались между собой и «публикой». Малыши по своим «рабочим» продовольственным карточкам получали продуктов почти вдвое больше, чем студенты и служащие, – они пока еще не голодали. Но были плохо одеты и охотно меняли обеденные талоны и продукты на «барахло». Со временем они вошли во вкус и стали настоящими бессовестными спекулянтами – лишнее доказательство непрочности воспитания. Правда, надо делать скидку на голод, который, как говорится, не тетка, хотя бы и социалистическая.

Кто не знал фабрику-кухню? Но и Марусю – это, нельзя сказать, чтобы воздушное, по причине упитанности, но милое украинское создание с «очима» а-ля «дывлюсь я на небо», – тоже знали некоторые. К счастью, она работала.

– Так бы ты и говорил, Бас, что забыл, как звать, – сказал Сеня Рудин, – когда я ее знал, дело прошлое, ее называли Шурой.

– На-а-зывали... если ты называл, так это не значит, что все, – передразнивал его Вася Чубук, – а я твердо знаю, что ее зовут – уж если на то пошло, дело даже не прошлое, а настоящее, – ее зовут Мар-мар-гар-ита.

– Пусть будет Ита, Иточка, это неважно, – успокаивал его Саша. – Когда ты волнуешься, ты начинаешь заикаться. Я с ней не был знаком ни коротко, ни кротко. Не все ли равно, как звать, – дала бы пожрать.

Наконец, официантка подошла к их шумному столу, скромно опустив глазки. Саша потом записал в своем дневнике: «Четыре дурака заорали:

– Маруся!

– Шура!

– Мар-гар-ита!

– Дай пожрать!

Для некоторых из нас она была плюскуамперфектум, для Митьки, который даже имя ее забыл, она была особенной грамматической формой: умершим прошедшим, для меня же, грешного, может стать делом ближайшего будущего, футуром, потому что она мне навалила больше, чем другим, какой-то совершенно объеден-ческой кашки...

В действительности же, суровой действительности, «кашка» была почти несъедобной. И не больше двух столовых ложек. Но:

– Жрать можно, – заявил Бас, – и жить можно, мать честная, – и он пощипывал свои фронтоватые усы – совсем как дворник. – А взгляните в это разбитое окно: пока дымятся заводские трубы – жить можно. И какая роскошь – эти прифронтовые пустыри. Они напоминают мне деревню. «Родная деревня! Скоро ль тебя я увижу?» – Гораций...

Отселе я вижу, – почти декламировал Саша, – первое снежинок паденье. Я вижу Триумфальную арку – Колесницу победы на ней, а может быть, и саму победу, – конечно, вдали. А почему бы нет? – он вызывающе посмотрел на приятелей, как будто они были неприятелями. – Прошли же когда-то русские войска от парижской Триумфалки до этой вот арочки – войска-победители. Но, видно, плохо победили они тогда: ничему не научили Европу. Зато она нас теперь учит. Послушайте-ка...

Взвилась и повисла на высокой ноте, хватающей за душу, – к ней нельзя привыкнуть – тревога. Бросив печальный прощальный взгляд на пустые тарелки, сошли вниз. Несколько «зажигалок» пропищали над площадью. И – тишина, подчеркнутая пунктиром далеких ответов зениток. И тут же отбой. Но вся площадь вдруг озарилась столбом огня. Перекидываясь из конца в конец, перебегая и переползая, черными кошками заметались тени, а от громады Триумфальной арки отшатнулась огромная тень – словно потревоженного прошлого...

Это горел Сталин – фанерный манекен – вождь. И тут же – толпа:

– Ха! И пожарных нет!

– И зачем тушить? Этак все его патреты тушить – и пожаров не хватит.

– Чаво там! Небось, не дом горит – фанера.

– Сам ты фанера.

– Что? А по морде не хошь?

– Трящит-то как.

– Гори, гори, моя звезда...

– Ишь, как: по-христиански... Мученический конец.

– Ка-ак же, святой Иосиф.

Но больше любовались молча. Без комментариев. Только пламя кое-где вырывало из тьмы белые зубы: зубоскалили.

Больше всех были взволнованы наши друзья.

– Пионеры, выходи! Организуем хороводик с индейскими плясками. «И тимпан над головой». Батюшков.

– Да здравствует Неистовый Виссарионыч, вождь пламенный!

– Король – голый!

– Я на горящего вождя с вожделием гляжу...

Откуда-то в толпу юркнул мальчишка.

– Тятя, я тебя по всей площади ищу, а ты здесь рот разинул на него. Пушай он себе горит. Там вон пивной киоск открылся.

Толпа радостно ахнула и отхлынула к киоску. Вождь догорал в одиночестве.

16. Залитый кровью

Штурм отбит. Но гремят, гремят орудия. Фронт рукой подать. Там, в туманах над болотами и рощами, где уютятся бревенчатые пригородные дачи с резными петушками на окнах, проходит теперь замкнутая линия фронта.

Фрунзенский универсальный магазин – большое, словно целиком высеченное из черного гранита новое здание на углу набережной Обводного канала и Международного проспекта – был, вероятно, хорошо виден немцам в бинокль. Он и стал жертвой первого продольного обстрела проспекта. Несколько залпов, которых хватило бы на разрушение обыкновенной улицы, обрушились на этот один из самых больших магазинов в городе, откалывая от него, как от скалы, глыбы толстых стен. Красное облако кирпичной пыли медленно оседало... Это был день неожиданной продажи каких-то тканей, и народу, всегда жадного к «материи», было полно... Обезумевшие раненые тянули руки к прилавку, хватали отрезки материи, мяли под себя, заливая их кровью. Многих потом так и выносили, обернутых ситцем или полотном, как яркими и цветистыми саванами – мертвых, и как бинтами – раненых.

Шквальные артиллерийские налеты невозможно предупредить никакой тревогой, от них почти нет спасения.

За провал немецкого штурма в сентябре дорого заплатили ленинградцы в октябре. Тысячи, тысячи убитых. Ранеными жителями переполнены больницы и военные госпитали. Здесь, в госпиталях, в крови и муках, произошло братанье горожан с фронтом. Отныне сам город стал фронтом. Линия фронта прошла где-то, по какому-то проспекту. Условная линия, несущая безусловную смерть.

Рабочие Ижорского, Путиловского и всех других заводов, захваченных прифронтовой полосой, не раз брались за оружие, когда «накатывало», но и в дни стабильного фронта теряли убитыми не меньше, а больше, чем фронтовые полки – от артобстрелов и бомбардировок.

Прошел слух, что чернорабочие судостроительного завода им. Марти, особенно пристрелянного артиллерией, отказались работать под огнем в эти дни. И будто бы сам Жданов приехал их уговаривать – один, без всяких чинов НКВД. У дебаркадера стоял на стапелях высоко поднятый из воды только что приведенный на ремонт крейсер «Киров». И Жданов указал на него широким кировским жестом:

– Вот перед вами, – сказал он будто бы дрогнувшим голосом, – смертельно раненный в неравном бою крейсер, детище вашего завода. Какой отец не поможет раненому сыну? Немцы уже не раз кричали на весь мир, что крейсер потоплен. А вот он весь перед вами. Пусть же он еще поплавает – в немецких водах.

Рабочие заплакали и приступили к работе. Рассказчики – обычно женщины – сами пускали слезу, искреннюю и чистую.

Несомненно, что в какой-то мере слух перевирали действительность, но он долго держался на зыбкой и сложной психологической поверхности блокадного быта. Рабочих не осуждали, а Жданова даже похвалили. Чуткий и политически «высокообразованный» город, колыбель не только революции, но и всех партийных оппозиций – так и не понял Жданова, кто он был: только ли теоретик, достойный ли преемник популярного Кирова, или, наконец, тайный враг Сталина.

Но главным героем дня во всей этой истории был, конечно, крейсер. Со сбитыми трубами, с переломанными суставами мачт, он восхищал людей, которые здесь же, у дебаркадера, или в пяти метрах от него через минуту могли быть растерзаны снарядами, а если нет, то через полтора-два месяца умрут от голода – один из трех, потом один из двух.

Как ни высок был заводской забор, крейсер был поднят еще выше, он словно плыл в воздухе. Две огромные пробоины светились у кормы, над ватерлинией. Чем светились они?

Во всяком случае, родным небом. Блокадные поэты назвали их глазами крейсера и находили даже в них какое-то выражение, не обещающее немцам ничего хорошего в будущем. Но на то они и поэты, да еще блокадные.

...Орудия стоят в городе, в самом городе – в парках, на пустырях и кладбищах. Загнанные в Неву крейсера ведут огонь прямо по фронту. Трамваи развозят снаряды для орудий и «зениток». Они же подвозят к фронту пехоту. Хмурые вагоновожатые сгоняют красноармейцев с буферов и подножек, покрикивают на женщин.

– А вы, дамочки, куда претесь, бесстыжие?

– Чаво там! Пушай погреются с нами.

– Молчать, вшивая команда! Милиционеров на вас нет...

Уже мало осталось от знаменитой вежливости ленинградцев, так отличавшей их от москвичей. Еще не хамили, но и не церемонились.

А милиционеров, и правда, почти нигде не видно. Щегольские свои шинели они сменили на серые, солдатские. Еще реже встречаются малиновые околыши НКВД. Этим уже совсем нечего делать в городе, и без них залитом кровью.

Трамваи мечутся с фронта в город и по всему городу как безумные, трезвонят во все колокола, словно чувствуют: приходят их последние дни; в этих сказочных домиках без окон и дверей (давно выбитых), на пьяных колесах едут сказочные люди с узлами, пистолетами, автоматами, примусами и подушками. Но и те, что с мирным скарбом, – не мирные люди. Мирных не было уже в первые дни блокады, а теперь, когда окончательно определился ее беспощадно-безднадежный стиль, не стало и мирных.

Горящие сухие глаза, сжатые кулаки, крепкое словцо – даже за минуту до смерти, – вот ленинградец этих самых кровавых в истории блокады дней. Самые кровавых, но еще не самых страшных. Самое страшное – впереди. И оно не за горами. Не за горами – вроде проклятой Вороньей горы (там немцы, черт с ними), а не за горами в смысле времени, которое работало не на осажденных, и вскоре нагромоздит горы трупов в самом прекрасном городе мира – городе-самоубийце...

Немцы точно пристреляли главные артерии города. По этим артериям и потекла кровь.

Больше всего достается трамваям. И понятно: пешеход слышит, как совсем рядом, за какихнибудь 10–12 километров, сжатый воздух откупоривает черное жерло какой-нибудь новой «Берты», и как уже свистит, летит легче пробки раскаленная тонная туша. Пешеход падает. Это единственное спасение. А в трамвайном скрежете и зуде – что услышишь? Вот и взлетают они, эти чудесные домики на колесах, вместе с людьми, вверх колесами: вздымаются узорчато изогнутые рельсы, молитвенно склоняются или падают столбы, паутиной повисают провода. Но приходят злые и упорные люди – и через полчаса снова покорно ложатся, как укрощенные змеи, рельсы; и снова, забрызганные кровью, мчатся трамваи навстречу новому сногшибанию или смерти.

Свистят, шипят и рвутся снаряды.

Близок, как близок враг...

Аэростаты воздушного заграждения плывут над городом, разгребая плавниками облака. Но еще выше их, в голубом небе, с раннего утра кружат вражеские корректировщики («рамы») и легкие разведчики. Медузами плавают дымки от зенитных выбухов, и не успевают они рассеяться, как воеет тревога и падают бомбы. Но все-таки самое страшное – артиллерийский обстрел.

Но город живет. Работает. Стоит в очередях за хлебом. Ходит за водой. Ходит в театры. Тушит пожары. Ругается с редкими и робкими милиционерами. Обливается потом и кровью,

уже голодает, ненавидит, любит – но живет и тогда, когда жизнь становится невыносимой, – на исходе какого-нибудь двенадцатого часа бомбардировки и обстрела.

Он будет жить и тогда, когда четыре миллиона его жителей за один день не будут съесть ничего, кроме 500 тонн хлеба. Он будет жить и тогда, когда из четырех миллионов выживет 700–800 тысяч. Умирая, он будет жить в веках.

Воет и воет небо, словно от боли. Плетни ненавистного навесного артиллерийского огня и косога росчерка бомб в клочья рвут его звездное, облачное небо; днем и ночью. Кажется, оно страдает так же, как и земля под ним. Но землю эту даже умом обнять трудно, а куда уж руками, да еще дрожащими от ненависти и жадности, загребать?

Не взяли немцы город в октябре. Не возьмут они его и в ноябре. Никогда не возьмут они его.

А взяла его – зима. Одним снежным налетом. Снег как выпал 15 октября, так и не растаял, удержался, утверждая одну из самых холодных зим XX века и самых страшных – всех веков.

И снег падал не прямо, а косо, будто он тоже насыпался врагом. Пока еще тонким слоем покрывал он город, словно смертельной бледностью.

Мученический лик Осажденного в терновом венце блокады засветился на планете. Был ли он виден Господу?

17. Солнце блокады

Над городом протекают сочные, ярко-красные зори, полыхают багровые, литые, смешанные с огнем пожаров, закаты, и холодное солнце тускло светит сквозь тучи небесные и тучи земные – дыма.

Не совсем безобразное, скорее многообразное здание фабрики-кухни все чаще и чаще привлекало к себе голодное внимание разнообразной блокадной публики. Куском хлеба в 250 гр. весь день сыт не будешь. непригодные к армии, но вполне способные к спекуляции, вымогательству и надувательству типы, маклаки и великие комбинаторы, редкие числом и жалкие видом студенты-выпускники целыми днями толкались здесь, в коридорах всех этажей, с неизменным стремлением к верхнему – в столовую для ремесленников.

Серая громада фабрики-кухни возвышалась среди опустыневшей Нарвской площади, как утес с птичьим базаром в Ледовитом океане: галчата-ремесленники, стервятники-спекулянты, орлы-комбинаторы, белые вороны-студенты – торг, галдеж, дележ, ругань и драки.

Бас первый влез в болото спекуляции. Но за его трофейные швейцарские часы первый спекулянт предложил всего лишь кило хлеба. Бас был так оскорблен, что хотел стукнуть «спикуля» по «кумполу» – едва удержался, но хлеб отобрал одним вращательным движением глаз и хватательным – могучей руки. Потом, узнав, что это была нормальная цена (уже устанавливались какие-то нормы и цены), он сокрушался – недолго, правда, и не совсем искренне, зато белыми стихами.

– Дал маху я, друзья. Но ничего, отдам ему часы я – пусть только попадетса мне он вновь.

Спекулянт попадался ему не раз, но моментально скрывался в птичьем базаре.

– Ишь какая недоверчивая тварь, – ворчал Бас, недовольный.

– Подождите немного, милая моя, вернее – наша, еще месяц блокады – и все голодные красавицы будут у ваших ног, – обещал Саша доброй официантке, нетерпеливо выслушивая от нее всегда одно и то же возражение:

– Ах, что вы, бросьте...

– Кавалеры Золотой Звезды будут срывать вам звезды со своих мундиров, а мы, поэты, – с неба.

– Ах, что вы...

Добрая девушка, окончательно названная Маргаритой, явно благоволила Саше. Она уже была готова выбросить из головы одним взмахом глянцевого черных кудряшек свои прежние увлечения, которые, как говорится, все были налицо и просили только «дать пожрать». Саша потихоньку декламировал им за столом, воскрешая забытую, введенную Басом когда-то, чуть не на первом курсе, манеру говорить стихами, белыми и «красными»:

– Пусть после вас я, о вы, обормоты,
Буду последний у ней,
Но только по счету.
Вы скроетесь в область теней.
Вы в прошлом одною ногою,
А я в настоящем – другою.

Обормоты молчали, равнодушные. Поэт обиженно разглаживал большим пальцем творческие морщины, набежавшие на лоб.

– Иногда мне кажется, о Маргарита, что я никто иной, как Фауст, или Фауст-Златоуст, как хотите, на выбор дороже. Каждый раз, когда вы приносите кашку, мне хочется воскликнуть: «Остановись, мгновеньишко, ты прекрасно!»

Взволнованная девушка бежала на кухню и шептала кухарке:

– Вы подумайте, тетичка, он называет меня прекрасной, а себе – Хваустом.

– Ну и дура ты неопытная. Кто же верит скубентам. Им лишь бы пожрать...

Маргарита приносила Фаусту со товарищи еще по одной порции каши.

Но однажды Маргариту не нашли в столовой.

– Ее уволили, – сообщила старушка-уборщица. – И с сегодняшнего дня обеда будут отпускаться только ремесленникам.

– Ах, что вы! – огорчились. Но делать было нечего. Нет ничего глупее, как сидеть за столом, зная, что ничего не будет подано. С видом оскорбленного достоинства ушли, не солоно хлебавши. А вслед за ними через несколько минут на четвертый этаж нагрянули охотники-милиционеры, и птичий базар разлетелся без единого выстрела.

Не впервые, но на этот раз особенно обидно несытые, друзья разошлись в разные стороны, будто каждый своей тропой, по какому-то следу. Голодные, хищные – будут они бродить по городу, поглядывая на небо и прислушиваясь.

Дмитрий и Саша, как обычно, остались вдвоем.

Дмитрий вспомнил о сестрах и предложил пойти к ним: «Сейчас или никогда». Но Саша не согласился:

– Ты эти свои фаталистические штучки брось. Почему именно сейчас, и почему никогда?

– А потому, что все откладываю – в долгий ящик.

– В блокадном смысле «долгий ящик» – это просто гроб. А вся блокада – это игра в долгий ящик... Пройдемся лучше на Путиловский завод, посмотрим.

Там их застал обстрел, как всегда неожиданный и шквальный. Вспомнили поговорку: «Хочешь уцелеть – прислоняйся поближе к военному объекту». Но на этот раз ошиблись. Прислонились к высокому красно-кирпичному заводскому забору – и сразу же за спиной громыхнуло, затрещало, что-то посыпалось, будто песок. Но – нет, не песок: это ровный, плотный, полотняный шум пламени. Словно огромное красное знамя шелестело по ветру.

Путиловский завод, в прошлом паровозостроительный, разросся в целый город тяжелого машиностроения. В нем были свои улицы, кварталы, возможно, и квартальные надзиратели. Немецкая артиллерия и начала поквартально, изо дня в день, методически – садить... А что? На то и война: кто кого. А остроумными немцы никогда не были. «Сумрачный германский гений». Кто ж его знал, что он способен на такие штуки – вот так, гвоздить изо дня в день в одно и то же место? Король поэтов XX века Александр Блок ошибся: ни острый галльский смысл, ни сумрачный германский гений все еще недоступны нам. И Бог с ними, особенно с этим сумрачным. Своего мрака хватает.

Из ворот завода выскакивали, на третьей скорости, танки, как наскипидаренные черепахи. Круто развернувшись, с воем и скрежетом устремлялись в разные стороны – совсем как люди под окрик милиционера: «Рассредоточиться!» Белые (под снег), они сверкали красными звездами на башенных лбах.

Целый час все трещало и рушилось, пока траурное знамя пожара не упало, срезанное кинжальным огнем брандспойтов.

Вывезли раненых. С бортов грузовых автомашин капала кровь, проклятья и несвязные, отрывочные, но спаянные кровью слова молитв.

Вышла группа рабочих, со смены или просто уцелевших.

– Вот это дает!

– Сборочный-то цех весь разнесло.

– Да уж, сборочному своих костей не собрать.

– А сколько убитых! Сегодня около сотни, да вчера не меньше.

– Теперь он нас надыбал, взял на мушку.

Арка главного входа, построенная еще гениальным Путиловым, эта высокая гранитная дуга с циферблатом часов, незадолго перед войной была надстроена квадратным набалдашником с тремя мозаичными орденами Трудового Красного Знамени. Он был как идеологическая надстройка нового общества над базой старого. Ордена были видны издали, кроваво-рубиновые. Кровь ли рабочих впитали гранитные корни и донесли до мозаичных серпов и молоточков, красное ли на морозе солнце поблескивало в них?

Знакомый скрежет и гул вырвались из-за поворота, со стороны необозримой асфальтированной пустыни Кировской площади.

Это неслись те же танки! Только теперь они были как злобные дикие кабаны с нацеленными клыками бешеных башенных орудий. Они спешили, ворча и хрюкая: посчитаемся, мол! – туда, откуда только что невидимые, ненавидимые жерла плевали огнем.

Рожденные в крови и муках, что понесут они на фронт? Смерть и кровь! Отчаяние, злобу, жажду мщения – все то, чего не учли чистые политики с грязными руками, ломавшие головы над «секретом» «советско-русского» патриотизма.

Из ворот завода выполз еще один, последний, танк. Из-под заднего бронированного щита его сочилось масло – как кровь из только что оборванной пуповины... Толпа его ссыпала восторженными словечками, ярче цветов.

– Чудненький, – сказала рослая девушка-работница и заплакала.

А он рванулся с такой веселой яростью – догонять товарищей, что, казалось, на ходу немного даже прихрамывал на левую гусеницу.

До самой ночи вывозили с завода раненых и убитых.

У Осажденного каждый день новые горестные сенсации, но артиллерийский расстрел завода-гиганта был третьим из самых тяжелых – после прорыва флота и пожара Бадаевских складов – ударом.

Огромное, красное от крови и огня, повисло над городом солнце. Солнце блокады. Но все же оно светило, жуткое Светило.

18. «Но Ленинграда мы сдавать не будем»

Профессор русской истории Пошехонов не спеша перелистывал конспект лекции длинными, тонкими, почти прозрачными пальцами. Он говорил тихо, не глядя на аудиторию: те же любимцы окопники, десяток девиц, интересующихся больше той историей, которая творится на их глазах, да недавно появившийся Басов, похожий на самого профессора в молодости: тот же нос, смелой и долгой линии, крутой лоб, мохнатые брови и под ними большие серые глаза с несгибаемым взглядом.

Студенты впервые видели любимого профессора со шпаргалкой. Обычно он читал лекции, бодро расхаживая между рядами, заложив руки за спину, вдохновенно перевирал даты и тут же поправлялся. Теперь он все время сидел, покашливал и оглушительно сморкался в носовой платок размером с хорошую газету. Корнеплодный нос его с крупными ноздрями был весь ноздреватый, как мякиш пеклеванного хлеба, и с наступлением холодов всегда удрученно свисал красным фонарем.

В выбитые окна холодный ветер с Финского залива задувал снег. Снежинки кружились по залу назойливее мух. Если лекцию прерывала воздушная тревога или начинался «бездушный» обстрел, профессор ставил на голосование вопрос: идти в подвал или нет. Обычно решали – нет. Уже вырабатывалось подсознательное чувство настоящей опасности, почти инстинкт. Почти, но не совсем: иногда это чувство обманывало осажденных, тогда не оставалось никаких чувств.

Профессор умел легко и плавно сходить с исторических рельс в самую злободневную действительность. Когда его усы попадали в рот, студенты переглядывались: «Теперь понесло, только держись, – закусил удила»...

– Ведь шутка сказать – Путиловский!.. – неожиданно повышал он голос, что означало конец официальной части лекции, реформы шестидесятых годов оставались в стороне. – Громадина! Гордость России! Однажды уже было так – знаете, как в песне поется (он запел жидким тенорком, жалостливо):

И по винтику, по кирпичику
Растащили мы этот завод...

– Это было, – продолжал, вытаскивая ус изо рта, – в 1918 году. Потом снова— по винтику, по кирпичику— собрали завод. А теперь что же получается – целые цеха в воздух взлетают... Боже мой, неужели нельзя нащупать эти немецкие батареи?

– Павел Петрович, я вот часто думаю, какие мы все были наивные дураки, – сказал Бас вопросительным тоном, – я имею в виду молодежь. Ведь с детства мы все привыкли думать, что рабочие всего мира не дадут капиталистам напасть на нашу страну – отечество всех трудящихся. А они еще как дали. Сами навалились. Разве немецкая армия не состоит главным образом из рабочих? Разве теперь они не грабят наши города и села, не убивают женщин и детей, часто без всякого приказа начальства? Я же их насмотрелся... Есть, конечно, и люди, но я был в тылу – там одна рвань. А наша пропаганда твердит, что мы воюем не против всего немецкого народа – он, мол, не виноват, а только против фашистов. Зато немецкий народ весь против нас воюет. Как вам это нравится?

– Ваше возмущение вполне справедливо, молодой человек, – ответил профессор. – Я не великий гуманист и не большой политик, и не хочу выносить априорный коллективный приговор немцам. Но мое мнение – большинство из них виновато. Разумеется, тут и психоз

войны, и ажиотаж грубой пропаганды и дурацкая теория «юбер аллее». Если эту дурь из них выбить, глядишь, и нормальными людьми станут. А то ведь совсем одержимые.

Больше всех волновалась обычно Сара Переляк – единственная студентка-выпускница, умница, ярко красивая, еще довоенная любимица всего института. Она особенно ненавидела немцев – как еврейка, а еще за то, что в начале войны на окопах была легко ранена излетной пулькой в хорошенькую головку... – «И хоть бы убили, сволочи, а то ведь только прическу испортили». Она спросила: – Что же мы будем делать, если этот самый – Путиловский – выйдет из строя?

– Ну, не так просто разбомбить такую махину. Главное, чтобы не придвинулись к нему да не захватили в свои лапы. Артиллерия – что ж... Кто это сказал, что она – бог войны? – профессор забыл.

– Да этот же самый – как его – Сталин.

Дружное «га-га» громынуло из десятка грудей. Сара удивленно таращила неожиданно голубые глаза, как будто не знала, что ее одесский «диалект» обычно восхищал всех.

– Так вот, – продолжал профессор, – все мы под этим сталинским богом ходим. Ничего не поделаешь – судьба. Надо смотреть правде в глаза. Блокада – это успех и неуспех противника. Следует признать, что операцию по окружению Ленинграда, одного из крупнейших городов мира, немцы провели с большим блеском, но всем известно, что вначале они хотели его взять сходу, одним ударом в лоб. Это им не удалось. Теперь их задача ясна: взять нас измором. Это, может, удастся, а может, и нет – вопрос времени. Около тысячи тонн металла обрушивается на нас ежедневно: сотни очагов поражения, тысячи жертв, пожирающие город пожары. И все мы получаем младенческий продовольственный паек. Это – самое страшное. Но мы должны держаться, лети мои. Надо, чтобы сердце было – как железный лермонтовский стих, облитый горечью и злостью.

Профессора прервали аплодисменты.

– И еще – уж раз я так настроился на поэтический лад – я напомним вам стихи вашего любимого поэта Маяковского:

*Россия вся —
Иван
И рука у нее —
Нева,
А пятки —
Каспийские степи.*

Не знаю, как там насчет пяток, но что Питер с Невой и Кронштадтом – правая рука России, это я понимаю. Поэтому не нужно думать только о том, что нам тяжело. А легко ли России без нас сражаться одною рукою?

– А почему же, – спросил Саша, – на последней пресс-конференции иностранных журналистов начальник Совинформбюро Лозовский на вопрос, правда ли что под Ленинградом немцам удалось замкнуть кольцо блокирующих город войск, ответил, мягко выражаясь, не совсем правдиво: «Действительно, – сказал он, – под Ленинградом немцы имеют частичные успехи». Ха! Ничего себе – частичные.

– Румяный критик мой, насмешник толстопузый. Ка-ак хакну я тебя по кумполу сейчас, – почти прошептал Бас.

– Конечно, врать нехорошо, – сказал добрый и умный профессор, с огорчением хрустнув усом во рту, – но, может быть, иногда полезно. Ведь правда о блокаде так же страшна, как и сама блокада. На Ленинград смотрит весь мир. Больше того – вся Россия. Пусть она пока не знает о наших муках, пусть они не поколеблют ее дух.

Одна девушка «под мальчика» (стриженная и в брюках), не одесситка, но верная подруга-подражательница Сары, сообщила:

– Но он же, этот самый, как его – Лозовский – твердо сказал этим – как их – корреспондентам: «Но Ленинграда мы сдавать не будем».

– Да, это целых две разницы, – поддержала ее Сара, – одно дело какие-то там успехи, другое – не будем сдавать, и все тут!

– Не будем, не будем! – закричали все.

– Вот молодцы, и не сдавайтесь, и я с вами не буду сдаваться, – профессор смеялся раскатисто, совсем как до войны, грел нос в ладонях лодочкой и даже, заслышав отбой, закричал неожиданно громовым голосом по-унтер-пришибеевски:

– Народ, р-р-разойдись!

19. Саночки открывают навигацию

Профессор Пошехонов заболел гриппом. Другой любимец студенческой публики, профессор древнерусской литературы Сергей Иванович Аралов, уже не читал лекций – его курс был пройден. Один из лучших в России знатоков и исследователей литературных памятников старины, в особенности «Слова о полку Игореве», был, «по совместительству», большим любителем-зрителем спорта, особенно футбола. Лицо его по-северно-русски благообразное, было зело волосато. Под дикорастущими бровями, к сожалению, были почти не видны глаза, хотя и пристально-стальные, но добрые.

Еще более дикорастущие, чем брови, были усы и борода – услада операторов: развеваемые ветром, они не раз мелькали в спортивной кинохронике.

Редкий футбольный матч из серии решающих сражение между москвичами и ленинградцами проходил без «боления» профессора. Последние годы перед войной эти общеизвестные битюги, эти сатиры зеленого поля – столичные гости все чаще и чаще побивали благороднейших рыцарей спорта – хозяев, этих детей Северной Пальмиры, этих Аполлонов с мячом. После какого-нибудь неудачного для «нас» матча профессор приходил на лекцию бледный и злой. Тогда неудачный поход князя Игоря отодвигался туда, где ему и следует быть, – в далекое прошлое, а тактика и стратегия буйных туров защиты и нападения в детальном до тонкости разборе академика приковывала внимание тоже довольно буйных туров – слушателей. Заканчивая лекцию, он сокрушался почти буйно.

– Я вас спрашиваю: где наш центр нападения Бебутов? Где правый край Бебехов? А Иванов 1-й? Иванов 2-й? Собакин? Где они все? Все они теперь в Москве. Ничего не поделаешь: Москва-собирательница; все лучшее подавай ей. Погодите, она доберется и до Иванова 3-го, с чем мы тогда останемся? Этак к концу какой-нибудь пятой пятилетки нас начнут бить все, кому не лень.

...Профессор отказался выехать в тыл в первые дни, когда это было можно, и не жалел об этом, когда уже было нельзя.

Теперь он целыми днями сидел в библиотеке, одной из крупнейших в городе. Дворянское собрание, бывшее в здании института до революции, оставило богатое наследство. Библиотеку хотели эвакуировать, но не успели, бросили все в беспорядке. Рассказывали, что когда профессор увидел ящики с книгами, поставленными «на попа», и полки с разрозненными томами, словно челюсти с выбитыми зубами, – он высказал свое мнение о директоре, партии и правительстве, немцах и войне в таких выражениях, что им позавидовали бы наши предки, а уж на что были буйны во хмелю и на язык.

Кстати, на их языке и изливал он свой гнев, придаться было не к чему – хотя и было кому: парторг института, дворник и уборщица слушали с открытыми ртами. Директор вздыхал, испуганный (уже не раз испуганный). «Наше счастье – думал он, – что не все люди способны понимать язык своих предков». Профессор выгнал всех из подвала и с любовным ожесточением бросился к книгам – наводить порядок. Постепенно и бережно, как белка орешки в дупло, он перенес в подвал все наиболее ценные книги и рукописи.

Часто ему не хватало дня. Очевидно, не успевал что-то добормотать – вслух и пером – на бумаге. Тогда он оставался в библиотеке на ночь. Спал на письменном столе, свесив длинные ноги. Под головой – стопка книг. По утрам профессору полагалась стопка водки, но где ее теперь взять?

Когда догадались поставить для него в библиотеке «дежурную» раскладную кровать, он удивился: «Откуда дровишки?» – Лег попробовать: «Чудно. Как она хороша, раскладушка милая». И уснул «пробным» сном.

Он много писал, бормоча на трех европейских и двух русских языках, вздыхал, похлопывал в кулак или вдруг хлопал себя ладонью по розовой лысине, словно убивая, как муху, назойливую и ненужную мысль. Или он спорил со своими противниками – мало ли их было за сорок университетских лет – десятки книг, – и тогда в ход пускались почти литературно-матерные слова: как матерые волки, они готовы были перегрызть горло каждой строчке, написанной этими профанами, а если и талантливыми, то все равно противниками. И тут же, ничтоже сумняшеся, профессор дрожащей рукой торопко бросал эти слова на покорно хрустящую бумагу. И тут же с грустью вычеркивал, едва касаясь пламенных строк кончиком остывшего пера.

– Опять обвинят меня в немарксистском подходе, – бормотал с недоумением, поглядывая на Маркса, висящего, как в упрек, прямо перед глазами. – «Откуда у хлопча испанская грусть?», сказал один советский поэт, очень милый. Откуда у меня будет марксистский подход, когда я книг этого классика не читал «ни при какой погоде», как сказал другой поэт, тоже очень милый.

Профессор попал в общество несимпатичного ему, хотя и зело волосатого Маркса и не долго боролся. Он сказал сам себе: «Мне, как пионерам и студентам, больше всего нравится Ленин», – и снял Маркса.

Но портрет Ленина тоже не повесил.

Иногда тихо-сладкое творческое помешательство выгоняло профессора на мороз среди ночи и приводило под конвоем милиционера в участок.

– Ох, и допрыгаетесь вы у нас, папаша, – пеняли ему там.

– Простите, забыл, – оправдывался, – и про запретный час, и про вас, и про то, какое милое у нас тысячелетье на дворе...

Профессор знал и любил хороших поэтов новой эпохи. Как их было не знать, живя среди бурно-литературной молодежи, отдавая ей, доверчивой и аморфной, «все, что накопил с трудом». И, как их было не любить, если искорки искреннего и большого таланта всегда невольно западают в душу.

Раз умилившись при виде «раскладушки», профессор при каждой встрече с директором расточал ему хвалы:

– ...а в вашем лице следует не забыть поблагодарить партию и правительство.

Лицо директора после сидения в НКВД всегда было испуганнострадальческое. Дипломатический пассаж профессора он слушал с чичиковским видом – мол, знаем мы вас, – и по привычке испуганно моргал глазами. Наконец он в свою очередь умилился и предложил старому холостяку профессору совсем перебраться жить в институт.

И надо было видеть (вот когда не было кинооператоров), как член Академии наук, профессор Аралов, насвистывая марш из «Веселых ребят», бодро шагал по набережной канала Грибоедова: равнораспутинская борода парусом, равноапостольная лысина сияет в нимбе седины, и во всей путанице волос путаются снежинки. А сзади попрыгивают саночки.

Профессор тянет их легко, дергает за веревочку; один большой узел, другой поменьше, чемодан и связка книг: «все, что накопил с трудом».

Переселение блокадных народов с Петроградской стороны на Выборгскую и обратно, эти волны бессмысленной и безнадежной внутренней эвакуации, было обычным явлением, но все же на высокого старика с саночками оглядывались прохожие. Вот он «доехал», наконец, до Института и по-футбольному пнул ногой ворота. Приналег плечом – не открываются. Пришлось звать на помощь невеселых ребят студентов и выслушивать их упреки-замечания:

– Почему же нам...

– Как же нас...

– Да мы бы...

– А я по вдохновению, голубчики. Вижу: снежок держится, я и махнул по первопуточку. Он уж крепенький, снежок. Я горжусь тем, что мои саночки открыли, так сказать, навигацию.

Не спеша, вразвалку подошел Бас.

– Который тут налим? Я его чичас! – и, взяв саночки вместе со всеми узелками, отнес их в подвал.

– Почему в подвал? – удивился профессор. – Я же в библиотеке.

– Директор велел.

– И он прав: там вам лучше будет.

– Конечно. И безопаснее и теплее.

– Вот только печь надо будет поставить, – отвечали разногласно.

– Ни-ни. Ни за что. Чтобы я жил в подвале? Не могу: ревматизм. Свистать все мои узелки наверх!

Бас покорно принес все вещи в библиотеку.

В большом узле оказался самовар, в маленьком – пакетик прекрасного грузинского чаю, сахар и сухари. Самовар сиял. Профессор тоже сиял. Он велел поставить «русскую машину» во дворе и там, на просторе, с увлечением показывал «деткам», как нужно разводить в ней пары. Он ползал вокруг самовара на коленях, дул в какие-то дырочки, краснея от напряжения лысиной, – пока из трубы не выбился победный клок пламени одновременно с радостными возгласами зачарованных зрителей:

– Поехали!

– Теперь надо смотреть, чтобы не убежал.

– Когда я был маленький, я спрашивал: разве есть у самовара ноги?

– Ты и сейчас можешь такое спросить.

– Пионеры! Пожалте в хороводик! Солнце сталинской конституции над головой. Безыменский.

– Ну, это самоварное солнце.

Потом прыгали через самовар по очереди, опаливая драные ботинки. Профессор просил только:

– Не сыпьте мусор в трубу. Не загасите пламени.

Когда самовар поспел, вся компания была торжественно приглашена профессором в библиотеку. Каждый получил по два куска сахару и по сухарю:

– С новосельем поздравимся, детки.

Детки, обжигаясь, пили чай вприкуску и вприпрыжку. Профессор жалел, что Павла Петровича не было с ними:

– Вот некстати вздумал болеть. Ведь мы с ним старые знакомые по Берлинскому университету. У нас там немало хороших друзей было. Крупными учеными стали некоторые. Только доля ученых в наш век тяжела и обидна. Раньше были мученики науки, а теперь – больше мученики политики, в которой ничего не смыслят. Да, бывали дни, гуляли мы – все знаменитые европейские кабаки и библиотеки знаем. Придется ли вам побывать в тех местах? Коль побываете – помните: везде есть люди, везде есть человеки, как всюду, как бы то ни было, все же светит солнце.

– Если люди-человеки, это неплохо, а если люди-сверхчеловеки, тогда хуже, – сказал Бас.

– О, да, – согласился профессор, – в этом отношении немцы просто некультурный, совершенно дикий народ. Но, опять таки, не все. А средний немец – всегда на большом национальном подъеме: готовится Германия к войне – подъем, выиграла войну – еще больший подъем, проиграла – тотальный подъем, подготовка к новой войне. Их не только на штыки – на смех подымать надо, этих свехвояк.

– Оно и мы хороши, – буркнул Бас.

– О да, и мы хороши. Все эти пятилетки с обожествлением плана, соцсоревнование – вылезание из кожи вон, соцподъем над спускающимся все ниже материально-бытовым уровнем (так, что ли, у нас говорят?). Кстати: у немцев нацподъем, у нас соцподъем. А все эти МОПР,

СВБ, никому не нужная пропаганда – ведь все и так ясно, всякие собрания с «Да здравствует!» и «Долой!» – разве все это не смешно и не глупо? Ведь князь Игорь смеялся бы над нами.

– А как же НКВД, вы забыли про него? – спросил Саша.

– Ну, это больше по вашей части, Половский. Директор тоже бывший «японский шпион»... Я у него спрашивал: почему именно японский? А он говорит: спросите у них, я, ей-Богу, не знаю... Да что я говорю – князь Игорь. Сам Иван Грозный умер бы от смеха. А то и от страха. Но я верю: пройдут года, и все это пройдет, и наша страна, после этой войны, откажется навсегда от наступательных методов строительства новой жизни. От них только изнурение и разорение, – и станет на спокойный и мудрый путь поступательного движения эволюции. Ни шагу назад, но и не вперед, сломя голову.

... Через несколько дней, встретив Сашу, профессор подозвал его к себе и прошептал, щекоча усами ухо:

– Есть работенка, как вы выражаетесь. 100 рублей можно заработать сразу. Надеюсь, что я недаром вас учил, и вы не забыли читать славянскую вязь.

– А зачем, Сергей Иванович?

– Мой приятель, университетский доцент, умер, царствие ему небесное. Псалтирь не могли бы почитать над ним?

– Н-не знаю. Лучше спросите Баса.

Бас спокойно взял адрес, но перед тем, как ехать, воздал хвалу профессору и родному вождю, потому, что «если бы я остался беспризорником, я бы не умел читать по-церковнославянски. Но я не остался. Я умею».

Профессор слушал его с чичиковским видом.

В те дни находили еще какие-то причины смертям. Доцент, например, умер от язвы желудка. Так думала его мать-старушка. Но язвой был голод. А для Баса самой большой язвой оказалась старушка:

– Что-то вы совсем не так читаете. В старое время, бывалче...

Бас кроткий, но не умеющий перекреститься Бас, терпел как агнец самозаклания. Почти по складам бубнил себе и покойнику под нос, мерно раскачивался всем телом, только что не завывал и не плакал. Думал хоть этим, как ему казалось, ритуально-благообразным раскачиванием угодить привередливой старушке. Но все старания его были напрасны.

Она то уходила куда-то, то возвращалась. Казалось, смерть сына не так уж печалит ее – с нею она примирилась, – как то, что Бас ни разу не перекрестился, читал «без выражения» и «слишком медленно». Она заплатила только 50 р., да и то:

– Лишь из уважения к пославшему вас.

– Из уважения к оному же, – рассказывал Бас на следующий день друзьям, – я вынес эту пытку. Но отныне и во веки веков – пусть жмурики сами читают над собой этот самый Пластырь.

Переселенческие волны, в которых студенты плавали как рыбы в воде, зарабатывая на хлеб или просто хлеб «извозом», – улеглись. Измотались люди, да и поняли, что смерть везде достать может – судьба. «Басенята» бродили по городу не только голодные, но и без денег. Иногда не на что было выкупить даже пайку хлеба. Все же Бас работу нашел, и такую, что надолго всех выручила: в Доме техники на Невском проспекте.

Во двор дома попала небольшая бомба. От осколков и взрывной волны вылетели все окна, и двери сорвались с петель, но больше всего пострадал большой зал с выставкой цветных металлов.

Не так давно в «Ленинградской правде» промелькнуло сообщение, что в этом Доме конструкторы что-то изобретают для тяжелой артиллерии. Все служащее население Дома – от директора до дворника – с тайной гордостью было убеждено, что Невский проспект бомбили специально для того, чтобы «попасть в этих конструкторов».

Администратор, когда пришли к нему наниматься всей бригадой, отозвал Баса в сторону и предложил прямо:

– Я плачу 3 рубля в час, но в ведомости, в которой мы оба расписываемся, ставлю 4 рубля. Разницу мы с вами делим пополам. Я лично человек большой и семейный, а революция от нашей маленькой сделки не пострадает и немцы не приблизятся ни на один лишний шаг. Если будет возможно, я буду приписывать и больше. Согласны?

– Если вы мне доверяете, – сказал Бас, озадаченный.

– Будьте уверены! Я вижу, с кем имею дело. Люди, подобные мне, всякие заведующие и хозяйственники, не только комбинаторы, но и психологи. Кто из нас не психолог, тот пусть идет пасти свиней на Соловках.

– Да, но... Что «но»? Вам будет стыдно перед товарищами за скрытый рубль? Можете его им отдать – в виде премии, что ли. Только прошу никого не посвящать в это дело. Понимаете у меня уже были печальные случаи.

Принялись наводить порядок. Заколотили фанерой окна навесили двери, убрали всякий хлам – и оказалось, что делать больше почти нечего.

Администратор пришел, посмотрел и выругал:

– Вот и видно, что никогда не работали. Кто же так спешит? Не буду же я сигнальные фашистам ракеты пускать, чтобы еще раз пробомбили да вам работы доставили.

Решено было работать поочередно.

... Кто не работает, тот не ест, а изучает Краткий курс путаной истории ВКП, да еще и «б».

Сам директор, «от делать нечего», начал читать лекции и даже иногда спрашивать:

– Половский, в каком году произошел раскол на большевиков и меньшевиков?

– Кого – на кого? – спрашивает Саша, забыв «памятную» дату.

– Садитесь. Я вижу, вас не интересует этот вопрос, – печально констатирует директор – не только бывший «японский шпион», но и бывший настоящий меньшевик.

Возобновились лекции по немецкому языку. Тем, кто не работал, советовали им подза-
няться.

– Нет, никак не могу, – говорил Бас, – немцы нас бьют, а мы им будем – «данке вшейн»?

Девушки были прилежнее. Сара заметила:

– Странно, но факт: этот самый – как его – немецкий язык очень похож на наш великий, могучий еврейский язык. Я буду переводчицей.

– Хлеба – да, – соглашался Бас, – но теперь и хлеба много не переведешь.

Вместо умершего в начале войны профессора западноевропейской литературы из университета прислали молодого близорукого доцента. Он читал курс английской литературы XVIII века, что было «давно пройденным этапом», но решили: пусть себе читает, не все ли равно теперь.

Однажды Сара пришла на лекцию директора с большим опозданием и капризно сказала:

– Ах, оставьте вы, пожалуйста, об этом вашем съезде. У меня вон только что какой-то папан чуть продкарточки не вырвал... И знаете, я бы даже сказала, что он мне понравился... Красные ручки, синий носик, какие-то там глазки... И вдруг – хватать у меня сумочку из рук.

– И что ржете? – возмутилась, глядя на улыбающегося директора.

– Это главным образом я ржу, – признался Бас. – Я придумал афоризм: «Ржать есть над чем, но жрать нечего».

– Толкнула я его потихоньку, – продолжала Сара, – он побежал тоже потихоньку, елект-еле. И так мне его жаль стало. И себя. И всех нас. Что мы будем делать? – Сара заплакала.

Бас смотрел, смотрел, как с горбинки ее смуглого носика, словно с водораздельчика, текли по щекам слезы, и пробасил почти нежно:

– Сара, не плачь. Мы найдем этого мальчика и устроим на работу в Доме техники – тушителем зажигательных бомб.

– Все равно, ты дурак, – сказала она, но больше не плакала.

Лекция продолжалась на тему «жратвы».

– Самый питательный все-таки – хлеб, – утверждал директор.

– И не так хлеб, как белок, ибо, как учил товарищ Энгельс, белок и есть сама жизнь, – спорил Саша.

– И твой Энгельс, и ты, все вы ничего не понимаете, – шумел Бас, – главное – это котлеты.

После лекции Сара, обращаясь, главным образом, к Басу и компании, попросила:

– Девочки, проводите меня домой.

По двору метлой металась борода профессора Аралова.

– Где мои саночки? – спрашивал он у всех. – Вот наказание. Кто их мог взять? Я уже и на улице смотрел. И знаете, что видел? На саночках везли труп. Не в гробу, а просто так, спеленутым, как мумия, в тряпье. Саночки – совсем как мои. Я даже подумал, не меня ли везут?

– Ах, профессор, простите, ваши эти самые саночки вчера потихоньку взяла я, – но не подумайте, чтобы кататься. Я хотела сделать вам сюрприз. У моей тетки, старой и скупой дуры, я нашла целый склад мужского белья. Я его реквизирула и завтра вам привезу.

– Ах ты, стрекоза. Ну, что ж, спасибо. Белье пригодится.

...Сару провожали всей компанией, любимицу. Кто отставал, кто забегал вперед, – растянулись вдоль канала на добрую версту. В канале мелкой кашицей льдинок застывала вода, преображаясь.

Тревожные сирены заставили всех собраться. Все же решили идти вдоль воздушной тревоги, пока не начнут падать приблизительные бомбы. Теперь так ходили почти все. О много-часовых сиденьях в убежищах вспоминали с улыбкой: трусишки были.

Так и шли: по хрупкой кромке тишины, как по тонкому льду.

Сзади встало пламя пожара. Угадывали: «Марти» или порт? Но оказалось, ни «Марти», ни порт...

Утром Сара привезла большой узел. Белье пригодило. Саночки тоже...

...Из-под обгоревших развалин института с трудом вытащили тело профессора Аралова.

Подвал с книгами уцелел. Там были и книги, написанные профессором, – его бессмертие.

«Некстатейный», по выражению дворника, директор был болен. Дворник с явным удовольствием принялся за похоронное дело и только для приличия ворчал:

– Вот и довоевались, мать честная. И профессора начали умирать – на что живучие.

Дворниченок неохотно слез с крыши, но потом так увлекся, помогая отцу сбивать гроб, что забыл о своем долге. Правда, в эти дни было спокойней.

– Оно, конечно, теперь хоронят и без гробов, – говорил дворник, – гроб – дорогое удовольствие: Два кг хлеба стоит. Но мы должны постараться похоронить по-людски.

Но это было не так просто – «по-людски»...

Профессора повезли на Волково кладбище. Гроб свисал с саночек почти наполовину, его, как утлую ладью, заносило то в одну, то в другую сторону. На Росстанной улице, ведущей к кладбищу, живые мученики расставались с уже отмучившимися: более тысячи саней с гробами и покойниками, завернутыми в одеяла и простыни, тянулись к Похоронному бюро. Черный обоз в счет «госпоставок» смерти.

Вопреки ожиданиям, очередь двигалась быстро. Когда Бас и Дмитрий вошли в бюро, они поняли, в чем дело: сотни трупов хоронились в братских могилах. За отдельную могилу могильщики брали 2–3 килограмма хлеба. Эти красномордые верзилы-старикаки важно сидели у чугунки, грели руки.

На «этом деле» – смерти – грели они руки. Студенты их не интересовали: что с них возьмешь. Но они ошиблись. Шмыгая носами и шаря по карманам, студенческая бригада совеща-

лась недолго. Но из всех карточек талонов набралось лишь на килограмм хлеба. Снова короткое совещание уже с бригадой могильщиков – и сошлись на кило хлеба и 100 гр. сахара.

Могила была уже готова – у самой ограды, с северной стороны, под сосной.

На Кавказе и Амуре растут удивительно декоративные – с распластанной в вышине кроной – сосны, и называются они – погребальные. Далеко до тех сосен бедным соснам Волкова кладбища, но все же они, а не те, были по-настоящему погребальными. Здесь, среди них, было видно, какими большими шагами смерть уже ходит по городу.

Она пришла оттуда, где, освещая последний путь мертвых, в оратории непрерывной канонады зажигались факелы пожаров. Погребальные факелы. От частых орудейных залпов крупной дрожью содрогалась кладбищенская земля, словно не в силах принимать все новые и новые тысячи трупов, – священная для каждого русского земля Литературных мостков, усыпальница великих русских писателей.

Медленно, торжественно медленно падал снег. И по снегу, по первопутку – скрипели детские саночки.

20. Две сестры

Занятия прекратились – временно, как сказал директор. Но «ударная работа» в Доме техники продолжалась с «большим патриотическим подъемом». Дмитрия и Сашу администратор погонял с грузовой машиной – грузчиками. Он так и сказал.

– Я прикрепляю вас к машине.

– Еще один крепостник нашелся, – ругался Саша, – мало таких было и есть на Руси! – но в кузов прыгнул охотно: назвался, мол, груздем.

Из двора Дома вывозили всякий хлам, а в Дом везли горючее, баллоны с кислородом, бутылки со спиртом, смазочные масла и прочую промышленную снедь. Иногда – о, это бывало так редко, – с величайшими предосторожностями возили ящики с конфетами и печеньем для служащих Дома.

Взволнованные грузчики выпускали драгоценную ношу из дрожавших рук – и падали ящики, и лопались с треском по швам, и высыпалось из них. Что высыпалось – рассыпалось по карманам. Потом ящики забивались, уже дома – в Доме. Попадая в район обстрела, машину бросали на произвол снарядов.

– Вот, допустим, попали осколки или даже снаряд в ящик с конфетами. Что тогда? – спрашивал Саша шофера.

– Я понимаю, на что вы намекаете, – отвечал шофер, – брать конфеты горстями – этого нам мало: мы хотим целыми ящиками списывать их за счет Адольфа. Но я не позволю этого, потому что с этим нельзя шутить. И вправду накаркаем снарядик на свою голову.

– Что за предрассудки, – возмущался Дмитрий, – темный вы человек, дядя Миша.

На многих улицах и проспектах еще с лета устроенные баррикады-завалы мешали движению. В узких проходах, оставленных для трамвайных линий, автомобили то и дело попадали в «пробки». Поэтому, где удавалось вырваться на простор, шофер отводил душу, давая полный газ. Но однажды на широкой набережной Обводного канала, где можно было «газовать с ветерком», он резко затормозил напротив Балтийского вокзала.

Через площадь напрямик бежала девушка. Дмитрий едва ее узнал: Тамара. Она как будто выросла, да еще была в высоких милиционерских валенках и мужском полушубке. От быстрого бега и волнения не могла говорить, но бледное похудевшее личико сияло. Шофер вовремя вылез из кабины, чтобы подхватить ее на лету, сказать ласково:

– Ишь, какая ласточка к нам прилетела, – и посадить в кузов. Саша растопырил руки, больше растопырил глаза: «влюбился с лету» – скажет он потом, но она даже не взглянула на него.

– Какой хороший дядя шофер, – начала, никому не дав опомниться, запыхавшимся речитативом, – я на углу еще вас заметила, на повороте, и побежала следом, и кричала как резаная, а вы совсем не слышите, словно оглохли.

– От твоего же крика, наверно... Немудрено и... – но она «осадила» Сашу:

– Вы давно со мной на «ты»? На мой взгляд, мы с вами не знакомы.

– Я Саша.

– А я – Маша. Так вот, что я хотела сказать? И как не стыдно, Митя? Столько дней глаз не кажешь. Я и в Институт бегала, а он уже сгорел. Пришла домой сама не своя...

– Значит будешь чья-то! – многозначительно заметил Саша. – Мы не можем сгореть только от любви и любопытства.

– Ха, «чья-то». Лишь бы не ваша! На чем я остановилась? – она озабоченно топталась в своих метровых валенках, что-то хотела сказать, но не решалась.

– Что умолкла, красавица? – спросил Дмитрий.

– И никакая я не красавица, а только я хочу сказать, что мы очень тебя любим и хотим, чтобы ты к нам пришел. Я хочу, чтобы си-час-же.

– Но это невозможно. Я же работаю.

– Нет. Именно си-час-же. А то опять не придешь. Знаем мы вашего брата! – и она умоляюще посмотрела на шофера.

Хороший дядя шофер согласился:

– Иди уж, чего там, только послезавтра приходи.

– Но мне кажется, дяденька, послезавтра же праздник?

– Какой еще праздник? – мрачно спросил Саша.

– Октябрьский, вот какой.

– А-а...

– Вот вам и а-а-а? Приходите к нам в гости.

– Обязательно! – вскричал Саша. – Меня тоже можно полюбить. Меня нужно полюбить именно такой красавице, как ты-вы. Специально приеду. Дядя Митя, подать блокнот. Адрес. Фам. – имя. Год-рожд. Что-о? 1925-й? Мама купи мне гроб. Я старею на почве недоедания...

Дмитрий едва поспевал за Тамарой. Три месяца полуголода ударили по ногам. Тамара, в своих милиционерских валенках, оскользаясь на ходу, летела, как на крыльях. И болтала без умолку.

– И не стыдно тебе, Митя, так, почти навсегда, забыть о нас, бедных сиротах?

– Да на окопах же пропадали мы...

– И неправда. Ваши окопы давно уже немцы забрали.

– Новые копали.

– Только не вы. И вообще, на мой взгляд, окопы теперь никто не копает.

– А как же без окопов? Чем немцев держать?

– Да ничем. Уперлись они, как бараны, лбом в стены города, и стоят. Ждут, когда мы сдадимся. А только не дождутся, басурманы.

– Смешная ты девочка. Это же татар так называли – басурманами.

– Ну, не стану я разбираться, какая разница?

– И про какие стены ты говоришь? Стен-то никаких нет. Это ты, наверно, в средневековых романах вычитала.

– Не читала я таких романов. В газетах пишут, что враг остановлен у стен города. С меня этого достаточно.

Всю дорогу она шарила по карманам.

– Всегда так: дойду до дому, стану, как немцы у стен города, и – хоть лбом дверь вышибай – не могу ключа найти. Митя, полай меня, ты скорее найдешь. Ах, вот он.

В комнатах было тепло и чисто. Пол застлан половиками, окна забиты и завешены какими-то приличными дерюгами ширпотреба.

А на столе лежал кусок хлеба. О нем даже нельзя сказать, что он лежал. Он стоял – таким краугольным, жизнеутверждающим, с вызывающим видом – вызывая условный рефлекс безусловного голода. Как у подопытной собаки Павлова: течет слюна (слюнки текут), и кажется, что выделяющийся желудочный сок бешено бросается в голову – и кружится голова, и в глазах мутится.

– Как у вас тепло и уютно, – сказал Дмитрий, стараясь не смотреть туда. Отталкиваясь от тонких стенок желудка, алчный сок, вероятно, уже бросился в голову – полную им, куском хлеба, думающую только о том, как бы его...

Тамара сказала:

– Тепло – потому что дрова воруют у соседей, а уютно – от тепла. Только дров у соседей хватит ненадолго: ни на войну, ни на нас они не рассчитывали.

Она долго что-то искала в «нерабочей» комнате, гремя стульями. Потом вышла и торжественно преподнесла пачку папирос «Белморканал».

– Твои любимые. «Я это твердо знаю...» – пропела она. Это были слова популярного романса. – «Слова любви сто крат я повторю...» – Это уже откуда-то со двора: побежала зачем-то к соседке.

Закурил. Кусок хлеба не гипнотизировал больше. Хоть и посматривал на него, но отстраненно. После махорки и местного краеведческого самосада папироса знаменитой фабрики имени Урицкого тоже способна была затуманить мозг, но не больше, чем на две-три минуты, и сразу же прояснить его, успокоить волны голодных мыслей так, что от них останутся только легкая зыбь, рябь, барашки – на поверхности уже ясного и твердого ума, способного даже к насмешке над самим собой.

Недаром многие заядлые курильщики отдавали свои пайки за папиросы... Дмитрий, улыбаясь, так и сказал себе: «Допустим, что я променял тот кусок хлеба, что на столе, на пачку папирос, что у меня в кармане».

Он осмотрелся: убогая, полугородская-полудеревенская обстановка полупрошлого-полунастоящего русского быта. Шкаф, комод, буфет, стены и потолок – все было в трещинах. Словно сама жизнь и весь уклад жизни – дали трещину. Как в горьковской предреволюционной России: «Потеряла кибитка колесо». Может быть, и теперь – к старому возврата нет и не будет? И не надо? Россия еще не сказала своего решающего слова (в этом смысле ее вековая отсталость – ей же на руку) она еще только начинает его выговаривать.

«Я озираюсь тут, как затравленный зверь, попавший из холодного темного леса в теплую будку лесничего», – подумал, посмотрел на полку: «Русский чудо-вождь Суворов», «Севастопольская страда», «Первая любовь, или Дикая собака Динго», «Что вам приснилось?» (сонник). Такой сонник и присниться многим уж не может. «Княжна Нина». Мало одной княжны Нины – «Княжна Джаваха», того же автора, Л. Чарской... «Чарская... Черская, Тоня... – Где ты?»

Оглушительно хлопнула дверь, вбежала Тамара.

– О чем задумался, детина? Не побежать ли мне к сестре, не сказать ли, что ты у нас? Или, как говорят, пусть это будет для нее сюрприз.

– Да, пусть будет сюрприз.

– Вот и хорошо. Все равно ты останешься у нас навсегда.

– Куда хватила: навсегда... Тут хоть бы дал Бог блокаду пережить.

– А я вот щи разогрею вчерашние, – звенела Тамара над плитой. – Раньше я боялась одна дома сидеть, ходила в одну столовую обедать, но два часа ждать – две минуты есть, это мне не понравилось.

– А щи то из чего?

– Знамо дело, из капусты. Я недавно килограммов восемь достала.

– Где? Каким образом?

– Где? За Володарским мостом, и очень простым образом: за хлеб. И валенки там же, не подумайте плохого, не с милиционера сняла, а сам он снял за полкилограмма хлеба, – и она куда-то убежала, хлопнув дверью.

Дмитрий призадумался над тем, что не раз удерживало его от желания пойти к сестрам. «Подумают, специально пришел, чтоб поесть. Видно, они не голодают... Нина выгадывает на работе кусок хлеба – как раз тот, который я буду у них отнимать, если останусь... Но черт возьми, какими вкусными должны быть эти щи...»

За дверью заворковала Тамара:

– Да, милая моя, сижу целый день одна, как дуреха. Тощища – ужась какая.

Другая, не Тамарина, рука открыла дверь: мягко, и легко, и уверенно. Тамара, дурачась, пищала:

– Митя, родненький! Сколько лет, сколько зим? А мы тут все глаза проплакали...

Нина ничего не сказала. Зато она улыбалась какими то радужными дольками глаз: для себя радостно, для него – добродушнолукаво: чем бы ни оправдывался «пропаций», все равно не поверит, но не будет сердиться.

– Здравствуй, золотистая, – он пожал ей руку. И сам удивился несвойственной ему ласковости и самому этому слову «золотистая» – словно оно было вытолчено сердцем, мягкими, неуверенными толчками: не слишком ли, мол нежно? «Сердце, сердце, что же ты бьешься так ровно, ведь если быть фаталистом и верить во всякие неизбежности, так вот она, девушка, которую я должен любить. Любить – это врываться в чужую жизнь, легко или мучительно осваивать ее, а то и совсем присваивать. Ворвемся, сердце? Кто сказал, что любить можно только раз? Любить можно столько, сколько позволяет судьба, или ее своенравный адъютант господин случай...»

– Ну хорошо, пусть Нина будет золотистая, а какая же я? – спросила Тамара.

– Ты – голосистая. Завыла воздушная тревога.

– Эта еще голосистей – на мой взгляд.

Сестры устремились в «безработную» комнату, притащили оттуда узлы и сели на них, и когда успели – одетые, укутанные в платки.

– Чего же вы сидите, девочки?

– А ждем, – ответила Нина. И Тамара пояснила:

– До первой бомбы, значит, или снаряда. Как трахнет близко, вздрогнет наша хибара, и мы с ней. И пикируем в свою нору – видал траншеи во дворе? – со скоростью, еще не установленной. Во всяком случае, дверь никогда не успеваем закрыть. Приходим обратно – холодища страшная. И снова ждем, не прилетит ли еще. Если нет – идем по соседские дрова. Это не опасно: соседи всегда крепко спят во время тревоги. И мы начинаем пить чай. Кончаем иногда через несколько часов, если снова налетит. Потом – или поругаемся для порядка, или карты на него бросим: придет или нет.

– На кого же это?

– А когда на тебя, когда на немца.

– Ты опять на «ты»? – строго спросила Нина.

– Мы – на «мы», пора бы знать это раз и навсегда.

– Смотри, чтобы не было навсегда.

...Затрещали зенитки, умолкли сестры. Сперва едва слышный, постепенно нарастает и приближается гнетущий, надсадный рокот. Тяжело ползет по небу смерть в машинах. Угрожающие ворчат моторы, иногда сбиваются с такта, словно поперхнувшись воздухом чужого неба, и снова рывками гудят еще ближе, еще неотвратимее. Кажется, может быть, и на самом деле так, что они уже над головой. Сестры истово крестятся и неистово шепчут:

– Пронеси, Господи.

Самолеты идут волнами. Несколько волн проходит по небу и по сердцу. Несколькими волнами приливает горячая кровь к сердцу, чтобы отхлынуть похолодевшей.

А вот иной, свистящий, звук – один, другой, третий – со всех сторон. Это артиллерийские плети взвились над городом... Это погонщики войны гонят на город новые стада снарядов. И поднимаются бессильные перед ними голубые дамочки – на свою же голову – мечи прожекторов.

– Слава те, Господи; пока свистящие.

– Не дай Бог, коли шипящие, – шепчут сестры.

«А еще хуже хрюкающие и визжащие», – думает Дмитрий. Неблизкие разрывы слегка сотрясают домишко. А над плитой реет аромат шей. Кажется, он реет и над всей этой сложной воздушно-артиллерийской тревогой, густо пересеченной смертью. Он выше всего и сильнее всего.

В черных платках шалашиком прижавшиеся друг к другу сестры так похожи на монахинь... Дмитрий не выдержал, рассмеялся.

В редкие промежутки затишья не уместается сигнал отбоя, артиллерия методично, по снаряду в 5—10 минут, садит куда-то. Остервенело лают зенитки – сторожевые псы военных объектов – на потомков псов-рыцарей, летающих в небе.

Сестры шепчут совсем по-старушечьи молитвы, выученные с детства в исконно русской деревне, полузабытые. Переругиваются, поправляют друг друга:

– Как и мы отпускаем должников наших.

– Дура неумная. Надо: должникам нашим.

Наконец, на небеси как-то сразу стихает. Последний, быть может, заплутавший вражеский самолет уходит из черты города. Опускается тишина, обволакивая, как паутиной, квартал за кварталом. И вот ее разрывает в клочья и снова наполняет суетой радостный, чистый звук отбоя, вырывающийся из воронок радиорепродукторов.

– Снова живем! – говорит Дмитрий. – Вашему району сегодня повезло: ни одной бомбы, ни снаряда.

– Почему «вашему»? – Нина посмотрела на него с укоризной. – Митя, оставайся с нами... Мы так хорошо чувствуем себя, когда ты у нас. Не знаю, как Тамара, но я сегодня почти не боялась.

– Только сидела как истукан, – заметила Тамара. – Но это правда, что не особенно боялась. А ведь ты делаешь так, – она широко расставила ноги, подняла руки кверху и кинулась в другую комнату с истошным воплем:

– Господи, Царица Нябесная! Да где же мои лохматочки?

– А ты забыла, как под кроватью пролежала пять часов? Полезла, будто за вещами, да так и осталась там от страха.

– Так это ж была чуть ли не первая бомбежка...

– Пусть хоть последняя. Все равно ты трусиха. Подавай-ка лучше щи на стол. Митя, так ты останешься с нами, правда?

– Да останусь. Мне с вами тоже не страшно, – аромат щей и сами щи приблизились к самому его носу и заставили забыть обо всем на свете, кроме голода. «Будь что будет, – решил. – Я всего лишь человек, который живет только один раз, а за этот один раз успеешь понять, зачем живешь на земле! И какой земле – принимающей на себя столько раскаленной муки! И вот проносится теплое, животворящее дуновение легкого сногшибательного ветерка. И я, как изголодавшийся пес, жадно его вдыхаю. Но вдыхать мало. Это поэзия сытых – вдыхать и вздыхать. Надо жрать, чтобы не издохнуть. Надо жрать! “Кушать” – это слишком мягко и, кажется, не совсем по-русски, “есть” – грубее и определеннее, но “жрать” – это по-звериному просто и жизненно. Да здравствует ныне щитейское!»

Обжигаясь, ел быстро. Хлеб (тот самый краугольный кусок весь достался ему) крошил в щи – так теперь все ели: нравилось, как кусочки хлеба увеличивались, разбухали на глазах, но совсем раствориться им не давали, чтобы было что «подержать» на зубах.

Сестры, переругиваясь, будто не замечали такого необычного оживления за столом. Русские женщины гораздо деликатнее и психологичнее мужчин.

После ужина (был уже час ночи) Нина распорядилась:

– Я сплю на кухне, потому что встаю рано, чтобы никого не беспокоить. Митя в моей комнате, Тамара – в бывшей безработной.

Когда все улеглись, снова взвыли гудки, но как-то недружно.

– Это тревога холостая, как я сама. Все равно нипочем не встану, – сказала Тамара.

И правда, вскоре дали отбой. Дмитрий долго не мог заснуть: все тело было взволновано долгожданной и неожиданной сытостью.

«Кто это из наших полуклассиков ненавидел шипящие звуки? – Батюшков. Что бы он сказал на моем месте об этих щах? Вот Тургенев, очевидно, любил щи всех видов и подвидов: “Степка, хочешь щец?”»

...Скрипнула дверь и вошла Нина.

– Холодно спать одной, – шепнула.

– Наконец-то я могу спать спокойно, – бормотнула Тамара, засыпая.

Нина, прильнув к нему теплым, уже родным телом, прошипела в блаженную тишинную тьму:

– Спи, дура неумная.

21. Октябрьский праздник

Над свежее испеченными в пожарах развалинами повисли красные флаги, беспомощные в безветрии, неяркие в свинцовом небе, непраздничные в хмуром городе. На площадях хрипят военные марши: репродукторы «отрывают» вздох, словно спешат вытрубить свою патриотическую норму выработки, пока с неба не грянет другая музыка.

Канун праздника. Вернее – праздник: все празднуют сегодня, чтобы обмануть немцев: на завтра ожидается от них гостинцы и поздравления. Ни парада войск на Дворцовой площади, ни демонстрации не будет. Вот так и празднуют – заранее. Теперь все нужно делать лучше сегодня, чем завтра.

Рабочие получают по литру портвейна или коньяку, служащие и учащиеся по пол-литра, а все остальные стоят в очередях за пивом: пенсионеры, инвалиды, но больше старухи и дети. Дети жуют шоколад – получили по одной плитке.

Пиво тоже по карточкам, на объявленные талоны. Те, кто раньше его не пил, теперь тоже мерзнут в очередях. Раз дают, надо брать, да можно и променять на хлеб тем, кто умеет, выпив пару литров, кое-что почувствовать и кое о чем забыть. Знатоки утверждают, что качество пива несколько не ухудшилось: «Степан Разин» не подкачал. Почти все берут сразу на несколько карточек, поэтому стоят в очередях у киосков с ведрами, как у водокачек... Переругиваются. Смотрят в небо. Прислушиваются. Редкие трамваи несут в себе тоже ведрное гроыханье.

Очереди за папиросами еще длиннее, чем за пивом. Стоят больше мужчины. Много военных. Раньше военным все было без очереди. Теперь они сами понимают: все стали военными. Больше того, ленинградцы входили в легенду, творимую не в «Совинформбюро», а по всей стране, в великом и огромном русском народе, чутком к мукам и подвигу.

Слухи о залитом кровью городе дошли до фронта, близкого, но все же иного мира. Уже все знают, что в городе куда хуже, чем на передовой: голодней, безвыходней, беззащитней. Безнадежный Ленинград, отрезанный немцами от Большой земли, свои хотели отрезать и от его родного фронта. С тех пор, как саночки открыли навигацию, отпуска в город фронтовикам запрещены. Но штабные работники и военные корреспонденты, ежедневно наезжавшие в город по долгу службы, по долгу совести не могли скрыть правды от своих фронтовых товарищей.

О голоде в городе армия узнала не сразу, как не сразу пришел он сам. Скрип детских саночек, зловещий и скорбный, чудился на фронтовом снегу всем – и генералам, и солдатам. Армия содрогнулась, но осталась стоять на месте: была еще крепка, не хуже других, а духом сильнее.

Ленинград, еще так недавно бывший направлением главного удара всей войны, сдавленный теперь бульдожьей хваткой блокады, остался как будто в стороне. Сердцем войны стала Москва – вечная соперница.

Осажденный понял: теперь не до него. Он остался один на произвол остервенелой немецкой артиллерии. Он оставлен один перед лицом голода и холода – врагов страшнее немцев. Он остался один, потому что не нужен был больше войне, а если и нужен, то лишь как стратегический тупик. Он остался один на трипогибель блокады: голод, холод, огонь.

А жители осуждены просто на гибель. Стоят они в очередях, мерзнут, терпят. Жить-то хочется. Вот и мечутся они с Петроградской стороны на Выборгскую и с Нарвской заставы на Московскую, с Карповки на Охту, – и со всех сторон они везут и их везут – на саночках на кладбища: Волково, Митрофаниевское, Смоленское, Преображенское, Богословское Новодеревенское – мало ли их?

Не нужен был больше Осажденный войне, зато смерть от него не отказалась.

На Нарвской площади праздничное оживление. Она окаймлена очередями: на случай обстрела люди жмутся к стенам домов; ей последние дни везет: как будто вышла из полосы обстрелов и бомбардировок.

Но это только на время. Она еще не раз зальется кровью. Путиловский завод, комбинат «Красный треугольник», Балтийский вокзал – невыгодное соседство. Впрочем, настало время, когда военные объекты перестали существовать для противника: садисты артиллеристы садили куда попало, лишь бы по городу.

Из разбитых окон Дома культуры имени Горького кустиками выглядывали флажки. Красные конечно. А рядом – по-прежнему высится Сталин. Обуглившийся, черный от копоти. Пугало? Символ неудачной войны? Или непобедимости?

Счастливы с полными ведрами пива останавливаются, размышляют вслух:

- Ишь, дьявол, какой ловкий, уцелел, а?
- Черт усатый!
- Он так и немцев проведет, погодите.
- Он себе и в ус не дует.
- Это ему еще вожжа под хвост не попадала.
- Пушай стоит, все одним ероем больше будет.
- И без него справимся!

Ленинградцы, сами того не замечая, привыкли говорить что вздумается. Куда девались сексоты? Конечно, эти служилые люди остались в городе, но их «литературный материал», очевидно, не интересовал больше начальство НКВД, само значительно поредевшее с началом блокады; кто улетел в Москву, а кто и на фронт пошел. Не все же своих стрелять, иногда нужно и немцев. В Ленинграде не было уже ни смысла, ни возможности выполнять главную галерную миссию НКВД: не самолетами же возить людей в концлагеря.

О чем говорят в очередях? Вот очередные слухи и сплетни:

...Маршалы Кулик и Шапошников сброшены с десантными армиями на помощь Ленинграду. Но скептики утверждают, что Кулик попал в болото и сидит, похваливая его, а Шапошников не поспеет и к шапошному разбору... Прилетел в Ленинград Сталин. Ворошилов требовал от него немедленной помощи, или сдать город, чтобы не губить ни его, ни жителей. Сталин отказал. «Ты – кавказский ишак», – сказал Ворошилов и дал ему по морде. За это незадачливого маршала и отставили от командования... Есть на Васильевском острове старушка, точно предсказывающая, какие улицы и когда будут бомбить или обстреливать. Но скептики замечают, что этой старушке верят обычно тоже только старушки. По всем линиям острова, как говорится, туда-сюда и обратно тихонько влекутся они с узелками, крестясь и охая... После блокады всем жителям обязательно выдадут жалованье, считая каждый месяц блокады за год... Скоро прибавят норму выдачи хлеба – не вечно же можно жить на 250 гр. в день... Скоро сбросят с самолетов сотни тысяч тонн витаминных концентратов, рыбьего жира и глюкозы... А самое главное: все-все говорят! – что к Новому году блокада будет прорвана – и запируем на просторе!

Но Москва слезам не верит, а Питер – слухам.

– Как женщина я считаю, что все это бабьи сплетни, – заявила Тамара, и Дмитрий с ней согласился. Он курил, лежа в постели по сладко-мирной, почти забытой привычке. Как мало человеку надо! Хорошо выспался, но не хотелось вставать, чтобы не смотреть в глаза этой «женщине», определенно уже имеющей свой взгляд, как на все в жизни, и на эту ночь в стиле «все равно – война» или «все равно – любовь», – еще сам не разобрался как следует.

– Праздничная коровка дала сегодня хороший удой. Пей, теленочек, парное молоко! – «женщина» поднесла к его кровати полное ведро пива с реверансом, взятым напрокат из «Союзкино-проката», но по-настоящему грациозным и по-тамариному лукавым. – Кроме того, на сегодняшний день мы имеем следующие достижения: полтора литра коньяку и две пачки

«Беломорканала». Все это я успела достать сегодня с утра. Извиняюсь, что я карточку взяла без разрешения из кармана шикарных брюк – не хотела будить.

Он, наконец, встал, неохотно, словно стряхивая с себя теплые, радужные капли: от моря сновидений, солнечных и мирных.

На кухне с тихими восклицаниями «Ха!» и «Подумаешь!!» Тамара перелистывала книгу. Он спросил:

– Дитя, скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты.

– И опять же ты скажешь, черт возьми, я – дитя, потому что книга вроде как детская: «Дикая любовь, или Первая собака Динго».

– Тамара! Не стыдно тебе так злоумышленно перевернуть? Товарищ Фраерман обидится.

– Что это еще за тип?

– Как же ты читаешь книгу и не знаешь, кто автор?

– Я никогда не интересуюсь, кто автор. Подумаешь – Фрайер какой нашелся.

– Дурочка неумненькая. Дай-ка мне книгу «Севастопольская страда» Сергеева-Ценского.

Я еще полежу, почитаю. А ты ее читала?

– Ну, буду я – такую толстую.

– Сама ты толстая...

После обеда пришла с работы Нина, радостная, довольная, что впереди полтора дня отдыха. Нарочно грассируя, рассказала, как заведующий магазином Иосиф Абрамович высказал предположение, что другой Иосиф – Виссарионович – будет сегодня вечером «говогить большую течь».

Внимательно ее выслушав, Тамара запрыгала на одной ноге, скандируя:

– На мой взгляд, Нинаанти-мес-анти-бес-анти-песси-мистка.

– Уймись, стрекоза! – прикрикнула Нина. – Наш Еська всех нас, двух продавщиц и кассиршу, спас. Не хватало трех кило хлеба. Ведь за это сейчас чуть не расстрел полагается. А он сказал: «Пгощаю на пегвый газ». А какой такой там первый! Третий уже... А ты все спишь, Митя?

– Культурно отдыхаю. За столько ночных, блокадных дней первый раз сплю в теплой постели.

– Ох, что-то не верится, изменщик ты.

– Во-первых, ты говоришь глупости, во-вторых, так не говорят – «изменщик». Изменник. И это еще не большой изменник, кто изменяет своей любви. Вот когда изменяют родине...

– А родине ты можешь изменить?

– Нет, во всяком случае, не представляю себе этого.

– А разве ты еще не читал «Севастопольскую страду»? Я думаю, что ее ленинградцы должны прочесть, особенно теперь, в блокаду.

– Я перечитываю. Местами – язык богов.

– Уж не знаю, какой там язык, а только написано по-русски и очень интересно, без всяких богов.

– Имеются в виду языческие боги.

– Ну и оставайся со своими богами. А мы займемся с Тамарой делом.

...Сестры привычно пикировались на кухне.

– Ши такие же будут, как вчера?

– Нет, с кусочками хлеба, правда, маленькими, на мой взгляд.

– Ага, значит с легкой вариацией.

– Да уж, варю с вариацией.

В коридоре, за дверью кто-то хохотнул, сдержанно и неуверенно. Сестры испуганно умолкли, Дмитрий встал.

– Я знаю, кто это, не бойтесь. – И широко открыл дверь. – Знакомьтесь: мой друг...

- Александр Александрович Половский, – Саша долго тряс руки сестер.
- На мой взгляд, мы уже знакомы, – холодно сказала Тамара и отошла к плите.

Два друга стояли перед сестрами – одетые кто во что горазд. Брюки, как по команде, подвязаны шпагатом.

- Ну, и видик у них, на мой взгляд.
- Тамара, помолчи.

– Да, трудновато таким, как мы, приписным казакам, – признался Саша. – Ни родных, ни знакомых, ни лишней пары белья. Но – ничего. Разве не вся Россия – родная, хотя и мало-знакомая страна? И вы, девушки, разве не родные?

*Свадьба блокады нас всех переженит и переродит
И узлами дружбы такими нас свяжет,
что будут прочнее и крепче,
Чем даже какой-нибудь там Атлантический кабель...*

Дмитрий дергал его сзади за рукав:

- Замолчи, кобель! Опять ты со своими белыми стихами. Еще подумают – пьяный.

Сестры смеялись от души. Тамара прямо заливалась:

- Эти бе-белые стихи мне определенно нравятся.

- По этому случаю выпьем, – Саша поставил на стол пол-литровую бутылку портвейна. –

Простите, в нашем районе нигде нельзя достать коньяку.

Решено было не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, а завтра вряд ли.

Пить так пить, гулять так гулять.

Но когда перед Сашей поставили дымящуюся тарелку знойного супа, он словно впал в забытье. Долго смотрел на него, потом на Дмитрия, и спросил вялым, тихим голосом:

- Да у вас тут и обеды дают, Митя?

- Дают, ешь, знай, на здоровье.

- Но я не могу так, сразу – и обедать. Я, может, третий день пощусь перед праздником.

Так можно и в обморок упасть. Да и совестно как-то вас объедать.

– Оставь свою совесть в покое. Угрызения совести – это одно, а вот угрызения голода – совсем другое.

Оба ели суп, затаив дыхание, поэтому даже не поперхнулись. Саша только тихонько пихал приятеля под столом, а когда суп был съеден, шепнул:

- А потом что будет? Еще пожрем, что ли?

Да, они ели еще по какому-то куску какого-то мяса.

Ели все вместе, не глядя друг на друга, не разговаривая. Один раз взвыла тревога, и в репродукторе стучал метроном. Но было тихо. Правда, только до тех пор, пока за столом не начали пить пиво и коньяк.

Через полчаса все уже весело смотрели друг на друга, болтали и пели песни. Саша пародировал экспромтом:

*– В ленинградской Руси
Пой песни, хоть тресни,
Только есть не проси.*

Или, подсев к Тамаре:

*– Дорогая, сядем рядом
Поглядим в глаза друг другу,*

*Я хочу из Ленинграда
Привезти домой подругу.*

– Хочешь, я признаюсь тебе в любви, хотя Митрич и считает тебя ребенком?

Тамара мрачно – глаза клинышками – взглянула на Дмитрия: он пил уже пятую стопку коньяку (она считала), чокаясь только с Ниной, и сказала:

– А что касается некоторых, считающих меня ребенком, то они, на мой взгляд, глубоко заблуждаются, – и Саше: – А ты можешь сидеть рядом. И в глаза смотри. Все равно они пьяные.

Так и застала их речь вождя – человека, с именем которого связывали родину пропагандными путями.

– Слушайте, слушайте, говорит Москва... ит... ква! – словно лягушка заквакала – сочувственно или в насмешку? – над санкт-петербургским болотом и над ленинградской трясиной блокады. И вдруг стало так до боли отчетливо ясно, как оторван Осажденный от Москвы, ото всей страны, и как мало ее будни, дела и сражения касаются его каменного, облитого кровью сердца.

– Слушайте... ква, ква...

И они слушали. Вождь говорил со спокойным кавказским акцентом, который никого теперь не смешил, в обычном своем простоватом и железном стиле.

«...Пройдет полгода, может быть, годик – и фашистская Германия лопнет под тяжестью своих преступлений...»

Только через три с половиной года после этой исторически безответственной речи Германия «лопнула». Но в этот час ничто не мешало вождю говорить, а людям во всех странах его слушать. Только в Ленинграде этот неторопливый и властный голос был заглушен еще более властным голосом войны.

Правда, ненадолго: только объявили воздушную тревогу, и не успел проквохтать метроном, как снова включили Москву. Это было неслыханно и невероятно. Воздушная тревога, нарушая порядок и разрушая жизнь, сама никогда не была нарушена. Стук метронома устанавливал наджизненный порядок воздушной тревоги, нарушение его грозило дезорганизацией обороны и большими жертвами.

На этот раз тревога не знала, с кем она имеет дело. Инструкции были даны заранее: в случае чего – закрыть тревогу! И ее закрыли. И вождь спокойно продолжал говорить, как будто ее и не бывало. Да что – ее. Как будто и поражения не бывало: большое ли дело потерпеть полгода, от силы «годик»?

Речь перекрывала воздушную тревогу с навязчивостью и насилием, характерными для оратора.

Он говорил недолго и просто, но его речь казалась уже – под воем самолетов и бомб – растянутой и непонятной, как вечность. А многие в Ленинграде и ушли в вечность за этот вечер, потому что речь вождя была пропагандной, а бомбы – действительностью. Она так же перекрывала тревогу, как рыболовная сеть «грела» озябшего цыгана. Сквозь эту цыганскую пропагандную сеть – сыпались бомбы.

...А они слушали, сидя неподвижно. Им хотелось дослушать до конца. Несколько раз близко падали бомбы, звенели и падали на пол стаканы. Саша подбирал их, наливал снова и заставлял всех пить. И они дослушали до конца.

– Победа будет за нами!

– Если она будет так далеко за нами, что ее нельзя будет увидеть невооруженным глазом, – я не хочу такой победы, – сказал Саша и, облокотившись на стол, заснул.

Почти одновременно с окончанием речи, как будто она была тоже как вражеский налет, прозвенел радостный – двум тревогам сразу – отбой.

Где-то слышались крики, горели дома и умирали люди. Как обычно.

22. Вечная прописка

Директор, этот бывший «японский шпион», все же нашел, куда пристроить студентов, а вместе с ним и себя. Занятия продолжались в помещении Педагогического института имени Герцена, на углу Невского и набережной Мойки. Неподалеку нашли и общежитие – на улице Желябова (бывшая Конюшенная), в большом и красивом, как все дома этой улицы, доме, знаменитом тем, что в первом его этаже был Театр эстрады и миниатюр. Под общежитие отвели весь третий этаж – шесть комнат. Раньше здесь жили артисты, уехавшие на летние гастроли за несколько дней до войны. Их комнаты были полны всяких вещей и мебели в стиле незабвенной Эпохи ширпотреба. Конечно, это не Людовик XIV, XV и т. д., не Карл X, вошедший в моду после войны, но он тоже займет свое место в вечности: Ширпотреб 1-й, 2-й и т. д. (имеются в виду пятилетки, или, по-украински, пятирички).

При виде всех этих дешевых картин, ковриков, подушек и даже перин немножко обалдели. Но больше всего понравились какие-то невиданные, с красным верхом и мягкой подшивкой, ночные туфли. Их вырывали друг у друга из рук и ходили в них на руках по комнатам.

Зеркала, шифоньерки, диваны и столы расставили в таком художественном беспорядке, что негде было повернуться.

– Когда я прохожу по нашим кулуарам, – говорил Саша, – то всегда вспоминаю картину Семирадского «Танец среди мечей»: сколько нужно грации, чтобы пройти между всей этой фешенебельностью, не набив себе синяков.

Над своей кроватью он навешал столько репродукций, разностильных картин, что рябило в глазах: Шишкин, и Левитан, и Пикассо.

Бас предпочел фламандцев.

– Люблю женщин, – сказал он, – голых и толстых.

Кто не работает в Доме техники, тот не изучает теперь ни «Краткого», ни долгого курсов, а рыскает по всему городу в поисках жратвы. Только на лекции профессора Пошехонова приходят все дружно. Он выздоровел сразу после Октябрьского праздника и рассказывал теперь больше о чем-нибудь «из жизни». Так обычно говорили колхозники, когда у них спрашивали, какая книга или какой кинофильм им больше нравится. Ответ всегда был неизменным: «Ндравится все, которое из жизни». Видно, русский мужик испокон веку стоит у истоков реализма, хотя любит и сказки сказывать.

Профессор по привычке перелистывал ненужный конспект и говорил голосом, еще более тихим, чем прежде.

– Эх, бедный, – вздыхал Бас, – надо для него соображать что-нибудь, а то он нам своей истории не дочитает.

Постановили единогласно: кто что-нибудь заработает «или так сопрет» – отделять своему профессору. Стали приносить ему – кто кусок хлеба, кто конфет, кто дуранды. Дуранда – прессованные отходы маслобойного производства – заменяла хлеб. Профессор, было, и слышать не хотел ни о каких «приношениях в ущерб своим желудкам», но потом сдался доводу, что «мы моложе и воспитаны не в помещичьем доме».

– Только не воруйте, – велел он, – воровать – большой грех, – и поднял кверху тонкий, как карандаш, палец, и все, опустив головы, сделали вид, что с ним согласились.

В хлопотах по устройству в своих апартаментах совсем забыли о прописке – в районном отделении милиции. Напомнил дворник, почти столетний старик.

– Война войной, детки, а порядок быть должен. И вещички тут, которые оставшись, не троньте.

Пошли, прописались. К удивлению всех, вместо обычного штампа временной прописки в паспортах им поставили печать на постоянное местожительство. Это было то, о чем многие

мечтали в мирное время. Для этого женились на вдовушках с квартирами и дачами или устраивались работать на крохотные предприятия: лишь бы остаться в Питере.

Но теперь эту прописку называли вечной.

– Видно, нам отсюда никому не выбраться: вечная прописка! – сказал Бас, но не басом, самоуверенно чеканя слова, а тихо, совсем как профессор. И все молча мяли в руках паспорта – документы эпохи.

О «вещичках» дворник напоминал кстати. Порылись в шкафах и чемоданах, и то, что не пришлось впору самим, быстро «сплавил» на рынке. Рассуждали просто: зачем лежать мертвым грузом тому, что может пригодиться живым? Да и разбомбить могут – зря пропадет добро.

Где-то в развалинах домов Бас нашел помятую жестяную печурку и сплюсненные трубы к ней. Устанавливая ее среди комнаты, целый день весело гремел железом, насвистывал военные марши и напевал:

*– Ты, моя буржуйка,
Эх, да мы с тобой...
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови,
Господи благослови.*

Буржуев в России давно нет, но «буржуйки» остались. От них зимой в Осажденном погорело больше домов, чем от бомбардировок. И все же – хоть за одну струйку тепла, за один язычок пламени – кто из осажденных не был им благодарен, как говорили умирающие остряки, по сугроб жизни?

Два буржуйских венских стула легли костями в буржуйке и запылала. Бас командовал:

– Эй, вы там! Два великих молчальника! Айда за водой! Только не на Мойку-помойку, не поленитесь до Невы прогуляться. И тяните не из той проруби, где топят, а дальше, из эрмитажной проруби.

Вася Чубук и Сеня Рудин, подталкивая друг друга и гремя украденными в соседнем доме ведрами, поплелись вниз.

Вернулись они только через три часа, тяжело дыша и матерясь.

– Что лаетесь, лентяи? Не развалились, чай, по дороге? – упрекнул их Бас.

– Да я ничего. Это все Чубук, – сказал Рудин. – Стал снег жевать – увидел кровь и чуть в обморок не упал. Думает, что из горла. А я утверждаю, что из десен, от цинги.

Чубук сел на полу у печки и глядел прямо перед собой неподвижными глазами.

– Покажи зубы! – велел Бас.

– Что я вам, конь, что ли? – возмутился Чубук. – Отстаньте от меня. Это из горла кровь, я знаю. Зубы, как гвозди торчат, не шатаются.

– Не шатаются? Так зашатаются, если будешь у меня скулить. Выше голову, дистрофик несчастный!

– Да, я дистрофик, – согласился Вася и покорно открыл рот. Все поочередно заглядывали, только что не клали пальцы.

– Да, зубы ничего, вроде лошадиных, – констатировал Саша. – Вот и у меня тоже, посмотрите, – ощерясь, он показывал свои плотные, желтые зубы, поворачиваясь во все стороны. – И зачем, спрашивается, я донес их целенькими до наших дней? Чтобы теперь положить на полку?

– Кстати о полке, что над твоей головой висит. В стиле рококо... Давай ее в печку, – сказал Бас.

– Бас, а что такое дистрофия? – спросил Саша.

- Голодная болезнь. Пора бы знать.
- Пора... Чем позже бы мы об этом узнали, тем лучше было бы.

Дмитрий второй день не вставал с постели. Два дня он дежурил в Доме техники, замечая заболевшего сторожа. На посту, в вестибюле, было почти так же тридцатиградушно холодно, как и на дворе. Ни огромный тулуп, ни валенки не грели на голодный желудок. Застудил легкие – болезнь, называемая в народе удивительно точно: прострел.

Читал Евангелие, найденное в чемодане знаменитого артиста, и рассуждал вслух, как это было принято во всех студенческих общежитиях:

- Сын Человеческий... Казалось бы, ничто человеческое не должно быть Ему чуждым. Вася Чубук, согрившись у печки, хотя и тоскливо, все же напевал:

*– Дывлюсь я на нэбо
Та й думку гадаю,
Чому я не сокил,
Чому не летаю?*

– Потому что хохол, – сказал Бас. – Был бы кацап, вроде нас, – был бы соколом. Да еще каким – настоящим соколом был бы!

Саша философствовал над печкой:

– Какое это нахальное, вечно неудовлетворенное животное – человек: захотелось тепла – сделал печку и развел огонь. Теперь, глядя на огонь, хочется на нем чего-нибудь поджарить, вроде котлет. Лучше спать. Уснешь и все забудешь, как говорила моя мама, вечно недовольная советской властью.

– Да, котле-еты-ы, – с живостью поддержал Бас, – теперь я вспоминаю только котлеты – они заслоняют все остальное – и ругаю себя за то, что ел их не больше, чем по десять штук. Какой я был идиот!

Так обычно начинались голодные монологи – на сон грядущий, о том, как любили поесть в такое недавнее и далекое теперь, почти потустороннее мирное время.

- Ах, какие она галушки закатывала – закачаешься...
- Да еще особенно когда поллитровку выпьешь для профилактики...
- А она мне и говорит: «Ты, Вася, брось мне арапа заправлять»...

* * *

Театр Эстрады и миниатюр был открыт. У высоких дверей вестибюля с выбитыми стеклами, в афишной раме тоже без стекла, под деревянной позолоченной буквой «Э» величиной с дугу, с маленькой «м» внутри, крупным курсивом объявлялось: «Ежедневно. Гастроли опереточного ансамбля под художественным руководством арт. Бронской».

Счастливые люди артисты! Кроме партийного руководства у них есть еще и художественное, которое, ухищряясь и зная себе цену, частенько выходит на первый план.

О, благословенный свет рампы! Скольким миллионам русских людей заменяешь ты свет солнца Конституции!.. Русский народ не только великий артист, но и великий театрал.

...Вот чопорная, в чепчике не по сезону и в дохлой лисе, старушка выражает свое возмущение шипящим, как пар из чайника, шепотом:

– Как они смеют? Они опять отменили пятую симфонию! И даже не сообщают, на когда перенесли. Как будто так и надо...

Добрая половина прохожих слушает ее сочувственно, некоторые знают, о чем речь – о симфонии Бетховена в Филармонии.

Консерватория с залом имени Глазунова давно закрыта – с открытой, разорванной снарядом крышей. Но и Филармония, кажется, доживает свой недолгий и фантастический блокадный век. Это уже не первый раз отменяют Бетховена: не повезло и его девятой симфонии. Зато «1812 год» Чайковского слушал, затая паровое – на холоде – дыханье, переполненный зал. Немцы были под Москвой.

В «Оперетте» идет «Баядерка», в Театре драмы – «Дворянское гнездо», в театре Ленсовета – «Идеальный муж». Всем известно, что один из лучших композиторов – Б. Асафьев – пишет на голодный желудок музыку к спектаклю «Война и мир».

В позолоченную дугу «Э» с колокольчиком «м» был впряжен весьма дружный и резвый ансамбль артистов. Оперетты пользовались особой плотоядной любовью студентов, потому что в них по ходу действия всегда много едят, пьют и веселятся. Острили: «После неотрадного и миниатюрного обеда приятно пойти в Театр эстрады и миниатюр». От «делать нечего» писали в стихах и в прозе хвалебные шуточные рецензии на спектакли и преподносили их красивой и полной даме с усиками – директрисе. За это или по-соседски их пускали в театр бесплатно. Зал никогда не был полон, но не бывал и наполовину пуст.

Скупым, голодным светом освещались худые, бледные, как маски, лица зрителей, пожирателей глазами сцены, красивых и великих людей – таких же, как все, и совсем не таких. Они тянулись к рампе, как к алтарю.

Под скрежет ножей и вилок о пустые тарелки нарядные люди пили шампанское – невскую водичку, живую воду искусства. Веселая вдова, она же по совместительству Сильва и Марица, однажды неположеном разрыдалась за «роскошным» столом: не выдержала марки.

Кто работал – обедал в кафе «Аврора», перешедшем в распоряжение Дома техники, остальные – в недавно открытой для студентов столовой, в помещении бывшего кинотеатра «Баррикада». И здесь, неизвестно какими судьбами, появилась своя королева – кассирша Сара. Она была обворожительна, сидя во вращающемся кресле, как бабочка под стеклянным колпаком кассы-кабины.

– Иногда мне кажется, что я сижу в парикмахерской и меня стригут, – призналась она, – но все же не меня стригут, а я стригу, – она имела в виду талоны из продовольственных карточек.

Чаще, правда, ей совали в окошко талоны не только отрезанные собственноручно, но и подделанные простейшим способом: обыкновенным пером или тушью на узких полях карточек. Бас так и сказал ей:

– Если ничем не рискуешь, кроме своей все равно уже раненой головки, если наши фальшивые талончики пройдут незамеченными, ничтоже смутяшесь, выручай своих ребят!

– Ах, девочки, не все ли мне равно, что настоящие, что эти самые – фальшивые? Пока не вижу ни одной разницы, – согласилась Сара.

«Рисованием» занимались Алкаев и Чубук. Из каждой карточки выходило по восемьдесят талонов. Не все хорошо получались, но все же на два-три лишних обеда хватало. Обед стоил: талонами 20 гр. крупы (всего на месяц полагалось 600), 5 гр. жира (на месяц – 200) и сколько-то копеек деньгами.

Пол-литра кипяченой воды, приправленной древесной мукой, и одна столовая ложка каши (буквально) съедались без промедления, но за столом сжививали часами. Читали, болтали, меняли друг у друга хлебные талоны на масло или наоборот, или все это на конфеты, табак, папиросы.

Уставясь обиженными глазами в пустые тарелки, наперебой читали стихи Блока: по первой строке надо было определить: что и откуда. Это называлось Блокиадой. Сара, чиркая ножницами, подавала реплики из кассы, как из суфлерской будки. Саша не признавал Блока. Он читал только свои стихи.

– Тоже мне, поэт нашелся! – Сара морщила носик. Ни Саша, ни его стихи ей не нравились. И он ее не жаловал.

– Она и в самом деле считает меня циником, – жаловался он Дмитрию. – А ведь я, как ты знаешь, лирик, и тесен для меня современный мирик. В детстве я любил все носить с напуском – и рубашечки, и штанишки. Так и все эти мои шуточки и зубоскальства – все это напускное, все это помогает мне вести борьбу с моим злейшим врагом – дурацкой застенчивостью. Удел застенчивых – тень, застенок, а то и стенка. Я не хочу этого. Лучше быть хамом!

Дмитрий смеялся и разводил руками:

– Куда уж тебе, Сашенька. Это же надо уметь – быть хамом. Поговорим лучше о любви. Например, что такое любовь? Я считаю, что любовь— это слепое ранение сердца (медицинский термин).

– Это тебя твоя студентка-медичка научила? Она же и ранила?

– Ну, это неудачная любовь, Саша... Или неудавшаяся?

Бас, развалясь на стуле – на всю косую сажень плеч, пожирал глазами пустые тарелки, кассу, заключенную в ней Сару и напевал тихонько-грустно:

*Сухой бы я корочкой пита-а-а-ласъ,
Да и не знала б про любовь.*

Бас умел петь – сильным баритональным басом, и умел нравиться девушкам, когда хотел. Он спрашивал:

– Слышишь, Сара? Тут некоторые рассуждают о любви... Что они понимают? В моей беспризорной практике были иногда такие счастливые дни, когда я не воровал у торговков, а сам продавал – правда, все равно ворованные, конфеты.

Я орал на весь базар:

*Вот ирис-тянучка,
По копейке штучка!*

– Вот я и мечтаю о такой любви-тянучке: сладкой и долгой... Слышишь, Сара?

Сара вздыхала в кассе, как птичка в клетке.

В кафе «Аврора» не говорили о любви и обедали только за настоящие талоны («подлинники»), с «оригиналами» боялись засыпаться. Здесь только суп был «менее вода», а порция каши – тоже столовая ложка. Единственным удовольствием было пройти без очереди, как «сотрудникам». Теперь все кафе и рестораны прикреплены к различным учреждениям. Служащим выданы специальные пропуска – основные, а для родственников – скользящие.

С утра до позднего вечера около всех кафе и ресторанов толпятся скользящие, ежась под зычными окриками швейцаров:

– Для скорбящих мест нету!

Но все стоят, надеются: покричит-покричит, да, глядишь, и впустит. Главное – попасть туда, а там – тепло, толкотно, пахнет кухней – почти весело. Ради этого стоят часами на холоде, прижимаясь друг к другу или однообразно споря из за очереди: «Вы здесь не стояли». – «Вы сами не стояли». Но чаще стоят тихо, покорно, скорбно – почти неподвижной серой глыбой, с клочками пара над ней из посиневших ртов. Их пропуска и их самих так и называют: скорбящие.

Швейцары остались. Дюжие ветераны-стариканы олицетворяют прежнюю роскошь и недоступность знаменитых ресторанов, превращенных теперь в «обжорки». Швейцары еще весьма солидны и красноморды. Знаменитый дядя Вася, швейцар в кафе «Аврора», сохранил даже свою почти адмиральскую шинель с галунами и всякими аксельбантами. Он добр: впус-

кает не только скорбящих причисленных, но и случайных. Поэтому кафе «Аврора» называют еще «Всех скорбящих радость».

...Только три дня прошло после Октябрьского праздника, три серых дня...

10-го ноября газета «Ленинградская правда» вышла с вдвое урезанным двухполосным листком. Это был исторический листок с постановлением Военного Совета – еще раз вдвое снизить норму хлеба.

Жданов, Попков и Кузнецов подписали смертный приговор почти половине осажденных. 125 гр. в день... Этот кусочек хлеба – для уже истощенного и измученного человека – как капля воды в пустыне. В пустыне желудка.

После войны, незадолго до своей смерти, Андрей Жданов официальный вождь обороны Ленинграда, скажет писателю Фадееву: «Фадеев, люди мерли как мухи в этой бесчеловечной блокаде. Я спрашивал каждую минуту: имеем ли мы право обрекать на смерть тысячи советских граждан? Как будет нас судить история? И все же я был уверен, что история человечества не простит нам сдачи Ленинграда»...

Да как будет судить история человечества, и до того ли ему, человечеству, будет, чтобы судить, – кто знает! Конечно, история любит всякие героические кошмары, и чем они неслыханней, тем она их больше любит. История никогда не забудет 900 дней блокады Ленинграда. Но изменился ли бы ход войны, если бы город был отдан остервеневшему от неудачи врагу? Надо ли было умирать трем миллионам осажденных, да еще такой – самой мучительной из смертей – голодной смертью? А немцы – пощадили бы жителей, войдя в город? Скорее всего, их ожидала судьба миллионов военнопленных.

С этого дня, 10-го ноября 1941 г., Осажденный город, как корабль, потерявший связь с Большой землей, лег в дрейф и медленно движется неизвестным курсом к еще не открытому, невиданному человечеством – Третьему полюсу.

23. Третий полюс

*«Входил ли ты в хранилище снега
и видел ли сокровищницы града,
которые берегу я на время смутное,
на день битвы и войны»...*

Иов, 38, 32

*Еще на западе земное солнце светит
И кровли городов в его лучах блестят,
А здесь уж белая крестами метит
И кличут воронов, и вороны летят...*

А. Ахматова

Воронов, правда, кличь – не кличь, – не прилетят. Давно уже над городом не видно ни одной птицы, словно все они перелетели на сторону немцев. Туда же из города, как с тонущего корабля, ушли крысы. После пожара на Бадаевских складах целыми полчищами переваливали они линию передовых окопов. Иногда, после ночных танковых атак, поле боя покрывалось серой массой раздавленных крыс.

А теперь все покрыто снегом. На город навалилась полоса косматых метелей. Старожилы не помнили таких снежных заносов.

Под городом немцы не проявляют никакой активности. В их блиндажах, занятых случайно или с отчаяния, красноармейцы находят уютную обстановку, шоколад, сигареты, портвейн, патефоны и портреты солдатских невест.

Фронт скован морозом, как и весь умирающий организм города. Бездействует и немецкая авиация, но снаряды свистят по-прежнему.

Осажденный уже не похож на корабль, дрейфующий неизвестным курсом. Это огромный неподвижный ледяной остров. Вокруг – снега, тьма, тьма врагов. Сверхверхоянские холода. Да, теперь Осажденный, а не Верхоянск – мировой полюс холода.

Блокада – это два кольца: огненное (орудийное) и ледяное. Но огненное не может расплавить ледяного.

Не взяли немцы город мечом. Не взяли его и огнем. Но они знают: блокада – не только два кольца, но и петля-удавка: голод...

Голод. Что такое голод? Пожалуй, никто в мире не знает, что такое любовь (не ветерок же над розами), и что такое сама жизнь, но как-то все живут и как-то любят. А вот что такое голод, знают все, хотя далеко не все, слава Богу, испытали его по-настоящему – так, как осажденные. Голод – это когда не просто хочется есть, а хочется есть, да нечего, и твердо знаешь, что и не будет. В медицине голод называют болезнью: дистрофией. Она имеет четыре степени. Но это для ученых, только изучающих голодную болезнь, но никогда не голодавших. Для голодного же достаточно и трех степеней этой самой дистрофии. Смертельна, особенно для пожилых мужчин, даже вторая степень – простая отечность и пустой две-три недели подряд желудок. Как это ни странно, болезнь была «открыта», изучена и получила название в Америке – самой сытой стране мира. И опустошила эта болезнь град Петров – самый относительно сытый и блестящий город страны, забывшей о сытости и покое.

Голод, пожалуй, самое страшное из всего, что приходится переживать человеку на земле. Огромный, теряющийся в веках, божественно-фантастический путь от первобытного человека к современному, голод заставляет многих (но не всех) пройти вспять за какой-нибудь месяц. Он превращает человека в зверя, не только готового на любое преступление но и удивительно способного к нему. Родственные чувства, долг, мораль – все это отступает куда-то на задворки человеческого духа: хочется только есть. А есть нечего. И у соседей нечего. И украсть нечего.

Голод в Ленинграде не имеет себе равных в истории мира не только по гекатомбам трупов, но и потому, что это был голод-демократ: голодали и умирали все подряд: и коммунисты, и беспартийные, и директора заводов, и рабочие. Конечно, не имеется в виду верхушка, но где ее нет? И где она по-настоящему страдала?

Здоровые, полные сил бонвиваны, занятые только собой, едой и сном, – вымерли первые. Фантазерам, поэтам всех мастей и кистей было легче: они всегда жили в воображаемом мире и теперь уцелевали – в блокадном.

Надо иметь железное здоровье и стальную душу, чтобы устоять перед голодом, не потерять своего человеческого достоинства.

...Голод... Всею городу хочется есть, и всею городу есть нечего.

Все вспоминают окопную картошку: сколько пропало ее тогда! По всею городу ходит старая поговорка о любви и картошке, переделанная на голодный лад: «Не любовь – картошка: не выбросишь за окошко». Но это редкий проблеск голодного остроумия. Первая стадия голода, с нервной и физической взвинченностью, блеском бегающих глаз, бурным плетением словес, заиканием, жуликоватостью и преступностью, – проходит быстро и уносит с собой наиболее активно голодающих: нахалов, циников, сладострастников, грубых жизнелюбцев.

Потом люди бродят по улицам, ничего не спрашивая друг у друга, одичавшие и гордые своей обреченностью, с пустыми глазами и желудками. Постепенно в них угасает и ненависть – обычный спутник голода и народных бедствий. Ненависть – это та же энергия, лишняя трата сил.

С утра до ночи черная кайма очередей за хлебом. Во многих районах нет воды. Водопроводная сеть повреждена бомбардировкой или трубы полопались от холода: вода взрывает их, замерзая. А без воды хлеба не выпечешь. Некоторые хлебопекарни сами организуют доставку воды – живым конвейером, если близко Невы или канал. Добровольцы выстраиваются цепочкой от проруби к пекарне, передают ведра с водой из рук в руки. Труднее всего «первочерпателям»: края водяной ямы покаты и скользки. Часто ведра глухо стучаются обо что-то, плавающее подо льдом. Кажется – бревна. Но это трупы. Течением или еще какой-то силой утопленников всегда влечет к прорубям. Их не вытаскивают: в очереди всегда находятся добровольцы-гарпунщики, – широко расставив ноги и обычно почему-то улыбаясь, они деловито отталкивают трупы под лед.

Откуда берутся утопленники? Сплавливают ли в проруби покойников, или это самоубийцы? Самоубийства, особенно мужчин, после 10 ноября – не редкость. Когда человек остается один на один со своим пустым желудком в четырех стенах, поросших инеем, и ни ласкового слова женщины, ни улыбки друга, – такой голый голод не всякий выдержит... Это хоть головой в прорубь или об стенку.

Почти все проруби «искусственные»: сотни снарядов и бомб кромсают лед в реках и каналах. По крайней мере, одна треть вражеского огня не причиняет городу вреда, падая в лед, в воду. Недаром Питер стоит на воде, как грандиозная русская Венеция.

На двадцати-тридцатиградусном морозе проруби быстро затягиваются, как раны клетчаткой, льдом, но «стратегически важным», у мостов и рынков, не дают замерзнуть.

Потрескавшимися заиндевелыми губами припадает Осажденный к блокадной проруби, как к чаше причастной. Кто пил эту воду, тот никогда ее не забудет.

...Проходят хмурые, вьюжные, холодные дни, похожие друг на друга, как кусочки пайкового хлеба в 125 граммов. Продавщицы научились отвешивать эти кусочки с аптекарской точностью. Поневоле научишься, когда за малейший провес в несколько граммов можно жестоко пострадать – не только от начальства, но и от толпы.

Женщины легче переносят голод, чем мужчины, но нет ничего страшнее толпы голодных женщин, не дай Бог прогневить их и попасть им в руки! Первое время голода милиционеры еще старались наводить порядок в очередях. Покрикивали, расталкивали и сами, конечно, норовили получить хлеб без очереди. Но вскоре у них эту охоту отбили.

...В булочную на Большом проспекте однажды ворвалась растрепанная и грязная (как почти все этой зимой) женщина и с диким воплем «Она меня снова, стерва, обвесила!» бросилась на продавщицу и так вцепилась в нее, что насилу отодрали. В давке и суতোлке толпа «поднаперла» – и разгромила магазин в несколько минут. Заведующий и продавщицы бежали, осыпаемые, как градом, гирями. Когда явился наряд милиции, в булочной катался клубок тел; хлеб вырывали друг у друга руками и зубами, остервенело и молча. Но стоило только милиционерам дать залп в воздух, как послышались стоны и вопли:

- Я раненая!
- И я.
- Бабоньки, что же это такое?
- Уби-и-ивцы!
- Бей их, извергов!

Двух милиционеров растерзали на клочки, остальные бежали.

Продавщицы, эти белокурые девушки за прилавком, – как кролики в клетке удава. Их движения – механические и точные, они не поднимают глаз: стыдно ли им, что они все же сыты, или боятся загипнотизироваться глазами толпы-удавы, остервенелыми и злобными, или тупыми и безразличными, голодными глазами?

Многие домохозяйки получают хлеб на каждого члена в отдельности, чтобы дома не делить: бездушные весы точнее дрожащих рук. Проще всего, когда каждый получает свою пайку сам: муж отдельно от жены, и дети – от родителей. Но не все так могут. Большинство все же предпочитает есть вместе. Такие семьи не распадались. Вместе ели, вместе и умирали.

В пустых домах находят вымершими целые квартиры и этажи. Эти дома видны сразу: к ним нет протоптанных или расчищенных от снега дорожек; кажется, что и снегу на их крышах больше, чем на соседних. Это в одном из таких домов найдут листки из дневника десятилетней Тани Савичевой.

- «Женя умерла 28 декабря 1941 г.»
- «Бабушка умерла 25 января 1942 г.»
- «Лека умер 17 марта».
- «Дядя Вася умер 13 аир.»
- «Дядя Леша 10 мая».
- «Мама умерла 13 мая в 7.30 утра 1942 года».
- «И Савичевы умерли».

И на последнем листке —

«Умерли все. Осталась одна Таня».

...Дневник нашли, он теперь в Музее Блокады. А Таню не нашли.

В окнах нижних этажей таких мертвых домов почти во всех районах города появились выставленные, как манекены в модных магазинах, трупы целых семейств: мужчина, женщина, дети. Это стало своего рода модой, введенной какими-то маньяками.

Всего безотраднее одиночкам. Некоторые так и живут – по одному в доме. Встает человек (если все еще человек) утром, и сразу же ему хочется есть. Но хлеб уже съеден за два-три дня вперед. Не всякая продавщица «отпустит» на четвертый день: это запрещено. Надо

хоть бы умыться. Но ближайшая прорубь не близко, да и ведра нет. Что же, можно и не умываться. Можно было и не вставать. В комнате полярный холод. Дверь снаружи обледеневаает так, что открывается с трудом. Ни света, ни радио, ни газет, ни писем. Почти все почтовые ящики сняты, но кое-где еще висят, переполненные старыми письмами, заваленные снегом... И ни паровозного гудка, ни трамвайного трезвона, ни воробьиного чириканья. Тишина. Космическое молчание. Пока не просвистит дежурный снаряд или не громыхнет «соседний».

...Стоило ли вставать? Лучше снова лечь в постель и уснуть с одной мыслью – скорбной, искренней и чистой, как слеза, чтобы больше не проснуться. Не все ли равно? Если над головой, сквозь сон и метель, просквозит снарядный шелест, человек даже головы не поднимет. Не все ли равно?

Идет какая-то неделя Великого поста. Более великого поста не знает история мира. Любой святой позавидует рядовому блокадному жителю. Больше половины населения не получает ничего, кроме 125 граммов хлеба в день. Магазины пусты. Даже полагающиеся жалкие граммы сахара, жиров и крупы не выдаются. Талоны на них можно «реализовать» лишь в столовых и ресторанах, целыми днями стоя в очереди «скорбящих».

Многие теперь не работают. Заводы стоят тихие, мертвые. Редкая труба дымится.

Чудом уцелевшие, потрясенные своей тишиной красавцы вокзалы глядятся вдаль, в простирающуюся перед ними пустыню подъездных путей, занесенных снегом.

Пустынны заставы – ворота города. Только редкие дзоты, да черные пятна от разрывов снарядов на снегу.

Пустынен весь город. Одиночные трамваи стоят или лежат на улицах и проспектах, полузанесенные снегом – там, где их, как смерть, остановил обрыв проводов, или подачи тока, или сама снарядная смерть. На перекрестках больших проспектов – баррикады из камней, мешков с песком и всякого хлама, а кое-где – из трамваев и троллейбусов, нагроможденных друг на друга, как во время крушения. По всему городу – следы огромного крушения. Ходят военноморские патрули – как призраки 1918 года...

Над Невой целыми днями висит туман, рыхлый и плотный. Кажется он весом и ошутим, как вата. Крейсера вмерзли в лед. К ним можно подойти, как к домам, замкам, крепостям... Можно потрогать рукой обледенелые борта и прикоснуться к их славе и мощи, набраться от них сил. Их орудия бьют по фронту только одновременно со шквальным обстрелом города, «под шумок», чтобы не быть замеченными противником.

Когда артиллерийская дуэль умолкает, тишина кажется невыносимой. Она словно обволакивает мозг свинцовой пеленой, давит на сердце. Нет, уж лучше гром орудий, пламя пожаров, чем эта отравленная голодная тишина!..

А лучше всего – смерть.

Уже с четырех часов дня город затихает. Будто нет в нем ни войск, ни жителей, ни жизни. Но эта тишина – обманчива. Блокада – магический, безвыходный круг не только для осажденных, но и для врагов. Очевидно, опытные и умные разведчики побывали в городе и поняли: лучше не соваться.

И вот стоит он, как заколдованный, – Петрополь. Метели-ведьмы, метели-пряхи с воем и свистом ткнут над ним – для него – снежный саван. Смерть настигает всюду: в постели, на лестнице, во дворе, в подворотне, в столовой, в булочной. Но чаще всего – на улице. Идет-идет прохожий – вдруг медленно оседает, опускается в сугроб. Подойдут к нему, посмотрят – уже мертв. Без стопа, без вдоха. Только икнет несколько раз подряд – вот и все. В организме нет сил даже на конвульсии. Это и есть голодная смерть. Такая ненасытная смерть уносит в ноябре 10 тысяч людей в день. В декабре будет умирать 15 тысяч, в январе – 20–22 тысячи в день.

Будто и в самом деле открылись библейские хранилища и все их «мировые запасы» холода и голода обрушились на голову Осажденного.

Или это начало конца мира – не атомный взрыв, не столкновение планет, а космическое похолодание – русский вариант Апокалипсиса?

Но нет, это еще не конец мира и не конец великого города-мученика. Это – Третий полюс. Полюс холода. Полюс голода. Полюс сверхчеловеческих мук. И над ним долгие черные ночи: белый полюс, черный флаг. Столько уже крови пролито, столько похоронено в братских могилах, столько засыпано песком и снегом, что теперь все равно: лучше черный флаг смерти, чем белый – капитуляции!

В сугробах торчат вздетые кверху руки. Не они ли просят пощады? Но метель засыпает их, засыпает.

И саночки по всему городу скрипят, скрипят. Будто тысячи людей впали в детство, пеленают друг друга, как кукол, и катают, катают на утлых детских саночках. А те, кто не впали в детство, страдают манией величия: они медленно и важно, не обращая никакого внимания на свист снарядов, идут куда-то по улицам, и их широко открытые остановившиеся глаза, не мигая, смотрят сквозь метели, туманы и мглу – в вечность.

Это апокалиптяне... Такого слова нет ни в одном языке, так пусть будет.

На перекрестке Обводного канала и Измайловского проспекта повисла на проводах и примерзла к трамвайному столбу оторванная рука милиционера с регулировочным жезлом. Она указывает на север. Впрочем, это все равно – куда: всюду фронт, тьма внешняя и скрежет орудийный, смерть.

24. Конец серого котенка

Однажды Бас пришел домой поздно вечером, пьяный и веселый, каким давно не был, стал, широко расставив ноги, посреди комнаты и громыхнул таким своим прежним басом, что «буржуйка» мелко задрожала с железным резонансом:

– Эврика! Вернее, никакая не «эврика», а просто спер всем на удивление и угощение, – и он осторожно поставил на стол бидон. По всей комнате – все теперь жили в одной комнате – разлился волнующий, сладковатый сивушный запах. Все восхищенно ахнули:

– Спирт!

Кого в такое время не обрадует удачливое воровство, да еще такого бесценного «продукта»?

– Где и как? – спросили коротко. Ответ Баса был так же краток:

– Где – там уже нет, а как – весьма нахально, – он считал ниже собственного достоинства рассказывать подробно о том, как он два часа выслеживал на базаре какого-то «спикуля» с этим бидоном, пока не удалось «слямзить».

Спирт пили неразведенным, молча, только глаза блестели. Бас выбухивал удовлетворенно и снисходительно:

– Вдохновляйтесь, господа неврастеники, жрите, господа скотинины, краснейте, лакмусовые лакомки – аж пока не посинеете. А где, кстати, Митька? Опять две ночи не ночевал? И увольнительную записку не спрашивал? Снять его со спиртового довольствия. А впрочем, на всех хватит – почитай литров десять в бидончике-бездончике.

Саша, захмелев, дергал Баса за рукав:

– А не находишь ли ты, что наша гоп-компания – зародыш будущего, уж не знаю, как его и назвать, общества: ведь у нас все твое – мое, все наше – не наше, и сами – сами не свои.

– Да-а, – соглашался Бас, – Некрасов может спать спокойно: Коммуна – Руси жить хорошо. А наше боевое содружество напоминает мне табун лошадей, которые по тревоге всегда становятся в круг и отбиваются задними ногами («дают задки») – от волков, сексотов и прочих неприятностей. Недаром мы остались одни, самое вольнолюбивое казачество. А где все маменькины сынки со второго и третьего курсов, не взятые в армию по маломощности? За мамины юбки попрятались? Вымерли? А мы – красуйся, град Петров, и стой!

Перед сном, засветив коптилку – фитилек в банке с керосином, играли в «очко» под будущие, увеличенные воображением, пайки хлеба. Басу, как всегда, – везло: он выиграл несколько пудов, а Саша проигрывал и, ворча и злясь («Все равно не отдам»), первый «вылез» из игры, опустив хмельную голову:

– ...уж лучше, как говорила моя мама, вечно недовольная советской властью...

И лег спать.

Дмитрий с трудом добрался до общежития. Теперь весь город ходит пешком. Редкие автомобили даже в голову никому не приходит останавливать, но кто половчее – ухитрится уцепиться за борт где-нибудь на повороте, когда шоферы тормозят. Но если не сумеешь подтянуться на руках и влезть в кузов – дело плохо: на руках долго не повисишь, сорвешься. Но и сидя в кузове, надо не прозевать, если шофер повернет не туда, куда надо, чтобы вовремя соскочить с борта на повороте. Часто шоферы не тормозят и на повороте – «газики», как необъезженные кобылицы, сбрасывают неудачливых седоков. Дмитрия сбросило где-то у Сенной площади. Потирая ушибленное колено, дал себе слово отныне ходить пешком.

Медленно поднимаясь по темной лестнице, оскользаясь на обледеневших ступеньках, коснулся головой чего-то висящего. Пересиливая противную и непонятную дрожь, поднялся ступенькой выше, снова зацепился плечом, досадливо боднул головой тьму – и сильно ударился

лбом... о сапоги. Инстинктивно ощупал их руками – смерзлись. При свете спички видны были дыры в подошвах... Над лестничной площадкой висел обледеневший труп, как огромная черная сосулька. Раскачиваясь, он с тихим звоном ударился о стену. Дмитрий едва не бросился бежать вниз, но открылась дверь и узкая полоска света, словно из далекого костра в пещере, линула его лицо. На пороге стоял Саша.

– Что, висельник тебя напугал? Иди, не бойся, он никого не трогает.

Дмитрий подошел к своей кровати и хотел сесть, но Саша предупредил:

– Смотри, не сядь: тоже один студент, вернее – труп. Университетский. Пошел на фронт добровольцем, вернулся доучиваться, раненым и голодным. Прилег на часок, а уснул вечным сном – сном победителей, сном мертвецов... Не помню, Реми де Гурмон или другой какой гурман и жизнелюбец сказал эту мертвящую фразу.

– А висельник – кто?

– Тоже чужой студент. Попросился переночевать, мы пустили. Спи, только есть не проси. Он и не просил. А ночью взял мой ремень и повесился на нем, негодяй. И записку, как полагаются всем порядочным самоубийцам, оставил. Я ее сохранил на память, как документ эпохи. Вот, смотри.

На измятом клочке бумаги было написано ровным красивым почерком: «Я не хочу ждать, пока нас победят немцы и голод. Умираю непобежденным. Да здравствует Северная Пальмира! Александр Дежнев».

– И это все?

– Да, это все.

– Как жаль. Очевидно, он был поэтом: за Северную Пальмиру умирают только поэты, за город Ленина – юнцы и партийцы, за Питер – рабочие.

– Да ты что же стоишь, Митрич? Садись на мою кровать, не в гостях. Хочешь, я тебе расскажу повесть о бывшем сером котенке? «Бывшем» – потому что мы его съели. Сподобились. Зверью уподобились... Видишь: все наши спят. Храпят-то как. Словно во сне что-то берут нахрапом.

– Да ты рассказывай толком, а то мне что-то не верится.

– Хорошо. Жила-была (и есть) старушка на третьем этаже, под висельником...

– А почему не уберете его?

– Охота была – возиться. Пушай его висит, милиционеров отпугивает. Как увидят – так в сторону. Но слушай дальше. А у старушки жил-был серенький котик... Она каждый вечер выводила его погулять на лестницу. Симпатичный такой был, пухленький, кругленький, в пятнах. Понравился он нам. Особенно мне: впрямь как мой серенький котенок, которому я стихи писал. Первым его, конечно, заметил Бас. И пожалел он, как волк кобылу, старушку: ведь по нашим временам, чтобы такую скотинку кормить, от себя нужно последние крохи отнимать. Решил он избавить ее от этой обузы. И мы все решили. Стали караулить: важно было, чтобы котик самостоятельно прогуливался, без всякой старушки. Дошла очередь до меня. Вышел я на пост, как Иван-дурак за Жар-птицей. На мое счастье, старушка выпустила котика одного, без себя. Я был во всеоружии: с мешком и с палкой. Для чего палку взял, не знаю, но не для старушки, конечно, не подумай. Котик, правда, был вполне серьезным и взрослым котом, и к тому же благовоспитанным. Он понимал, для чего его выпускают на моцион, и шел в угол.

Когда я к нему подошел, он, видимо, сразу почувствовал неладное – ка-ак окрысится на меня. Хотел даже спинку выгнуть, да не мог от слабости – только шерстка дыбом встала. Я это оценил, но делать было нечего. Накрыл его мешком, и прю потихоньку. Попищал он, поцарапался, да и затих. Собрались мы все вокруг него с преступными и лицемерными физиономиями. Щупаем его, по головке гладим, а он шурится, мурлычет о чем-то. Жаль скотинку.

Начали совещаться: как быть, как варить. Бас говорит – варить его целиком, как есть, в натуре – в чугуна. А Чубук, тихоня, – нет, говорит, сперва его прикокнуть надо – не звери же мы.

А Бас на своем стоит. Я, говорит, и есть на сегодняшний день зверь. Погоди, и до тебя, Чубука, очередь дойдет. Вот тебя правда сперва надо прикокнуть, чтоб в милицию не успел донести.

И вдруг Сеня Рудин, этот жалкий тургеневский тип, заявляет:

– Я знаю, что делать. Мой отец на войне работал. Сперва, как правильно сказал Чубук, эту скотинку убить надо. Это совершит Бас. Затем я ее освежую, освежив, таким образом, воспоминания о детстве, отце, мамаше и прочих дальних, в смысле расстояния между нами, родственников (каламбур мой). А шкуру выбросим.

Это меня возмутило. Как это – выбросить шкуру? Разве в ней нет питательных веществ? Это вы бросьте – выбросить. Бас меня поддержал:

– С него самого шкуру надо спустить, чтобы он тут, в такое критическое время, либеральные идеи не разводил. Все сожрем! Люди как боги? Кто сказал? Чепуха. Люди как звери – это звучит гордо.

И я, такой мечтательный и мягкотелый я, поощряемый такой грубой и сильной организацией, как Бас, плел невесть что:

– Все сожрем! С ножками, с рожками, с ручками, с перышками, с глазками...

Все же, после продолжительных дебатов, решили шкуру пока отложить. Вот и вся повесть о сером котенке. А вон под столом и шкура зверя. Все остальное сожрали и напились вдоску.

– И спирт достали?

– Да. Бас где-то спер, целый бидон. На твою долю почти два литра.

– А котенок вкусный?

– Объеденье! Как крольчатина, телятина, баранина – и вообще, как котлеты. Жаль, что ты не подоспел, а то бы тоже сподобился. Рано разбудил. Ведь мы спим до обеда. А теперь мне сразу жрать хочется. Странно: кажется, ко всему человек может привыкнуть, а вот к голоду – никак.

Дмитрий достал из кармана кусок хлеба (пайковый), по-блокадному, завернутый в тряпочку:

– Вот у нас есть и закуска. Выпьем для аппетита. Оба сначала выпили, а потом медленно сжевали хлеб. Саша удивлялся:

– И как это ты не съел по дороге? Это же подвиг. Спасибо, дружище. И чем тебя благодарить?

– А спиртиком.

– Ну, это же наше, общее. А впрочем, как теперь все говорят, после войны рассчитаемся.

– Напиши новое стихотворение серому котенку, съеденному, и посвяти его мне.

– Не смейся. Мне кажется, что конец серого котенка – это конец и мне как поэту. Настоящий поэт имеет право делать зло только самому себе, в чем, надо сказать, поэты всех времен и народов весьма преуспевали. Современники похитрее, но тоже хороши... Я забыл рассказать тебе самое главное: старушка ползала по всем этажам с призывным воплем: «Ва-ся! Васенька!» Мы все Чубука толкаем – откликнись, скотина! Старушка не знала, что котенка уж не Васей, а Митькой звали. Теперь у меня в животе все время что-то урчит-мурлычет: не то совесть, не то котенок... Как я рад, что ты пришел. Я тебя понимаю: трудно жить на два дома, если расстояние между ними – сто верст до небес, и все пехом.

На лестнице кто-то чертыхался тонким голосом, всхлипывая.

Это была Сара.

Как она стала кассиршей – никто не знал, кроме Баса, с которым она давно уже была, как сплетничали еще в мирное время, «в состоянии романа». О том же, в каком состоянии пребывал этот роман, – сам Бас помалкивал. За несколько дней до того, как сесть в вертящееся кресло, она призналась Басу:

– Он меня соблазнил.

– Кто? спросил Бас грозно.

– Да этот самый, как его, директор «Баррикады». Я сидела и смотрела на него, и думала: еврей или великий-непобедимый, си-речь русский народ? Он заметил мой взгляд, задумчивый и нежный, подошел и спрашивает: «Не знакомы ли вы с работой в аппарате советской торговли?» Я говорю: во-первых, я не знакома с вами, во-вторых – с этим аппаратом, в-третьих, я не прочь познакомиться с первым и со вторым.

– Кто ж кого соблазнил? – недоумевает Бас.

– Он же, а то кто? Он же мне предложил переселиться к нему жить. Я пообещала – когда-нибудь, через некоторое время. Мне – лишь бы пожрать, хоть несколько дней.

Потом кучерявого красавца, директора «Баррикады» взяли на фронт. Теперь новый директор сделал ревизию и нашел, к ужасу кассирши, что не единичные фальшивые талоны теряются в массе «правдешных», а наоборот: в массе «оригиналов» тонут «подлинники». Сара пришла предупредить:

– Меня снимают с работы, а вам всем я не советую пока появляться.

Она то всхлипывала, то шмыгала носом со знаменитой горбинкой. Саша накинул ей на плечи одеяло.

– Замерзла, бандитка? Смотри – даже глаза твои голубые посинели от холода. Ничего, будешь жить с нами, благо, что мы спим не раздеваясь, – как некий

*Город спит, не раздеваясь,
Не снимая даже крыш...*

Мы тебя за человека, то есть за женщину, не будем считать. Хочешь? Подавай заявление о приеме в нашу коммуны. И вот выпей стаканчик.

Выпив, Сара стала веселее. Ее матово светящееся, по-прежнему красивое лицо порозовело. Глядя на нее, Дмитрий думал: «Какое счастье для мужчин, что такие красавицы иногда не сознают всей силы и власти своей красоты».

– Я хочу выпить еще. Гидальго, – так она называла Дмитрия, – наполните, пожалуйста, бокал. Я хочу быть пьяной в дым... Кто это – в дым? Как печники и трубочисты. Плотники бывают пьяны в доску, стекольщики – вдребезги, попы – до положения риз, отсюда фамилия Ризположенский, сапожники, самые большие пьяницы, – в стельку и как сапожник, а мы, студенты, – как все эти работнички вселенной вместе взятые. Правильно я говорю, гидальго?

– Одного не пойму, донна Сара, как это ты не испугалась висельника?

– Ах, да! Я забыла. Я испугалась, потому и заплакала, а потом забыла. И почему не убиваете?

– Если ты повесишься у нас, сразу уберем, – пообещал Саша. – А пока мы решили: пусть соберется этакая труппа из трупов – мы их вместе и отправим на тот свет.

– А разве они – это самое – еще не на том?

– Кто же знает, детка моя. Все там будем, как говорила моя мама, вечно недовольная советской властью...

25. Бытие

*«...пойдите туда, купите нам оттуда хлеба,
чтобы нам жить и не умереть».*

Из книги Бытия

– Энгельс, которого я всегда считал выше Маркса, сказал, что бытие определяет сознание. В моем детстве сознание определялось также битием. Теперь не только сознание, но и вся жизнь определяется добытием. Чем больше мы добудем, тем дольше живы будем. Поэтому я и предлагаю Митькин проект добычи капусты в обмен на спирт принять к исполнению. С верой в наше правое дело, с надеждой на успех, под чутким руководством Алкашки, а также партии и правительства, – я ставлю на кон свой еще целый литр и вызываю на соцсоревнование по спиртосдаче вас всех! – Бас тяжело вздохнул, – ему все же не хотелось отдавать спирт, – сел на кровать.

И всем не хотелось, но все согласились, как с делом государственной важности. Только осторожный Вася Чубук посоветовал не рисковать всем запасом спирта, а «выделить на это дело» не больше двух литров. Все с ним охотно согласились, а Сеня Рудин добавил:

– Тем более, что какая-то девчонка когда-то рассказала ему, Алкашке, про какие-то бараки за Володарским мостом. Может быть их уже давно снесли, эти бараки, да и мост тоже?

– Ну, ладно, смотри, как бы тебя тут самого не снесло, – обиделся Дмитрий.

На этом утреннее «производственное совещание» закончилось, а поход Дмитрия и Саши за капустой начался.

До моста дошли только в полдень и остановились в нерешительности. Очевидно, сам мост был под обстрелом: снаряды рвались близко на берегу и в реке, кромсая лед. Танковая колонна остановилась, и танки расползлись в разные стороны. Колонна машин повернула обратно. Пешеходы остановились и попрыгали в подворотнях.

– Ну, это часа на два зарядил! – с досадой сказал Саша. – Что будем делать, Митрич? Ждать? Веером начинают крыть.

– Если веером, то в нас угодить могут. Подождем немного и двинем направо. Не пустыми же возвращаться.

Саша вскрикивал после каждого близкого разрыва:

– Недолет!.. Перелет!.. Избушка – дым... Барак – прах... Не наш ли Алкашка?

– Нет. Наш дальше, за поворотом шоссе. И не забудь: красные ставни.

Вскоре обстрел прекратился. По мосту прошло два десятка танков, колонна автомашин и несколько пешеходов.

Подойдя к мосту, Саша гордо посмотрел в сторону фронта, поднял руку и звонко командовал:

– Вперед! За капусту! За Ста... – и поперхнулся.

– Богохульник. Опять хлебнул? Покажи-ка бутылку. Что же для капусты... – Дмитрий не успел договорить. Над головой с оглушительным шипением пронеслась масса раскаленного воздуха. Падая, он подумал, что ему оторвало голову. Сашу отбросило к перилам. Он поднялся, отряхнулся от ледяных осколков – ими засыпало весь мост – и перекрестился:

– Прости мне, Родина, этот цинизм: капусту и прочее... Ты простишь, я знаю. Родина все прощает своим блудным сынам, если они ее любят. Митька, ты встанешь сегодня или нет?

Дмитрий еле встал, но через несколько шагов пришел в себя. Пока шли по мосту, еще пять-шесть снарядов разорвалось вблизи, обдавая мелкими осколками льда. Саша ворчал, грозя кулаком в сторону фронта:

– Погоди, фриц, мы тебя не такими осколками закидаем. Мы тебе до самой смерти этого не простим.

Длинен мост, но показался еще длиннее. Сходили уже по крутому спуску к берегу, как – снова недалекое, за синей полоской леса, пробочное «пук» – и лавина раскаленного воздуха, как падающая стена, придавила всех, проходящих по мосту. Огромная, вздыбленная в небо, перекинутая через реку железобетонная дорога вся содрогнулась от удара. Но все же устояла.

Любому дипломату, кабинетному вояке, одного такого моста хватило бы на всю жизнь: пройди он по нему – ни о какой войне не помышлял бы больше.

– Да, теперь я понимаю, что такое жизнь – вернее, жизненный путь, – сказал Саша, прикладывая снег к синей шишке на лбу и одновременно прикладываясь к бутылке, – мост, перекинутый между жизнью и смертью.

Тамарин барак нашли без труда: красные ставни виднелись издали. Им открыла краснощекая баба лет сорока – вся будто из иного, неблокадного мира. Видно, она только что мыла посуду – от ее полных красных рук шел пар, а от всей ее крепкой и ладной стати веяло добром и мягким постельным теплом, и немножко спиртом.

– Спи-ирт? – почти пропела она. Да у нас яго – хоть залейся – со всего городу нясут и нясут... Но уж привязли, так давайте. Присаживайтесь пока, – и улыбнулась ласково, слегка насмешливо. Посмотрела бутылки на свет, поставила на стол, безжалостно и небрежно смахнув хлебные крошки на пол. – Только тсс... – она приложила палец к губам. В соседней комнате кто-то могуче и сердито храпел. В углу на вешалке висели командирская шинель и портупея. Видно, ни свист снарядов, ни близкие разрывы не беспокоили обитателей прифронтового барака. Хозяйка отпила глоток прямо из горлышка, зажмурилась.

– Вот это попробовала! Мать моя родная... И где же вы такую крепость узяли? Уж так и быть, выпьем маненичко, да закусили бы, а? Детки мои...

– Дали бы, тетенька.

– Дам, дам!

На столе еще остались крошки, особенно много их было в трещинах. Саша слюнявил палец, нашлепывал крошки и отправлял их в рот. Дмитрий выковыривал их из трещин ногтем. Потом хозяйка поставила на стол три стакана и полную миску капусты. Глаза у «деток» заблестели, сочная капуста захрустела на зубах, и через минуту ее не стало. «Тетенька» глядела на них юмористически: смеясь сквозь слезы, ее белые тяжелые груди жарко вздымались, расплывшиеся в старом дырявом платье.

– Боже, как уплетают!

Выпили еще по стакану, и с первым литром было покончено. Приступая ко второму, хозяйка поставила перед ослоловевшими гешефтмахерами еще одну миску капусты, причитая:

– Господи, Боже мой, хлебушка-то у нас нет, как жаль.

Друзья оживленно обменивались впечатлениями.

– Так засолить капусточку могла только моя мама, изредка недовольная советской властью из-за неурожая в огороде.

– А я никогда не думал, чтобы от такой кислятинки на душе становилось так сладко...

– Я в ваши годы еще слаще была, – вдруг сказала хозяйка.

– Да вы и сейчас ничего себе, – польстил Саша.

– Себе – не вам. Сколько ж вам дать с собой? И в чем? Она же потечет.

– Ничего. Потечет, потечет, да и замерзнет.

– И то правда. Ну, я полезу в подвал. Ктонибудь помог бы мне. С полпудика дам. – Саша пошел с ней. Вернулся только через полчаса, покрасневший, чем-то недовольный:

– Поди-ка ты теперь. Я устал, да и не получается у меня ничего.

– А что ж там делать? Бочки ворочать?

– Да, бочку ворочать...

Подвал был жилой, как комната, с буржуйкой, столом и кроватью. На ней, на пестром лоскутном одеяле сидела добрая женщина:

– Иди, иди, голубок, не бойся. Капуста подорожала нынче.

Провожала она их ласково, приглашала еще, советовала:

– Только не по мосту прите, а по низу, по льду. Я и то удивляюсь, как это вас патруль не задержал? Ведь здесь еще с осени фронт, и с тех пор штатским типам запрещено появляться.

Возвращались все же снова по мосту под сплошным обстрелом. Падали, поднимались, шли – пьяные. На том берегу их встретил военно-морской патруль, но пропустил молча: слишком уж у них был по-блокадному приличный вид: не в меру худы, в меру оборванны. Самое страшное было позади, а мешочек с капустой давно уже стал куском льда, но согревал сердце. Саша бодро напевал:

– Мы по бережку идем,
Песню Сталину-солнышку поем.
Ой да ая-яй-да!..

– Молчи, – одергивал его Дмитрий, – или опять хочешь наклепать снаряды на нашу голову? И не думай, что я тебе прощу сегодняшнюю историю. Сам влип, и меня втравил.

– А что ж было делать, – оправдывался Саша, – она пригрозила, что если ты не придешь, не даст капусты. И вообще это тебе за мою окопную любовь. Смеется тот, кто смеется, подумав: над чем смеяться и зачем!

– Хорошо, – примирился Дмитрий, – спишется за счет войны, капусты и спирта. Пьяные все же были. Только смотри, никому не рассказывай...

Но разве мог Саша удержаться? Сначала его все коммунары слушали молча и недоверчиво, потом подняли такой веселый шум, что старушка пришла спросить, не нашли ли котенка. На радости дали ей немного капусты, предложили и спирту, но она отказалась: «Нельзя, детки, Рождественский пост».

Больше всех восхищался Бас, всегда склонный отмечать успехи других:

– Вот это – добытки! Сказать-признаться, и в моей практике такого не было. И спирт сами ополовинили, и капусты достали, и с тетенькой развлекались, а главное – «явку» организовали. В другой раз я поеду один.

– Пошляки, шалопаи и хамы, – сказала Сара и, дожевывая комочек капусты, поднялась уходить. – Хотела остаться у вас ночевать, но теперь – ни за что.

Ее не удерживали – знали, что завтра все равно придет варить щи. Бас сказал ей вслед:

– Никого не бойся, кроме меня, а я так и так на тебе когда-нибудь женюсь.

Но Сара не пришла ни на следующий день, ни через неделю. Она пропала.

Дмитрий ушел к сестрам, взяв с собой немного спирту и капусты. Еле дошел и слег. «Прострел» не давал покоя, или поход за капустой по такой «густо пересеченной местности» не прошел даром.

По утрам Тамара ходила за хлебом в сестрин магазин. Нина всегда отпускала ей хлеба вдвое больше, чем полагалось по талонам, сама же не имела права выносить из магазина ни куска.

Ели раз в день. Весь хлеб (500 граммов) Тамара «вбухивала», по ее выражению, в тюрю, т. е. крупно крошила его в миску с теплой водой и густо солила. Вечером пили «чай» – кипяток с солью, изредка с конфетами.

В первые дни блокады мало кто думал о том, что не станет хлеба и будут умирать с голода. Все спешили запастись солью, благо, что в магазинах ее было полно и стоила она копейки.

Соли хватило на всю блокаду. Она и погубила многих. Ее ели, как хлебные зерна, пили воду, опухали.

Нина была сыта на работе, дома пила только чай, если были конфеты (сахара в магазинах не было – весь стгорел на Бадаевских складах). Целыми днями Дмитрий и Тамара сидели дома. К ним повадился ходить управляющий домами их улицы, старый партизан Малиновский. Первый раз он пришел по долгу службы: узнать, что это за «двоюродный приятель» ночует так часто у сестер, а потом, видно, понравилось. «Или учуял что своим длинным носом?» – думал Дмитрий.

Малиновский был страстный и нечистый на руку картежник, весельчак и циник. В гражданскую войну партизанил где-то на Дальнем Востоке. С тех пор у него остался большой шрам на щеке, буденовские усы и привычка спрашивать ни с того, ни с сего у всех:

– Ты за кого, душа любезный, за красных или за белых?

Осталось у него и еще немало привычек, помогших ему быстро разбогатеть в дни блокады. Он руководил бандой подчиненных ему дворников и управдомов помельче, которые грабили пустые квартиры, продкарточки умерших присваивали себе.

Малиновский был вечно грязен, небрит и откровенен.

– У меня мечта, – говорил он Дмитрию, – если придут немцы, открою ресторан или женское заведение, если победят наши – отдам деньги на заем пятой или десятой пятилетки. Пусть обо мне тогда в газетах пишут и читают.

Маленькие его бесцветные глазки всегда поблескивали, прячась в глубине мясистого, заросшего, почти безлобого лица.

– Удивляюсь я на вас, – говорил он Дмитрию с усмешкой. – У вас такая ценная приятельница-булочница, а вы ходите весь такой ободранный и весь такой голодный. Хотите, мы с вами организуем так, что и сыты будем, и пьяны, и нос в табаке? И золотишко приобретем. Полкило хлеба – золотые часы, еще полкило хлеба – еще золотые часы, и так далее. Раскошеливайтесь, буржуйчики недорезанные, если жить хотите.

Слова Малиновского неприятно поразили Дмитрия, он терялся в догадках: «Что это – сексотомания, или советы опытной, подлой старости: как жить, вернее – как выжить?»

– Надоть действовать, соображать кое-что, – твердил Малиновский, – через вашу драгоценнейшую подругу. Я предлагаю вам свой опыт и помощь.

Дмитрий отказался:

– Моя подруга не такая уж «ценная», как вы думаете, но если бы даже мы имели лишний кусок хлеба, то съели бы его без промедления. Когда я ем – я чувствую, что живу, когда курю – живу с удовольствием, а когда немножко выпью – на седьмом небе. Что же мне даст золото? Вот вы больны цингой, как и я, хоть и не в такой степени. А что стоит одна луковица?

– Не котируется, – серьезно ответил Малиновский. – Во всем городе вы не найдете ни одной луковицы ни за какие деньги. Ни морковки, ни яблока, никакого другого фрукта.

– Такого фрукта, как он, не только во всем городе, а, на мой взгляд, в целом свете не найдешь, – говорила Тамара, не терпевшая «этого старого хрыча управдома».

Иногда он кричал, едва переступив порог:

– Ух, как она поднялась! – Или шептал тревожно:

– Падает, стервоза желтобокая.

Речь шла о «николаевской десятке» – десятирублевой золотой монете. Бывший борец против капитализма играл на золотой бирже Голодного рынка.

– Эх вы, жалкий пережиток капитализма! – упрекал его Дмитрий.

– Ну и пусть пережиток, – соглашался он, – вот и переживу вас всех, комсомольцев. Что, выкуси? Сильнее нас всех этот пережиток.

Он никогда не засиживался:

– Спешу, лечу! Масса дел. Счастливо вам оставаться, влюбленная парочка.

– На мой взгляд, на мой счет вы ошибаетесь, – возражала Тамара, но он не хотел и слушать:

– Знаем, все знаем, старого воробья на мякине не проведешь. А если еще нет, так будет, попомните мое слово.

– Старый хрыч, – ворчала Тамара, – и чего ему от нас надо? А все ты виноват, Митя. Не приваживал бы – он бы не приходил.

– Прости, я виноват, – согласился Дмитрий. Этот явно преступный тип интересовал меня, так сказать, с литературнохудожественной точки зрения, а теперь я не знаю, как от него отделаться. Взяла бы ты эту миссию на себя.

– Какую комиссию? Выпроводить его? Ладно, попробую.

На пробу Малиновский нарвался сам: попробовал ущипнуть Тамару «за одно место» – рассказывала она потом Дмитрию (он тогда спал), – и был выставлен за дверь.

– Руки прочь от Советского Союза – сказала я и плюнула в сердцах.

– В каких сердцах, партизан ты в юбке? – спросил Дмитрий, довольный.

– Допустим, в твоём и моём.

«Второй звонок, – подумал он, вспомнив Октябрьский праздник. Кажется, старый ведун прав – если еще нет, то будет». Ему не хотелось больше думать об этом, но приятно было видеть ее ласково-смелые глаза или, не видя, чувствовать на себе их взгляд. За дни болезни понял, что если бы с ней что-нибудь случилось – пошла бы утром за хлебом и не вернулась, – он, стряхнул бы с себя болезнь, пошел бы ее искать, и один, без нее, никогда не переступил бы порог этого деревянного, чудом уцелевшего и сохраняющего его жизнь дома. «А если что случится с Ниной?» – спрашивал он себя, и отвечал поспешно: «Ничего с ней не может случиться». Лежа в постели, чаще всего мечтал, строго последовательно, об одном и том же: блокада прорвана, герой-ленинградец едет домой на отдых. Он не пишет писем, не шлет телеграмм. Он падает как снег на голову, и обязательно ночью. Если приедет днем – не пойдет домой, подождет до ночи. Он осторожно, чтобы не скрипнула, отворит калитку и тихонько постучит в дверь. Потом... Но что будет потом, он не мог себе представить. Дальше стука в дверь мечты не шли, стройный порядок их нарушался, герой засыпал.

Во сне никогда не приезжал домой, но часто видел Тоню и ее губы, всегда словно надутые от обиды, шептали ему что-то на ее, Тонином, запутанно-нежном наречии, вроде: «Это ты? Неужели!»

Я так всегда и мечтала, что вот встретимся и тому подобное, сам знаешь, зачем много говорить?»

Несколько раз на день засыпал, просыпаясь, всегда хотел есть и говорил Тамаре со вздохом:

– Одно только и остается в жизни – книги, – и читал, сладко зевая, «Княжну Джаваху».

Тамара штопала или стирала, и только через час, когда он успевал снова поспать и проснуться, с обидой спрашивала:

– А я?

– Что – ты? – не понимал он.

– Ты говоришь, что ничего не остается в жизни.

– Не смотри на меня так ужасно мрачно. Ты, конечно, остаешься. Как же без тебя? Ты же знаешь, что я тебя люблю как сестру.

– Как Нинку? Ты ее не любишь, хоть мне не втирай очки. Ей – можешь.

– Не как Нину, а вообще. Я вижу, ты в плохом настроении.

На этом разговор обрывался – Дмитрий засыпал, и Тамара умолкала, обиженная. Если было тихо, шла к соседке, спросить, не слышно ли о прибавке хлеба.

Так прошло несколько дней, прошла неделя – и Дмитрий понял, что не «прострел», не поход за капустой причина его болезни, апатии, усталости, а сама дистрофия, и в какой бы она

степени ни была – это начало конца. Надо бороться за жизнь: встать с постели, ходить, воровать дрова у давно умерших запасливых соседей, дышать свежим, хоть и чересчур, воздухом (—40 по Цельсию), сходить, наконец, в общежитие... Он встал, походил по комнате и снова лег.

День разделялся на две равные половины: до тюри и после тюри, причем после тюри пилося очень много воды. «А вот я как возьму да поднимусь, мадам Дистрофия, не знаю, в какой степени, – еще до тюри, – тогда мы посмотрим, кто кого», – грозился он, стучал кулаком в стену, но так и лежал пластом без мыслей, даже без мечтаний под заглавием «Вот блокада прорвана»... Не встал бы он и после тюри, если бы не пришел Саша с кучей новостей и литром вареного масла, без шапки (потерял по дороге), звенящий завитыми морозом косичками-сосульками. Они быстро оттаивали и по Сашину лицу стекали, если бы не грязные, то совсем как слезы, капли.

Дмитрий смотрел на него внимательно-отстраненно. «Как быстро гложет голод лица людей, – думал он, – вот Саша. Давно ли я его видел, а уже не узнать... Вот оно, лицо друга: грязно-бледное, опухшее, с усталыми и добрыми голубыми глазами, с мешками-подглазниками, будто для собирания слез. Немало он их еще до войны пролил. Вот оно, лицо друга, пришедшего к тебе на выручку. Смотри на него – и запомни навсегда».

Говорил Саша без прежних своих ужимок, без вскидывания бровей чуть не к самым вихрам, не размахивал руками, на это не хватало энергии. Но все же это был прежний Саша:

– Во-первых, мадам Сильва отравилась. Записку оставила, я ее пришил к делу. Один артист застрелился, записки не оставил, другого нашли замерзшим у нас же в подворотне, остальные полу-трупы разбежались из трупы. Веселая вдова заглянула один раз к нам на огонек, попала как раз на щи из нашей капусты, отведала, улеглась спать на моей кровати (со мной, конечно) и со словами «Такие не пропадут» – уснула. Я уснул с мыслью: «Такая не пропадет», и всю ночь чувствовал ласковое женское тело...

Тамара, хлопнув дверью, ушла. Саша, заморгав глазами, умолк.

– Ничего, это она в сердцах. Продолжай, – сказал Дмитрий.

– Утром просыпаюсь – лап, лап, а ее и след простыл. Так и пропала. Наверное, где-нибудь занесло снегом. Профессору нашему, конечно, отделили спирту, капусты и вареного масла. Благодарил, спрашивал о тебе. Я ему наше путешествие так расписал, что он здорово смеялся. Тихонько, правда.

Два великих молчальника подрались из-за табака. Бас, разнимая, поставил обоим по одинаковой шишке на лбу. Я всю дорогу думал об этой драке. Что, если она симптоматична?.. А самое главное – Сара исчезла. Бас побывал у ее тетки, но она его встретила весьма холодно: лежит посреди комнаты, мертвая. Бас приуныл, и все с ним. А тут еще ты пропал. Командировали меня, как друга сестрино дома.

– Спасибо. А как же масло достали?

– Это Чубук отличился, раз в жизни. Он последнее время в Домтехе один работал. Заставили его там в подвале порядок навести. Он и навел. Увидел бочонок с этим маслом – и к нам. Не теряя времени, пикируем, по-одному, в подвал. Атам Чубук уже и разливку затеял. Так, в два-три захода, бочонок опустел. На нем было написано: «Олифа подсолнечная». Я эту надпись стер. Противно читать. Что значит – олифа? Масло, да и все. Сойдет за масло. Уже сошло: на пробу вынесли два литра на рынок, взяли за них почти два килограмма хлеба. И странное дело – говорят, теперь олифа по всему городу пошла, будто с нашей легкой руки, и даже цена осталась, какую мы установили случайно: кило хлеба за литр.

Вечером Саша принял посильное участие в добыче дров и семейном совете за чашкой соленого чая. Нина была молчалива и грустна, но последнее слово, решившее проведение операции «Мертвая конская голова», принадлежало ей; она давала хлеб, как главный залог успеха: целый килограмм! Пол-литра олифы и почти литр спирта тоже были, по общему мнению, «не пустяк».

Идею операции предложила Тамара, название дал Саша. Вдвоем они и пошли ранним утром в ночную тьму. Сначала Тамара получила в булочной у Нины хлеб (очередь, к счастью, была невелика), потом повела Сашу по узким и запутанным переулкам с редкими уцелевшими домишками, похожими на темные сугробы, к цели операции: конюшне «Гужтранса».

– Главное – проскочить сквозь проходную будку, а там уж я спрошу дядю Васю, – сказала Тамара таким тоном, что Саша понял: командовать будет она. Дядя Вася был сосед-извозчик, еще с осени перешедший на «конюшенное положение», о котором сам говорил, что нет положения более свинского. Недавно в очереди за хлебом осколком снаряда убило его жену, и он с тех пор не приходил в пустую квартиру.

– Он меня любит с детского возраста, – сообщила Тамара.

– Своего или твоего? – не понял Саша.

– Боже, как вы глупы. Но он ничего сам не может нам дать, потому что у них, как у вас в общегитии: твое – мое и всяческая круговая порука.

Проходная будка была выше и шире любой собачьей и оказалась легко проходимой; только сугробы угрожающе высились по сторонам, сама же она стояла пуста и темна. Тамара обиделась: операция начиналась слишком неинтересно легко. В углу большого, как поле, двора, кто-то выругался, так по-извозчичьи, что даже Саша ничего не понял. Зато Тамара поняла, что это «выражается» ее дядя Вася. Она выпалила ему одним духом:

– Мы к вам в гости по делу: насчет конины на хлеб, спирт и масло.

Они вошли в тесную конторку, где у раскаленной печурки сидели извозчики и о чем-то усиленно молчали, как умеют молчать только советские извозчики, потому что возят не людей, а грузы. Они главным образом курили: жерла свернутых из газеты огромных, как коленчатые трубы, козых ножек дымили пушечно, пламенели доменно. Все «дяди» были похожи друг на друга: красные морды, красные руки, бороды от глаз до груди, вонючие тулупы и неснимаемые шапки-ушанки. Двое, сидя за столом, что-то ели из горшка, незлобиво ворча друг на друга:

– Балу-уй!

– Прими! Ложку свою прими...

Как непохожи эти люди на апокалиптян, что так важно и гордо ходят по городу с неподвижными смертельно спокойными лицами-масками и пустыми глазами, устремленными в вечность. Это люди каменного века с каменным выражением животных лиц, пещерные обитатели возвратного первобытного коммунизма.

При виде спирта их каменные лица оживились, и начался сложный и хитрый торг. Вечером, за сытным ужином, Саша рассказывал о нем так:

– Тамара мне шепчет: «Торгуйся с ними, ты же мужчина». Какой я мужчина – я и сам не знаю, но все же довольно храбро вступил я с этими бородами в переговоры. Долго переговаривались. Я им для начала и о политике загнул, и о немцах, и о лошадях – дескать, все мы понемножку лошади, как у Маяковского, но потом понял, что все это напрасно. Как только приступили к делу, они обо всем забыли. Единицу, говорят, на единицу – и все тут. А я не пойму, какую единицу? Весовую единицу, оказывается: мы имеем литр спирта, кило хлеба и полкило масла, всего два с половиной кило, а они нам дают столько же мяса. А мы требуем вдвойне, да еще с хвостиком, – прибавил я. Под столом у них, я видел, лежали голова, ноги и хвостик – от жеребенка, наверное. Рожки да ножки... Этим хвостиком я их и сразил! Бери, говорят, хвостик. Дали нам, не взвешивая, голову и хвостик... Предложили и каши отведать из отрубей, – объединенческая. Я обнаглел, попросил еще и этих отрубей. «Нет, отвечают, – не можно. Потому – нет заботы о лошадях: корму дают мало, а работы завались. Ведь мы трупы собираем по улицам. Есть места, где на машине не подъедешь, а мы свободно можем». Так и не дали. И спиртику не поднесли, а при нас уже начали пить. Не то, что наша капуста красавица. Бросив последний печальный взгляд на макуху (сиречь дуранду), что лежала на столе

плитками (говорят, слаще шоколада), гордо удалился. С хвостиком. Даже с двумя: за мной, задравши нос, важно следовала Тамара.

Последнее Тамара опровергла:

– Не он, совсем и не он, а совсем я вышла первая. И хвостик я взяла, и обмахивалась им, и, прикидываясь девочкой, пищала: «Хвостик – мой, никому не отдам, никогда, ни за что».

– Так или иначе, задача выполнена, – сказал Саша, – и я надеюсь, что девочки сварят чудный холодец, или студень, как они называют, все равно, это здоровая русская пища, и я отнесу по кусочку нашим гурманам, если Нина разрешит. Мы там тоже все на конюшенном положении – на Конюшенной улице.

– Конечно, Саша, отнесите им, сколько захотите, – сказала Нина. – Причем тут я, сами же доставали.

Давно не ели так сытно и вкусно. Октябрьский праздник – после него прошло почти два месяца – не мог сравниться с этим пиршеством.

– Первый раз в жизни! – сказал Саша.

Тамара подкладывала Дмитрию лучшие куски, приговаривая:

– Ешь, болезный, выздоравливай.

Ему это не нравилось, но молчал, думал: «Да, такое бытие, действительно, определяет сознание: только и думаешь о том, чтобы пожрать. Но все же я не хочу съесть больше других и пихну Тамару под столом ногой, чтобы она не делала глупостей»,

Но не пихнул.

26. Дочь России

Генерал все же добился своего: Тоню откомандировали к нему, в армейский госпиталь, еще до Октябрьского праздника. С госпиталем своим она рассталась без особого сожаления, да он уже и не был ни военным, ни морским и перешел в ведение городского совета.

Генерал принял ее любезно, кротко и решительно. «Пусть хоть тебя убьет, но у меня под боком», – сказал он. На этом аудиенция была закончена. Генерал был занят сочинением очередной петиции в Москву – о том, что его армии надоело быть «недвижимым имуществом командующего фронтом», что она рвется в бой и т. д., и что, между прочим, самолеты снова сбросили заплесневелые сухари. Но, вспомнив, что жителям города и таких не сбрасывают, вычеркнул сухари и поставил кляксу. Подумал: «Кого же мы защищаем – город или жителей? Еще два-три месяца, и никого не останется, если верить слухам. Нет, мы защищаем не жителей – большинство из них когда-то могло бы сражаться в наших рядах, – а город. Но что же город? Ключ к победе или поражению? Нет. Тупик – да, и мы, если продержимся еще немного, найдем из него выход. Тогда мы преклонимся перед теми из них, кто останется в живых – там, в этой каменной гробнице, и попросим прощения за то, что плохо воевали и жрали сухари. А город – он для меня, и для командующего фронтом, и для доброго десятка генералов, а если копнуть глубже, посочувственней, – почти для всех: Северная столица, символ славы и мощи России, святыня, и в душе никогда не переименованная...»

Выходя из штабного дома, Таня услышала, как машинистка жаловалась адъютанту:

– Вот чудак наш генераша: как будто не знает, что у моей машинки нет на вооружении ни вопросительного, ни восклицательного знаков. Лепит их где попало, и в конце обязательно клякса. Сколько раз ему говорила: поменьше эмоций...

Развязный тон пышноволосой и пышнотелой «пишмаши» задел Тоню, но промолчала («меня не касается») и только косо посмотрела на ее выкрашенные в гоголевский цвет – брусники с искрой – губы.

Один раз разрывная пуля легко коснулась груди суровенькой фельдшерицы, другой раз ее чуть не убило снарядом, и совсем не под боком у генерала, и он никогда не узнал об этом. Только через полтора месяца сам пришел к ней в палатку и, неловко сунув плитку шоколада в карман полушубка, велел собираться в город:

– Съезди. Посмотри, как там. Все узнай. Слухи, сама знаешь, какие ходят – непонятно, верить им или нет. Будто уже до людоедства дошло. Действуй как военный разведчик или, на детском языке, – шпион. Заметь, какие разрушения, узнай, какие заводы еще работают, какая приблизительно смертность. Ты должна все узнать.

Тоня с недоумением смотрела на его большое, привычное, чуть не с детства, лицо, невольно отмечая новые морщины – борозды на высоком лбу и морщинки-скорбинки у рта.

– Неужели даже ты не можешь узнать правды?

Родственно-зеленоватые глаза генерала сузились, дрогнув бессонными красными веками, и словно выжали слезу – так заблестели.

– Все врут, все врут – по долгу службы. Прямо хоть к шоферам обращайся! Но те врут еще больше, только в другую сторону. Поезжай, детка, как моя дочь, как дочь России – понимаешь?

– Ну, хорошо, я поеду, узнаю, – согласилась она, – но что изменится от того, что ты будешь знать правду?

– Не во мне одном дело. Теперь даже заведомые негодяи и подлецы людьми становятся: война перевоспитывает. От жестокой правды злее и умнее будем. Нашу русскую дурость надо шапками закидать. Враг превзошел все ожидания... Поезжай с Богом.

– С каким богом, с Марсом?

– Хоть и с Марксом. Во что-то верить надо. Но лучше в настоящее, чем в какую-то доктрину. Пойдем, возьми у моей машинистки твои бумаги, они должны быть готовы. Будешь ехать попутными машинами, как будто не от меня. И еще – чуть не забыл – зайди домой, если дом цел. Там в желтом чемодане, на дне, найдешь пачку писем. Сожги ее. Это письма одного моего старого друга – генерала. Все думали, что он погиб, а он, по слухам, перешел к немцам. Вот я и не знаю: подлец он, неудачник или Дон Кихот... Ну, отправляйся. Провожать не буду – чином не вышла. Смотри там, чтоб тебя не съели. Тогда не показывайся мне на глаза даже во сне.

Тоня пошла по новой, свеженатоптанной дороге, начинающейся от штаба армии, мимо заброшенных, занесенных снегом дач, избышек и палисадников. На дощечке указательного столбика, воткнутого в снег недалеко от штабного жилья, черными, словно траурными буквами написано: «Ленинград. 60 км».

Обрадованная неожиданным и почетным заданием генерала, она все шла и шла, не останавливая проезжающие грузовики, пока какая-то полуторка сама не остановилась, поравнявшись с ней. Из кабины высунулась пилотка с отмороженными ушами и рука с потрескавшимися пальцами. Шофер, красный (от мороза) молодец лет двадцати двух, окинув «сестричку» взглядом опытного в прошлом форштадтского ухажера, пригласил «разделить с ним путешествие, если хотя бы слегка по пути».

Газик, тупым носом рассекая снегопад, легко подпрыгивал на ухабах мимо невысоких холмов, покрытых тощей карельской хвоей. Шофер едва успевал показывать:

– Мы проезжаем Тосково... Парголово... А вот, обратите внимание, Черная речка, где, как всем известно, был убит Пушкин... А вот и город. Острова... Каменноостровский проспект, Троицкий мост...

– Спасибо. Дальше я знаю сама, – перебила Тоня. – Ссадите меня у арки Главного штаба.

– Очень слегка рад доставить вас по назначению, – сказал шофер, галантно открывая дверцу кабины.

Тоня снова вступила на блокадную землю, политую кровью, покрытую грязным обледеневшим снегом и трупяными наростами. Трупы, трупы... Они чернеют на снегу во всевозможных позах, высовывают руки из сугробов, а вот у пробитого бомбой вестибюля Эрмитажа стоит часовой, прижимая винтовку к груди, и глядит на прохожих стеклянными глазами. Очевидно, он был так юн – огонь мороза не сжег его белое и чистое северно-русское лицо. Он стоит как живой. «Почему же их не убирают?» – спросила Тоня прохожего, но он ничего не ответил, не обратил на нее никакого внимания. Взглянув на его лицо, она устыдилась, что побеспокоила его: это был лик святого. Правда, этот святой, споткнувшись о лежащий поперек тротуара труп, тихонько, но внятно и нецензурно выругался. «Даже у нас на фронте убирают и хоронят трупы», – машинально сказала она ему вслед. Не знала Тоня, что разница между фронтом и осажденным городом – в том, что на фронте успевают убрать трупы, а в городе – нет.

Она присмотрелась к апокалиптянам. Все они были похожи друг на друга своим жалким и величественным видом, глазами, остановившимися будто на том, что одним им открылось, будто они уже знают, что тайна смерти – это бессмертие. Они смотрят сквозь все, что встречается на их пути, сквозь себе подобных бесподобных людей, сквозь метель и дома. Сквозь дома они и ходят, по одним им знакомым пещерным проходам и тропам, из улицы в улицу, сокращая свой путь. К чему? У них один путь – к смерти.

Весь день бродила Тоня по городу, и постепенно пустела ее сумка с провизией – почти весь хлеб и шоколад раздала она апокалиптянам с подведенными смертельной синевой глазами, – и душа ее наполнялась радостью и гордостью, что это она ходит по священной земле, что это она должна рассказать людям правду об этой земле – генералу, его друзьям, армии – всем, от кого зависит судьба Города-мученика. Мало рассказать. Она должна что-то сделать, как-то поступить. «Как дочь России, понимаешь?» – повторяла гипнотически.

Шла, как во сне, порой не узнавая знакомые с детства улицы и площади. Вот горит подоженная термитным снарядом, деревянная обшивка какого-то памятника. Обшивка – пусть. Это – внешнее, оболочка. Но памятник никогда не сгорит, как не сгорит Родина-земля. Рядом горит дом, а остальные дома на площади словно собрались вокруг него, как у костра, – погреться. Пожар никто не тушит, и он то тлеет, как навозная куча, то разгорается.

На Невском разрушения еще не так заметны, но чем дальше от него Тоня шла к Театральной площади, к своему Поцелуеву госпиталю, – тем их больше. Нетронутый, без единой царапины, громоздится в небо Исаакиевский собор с заснеженным куполом, уцелели, словно в его тени, гостиницы «Англетер», где покончил с собой последний русский лирик Есенин, «Астория» – бывший приют кутил, героев-летчиков и приезжих журналистов, теперь – стационар для дистрофиков (так еще называют апокалиптян) и памятник Николаю I, заваленный мешками и камнями. Кто теперь бросит в него камень?.. Но в Сенат попала, видно, не одна бомба. Под сводом, среди аллегорических фигур с отбитыми носами, восседает какая-то уцелевшая, хотя и с копчеными окошками, богиня. «Фемида или Немезида? – думала Тоня. – Лучше Немезида на время войны, Фемида – на после».

Шпиль Адмиралтейства выкрашен в белый цвет и кажется огромной поставленной на основание сосулькой.

С неба сквозь трещины облаков пролился какой-то жидковатый свет и выглянуло само солнце – будто в дыру, пробитую только что просвистевшим снарядом. Маленькое красное солнце.

Она пошла обратно по Невскому, по дороге посмеиваясь над собой: «Тоже мне так называемая дочь России. Будто и правда – долг прежде всего: полетела прямо в госпиталь, и о доме забыла. Может, потому что это не родной дом?» – она вспомнила, как в прошлом, на Кубани, подходила с матерью к родному дому и прежде всего увидела и узнала переплет старого окна – так, видно, врезался он ей в душу с детства. Но вспомнила также, как скучала по городу за два месяца на фронте, такому близкому и далекому, оторванному от своих защитников, как хотелось на него посмотреть, как даже генерал сказал: «Тянет он меня, как бездна самоубийцу». И подумала: «А если родина – бездна и пропасть, разве может она не притягивать?.. Вот встретить бы Митю, да сказать бы ему такое – сразу бы записал в блокнот. Тебе впору стихи писать, разведчик ты в юбке...»

Она шла по любимому проспекту, не поднимая глаз, от стыда за свой румянец перед редкими прохожими, и чтобы не видеть этих домов, будто стоящих в очереди за получением снаряда.

Московский вокзал стоит, оглохший от тишины, заснеженный, ослепший. Он был ее сосед, свидетель ее бурных отъездов и приездов, первых свиданий в шестнадцать лет, встреч с Дмитрием. Вот такая же мертвая, испещренная осколками, новая гостиница – Октябрьская, и широкая Лиговская улица уходит вдаль, к немцам.

Тоня вдруг почувствовала, какая глыба, какая стена тишины пала на город. У нее закружилась голова от этой тишины, ей показалось, что это не она здесь, но ее беспокойная и одинокая душа. В первый раз почувствовала она отрыв от самой себя. Не так ли отрывается душа от умершего тела?

– Надо спросить у старушки – думала она, и словно плыла куда-то вместе со всем городом, а в небе плыл воздушный корабль смертельной тишины с пробоинами от снарядов.

До дому оставалось несколько шагов. Шла, все еще не поднимая глаз. А когда подняла их – увидела повалившегося на бок льва, одного из своих церберов. Другой, словно отбежав, стоял в стороне, где вывалившаяся стена первого дома образовала проход в развалины, как в пещеры. Говорят, что в одно и то же место никогда не падает две бомбы или снаряда. Но это не совсем так. Есть города, улицы, дома, военные части и люди, над которыми война поработала с

особенным ожесточением. Этому дому, как и многим другим, соседним с вокзалом, досталось не по одной бомбе, не по одному снаряду.

– Вот, – сказала Тоня, и эхо отбросило, удесятерив, это слово, от черных развалин. Она вздрогнула и попятилась, как от нечистой силы, – а я-то боялась хлопот с открыванием квартиры, сниманием печати и всяких пломб. Теперь бомбы сами отпечатывают квартиры...

В Поцелуев госпиталь попала одна бомба, отбила от него кусок и шесть окон, как ножом отрезала. Весь он – рябой от осколков, с забаррикадированными камнями и занесенными снегом окнами нижнего этажа.

Тоня встретила двух подруг по работе, а в палате нашла и старушку – «ероиню», как ее называли Саша Ивлев и пехотный генерал – первые выхоженные, незабываемые. Подруги были бледны и худы, даже губы им красить было нечем... А уж кому, как не голодным женщинам, красить губы – так они у них синеют, мертвеют. В начале декабря в городе помаду начали есть, в Новом году всю съели.

– Оспыди-Сусе, никак жива и здорова? Надолго к нам? – обрадованно спросила старушка с обычным своим деловито молитвенным видом. Тоня смотрела на ее нисколько не изменившееся густо пересеченное морщинами личико и старалась представить себе ее молодой и обязательно красивой: «Ведь тоже была когда-то дочь России, ею осталась и до сих пор, наперекор годам и всем военным стихиям», – и ответила не сразу, словно прислушиваясь к чему-то, вникая во что-то, накопившееся в душе за этот долгий день:

– Я приехала с фронта, командирована сюда на две недели. Но, может быть останусь совсем.

– На фронте-то лучше, чем здесь, аль нет?

– По-моему, куда спокойней и сытней.

– Это самое главное, что сытней. А мы здесь получаем рабочий паек, но спасаемся приварком: супу едим вволю. А для большинства жителей это недоступно. Оттого и мрут, мрут как мухи. В одном нашем госпитале в день умирает пятьсот-шестьсот из текущей тысячи. Из нашего персонала тоже почти половина вымерла.

– И приварок не помогает?

– Что ж приварок? Для мужчины или для девицы он – что капля в море. И если у кого какая в мирное время болезнь была – теперь она прогрессирует, и человек умирает, несмотря что врач или, там, сестрица...

Сменившаяся с дежурства подруга проводила Тоню в общежитие. Оно было недалеко от госпиталя, на улице Декабристов (бывшей Офицерской), на втором этаже бывшего Универсального магазина. В выбитой витрине первого этажа уцелел метровый медвежонок с надписью – белым курсивом – на шоколадно-коричневом брюхе: «Покупайте шоколад фабрики им. Микояна». В этом, рекламном, смысле у Микояна было немного соперников: Клара Цеткин, Скороходов, но больше всех — Степан Разин... Подивилась Тоня, глядя на брюхатого, словно ожившего в лучах кровопивного солнца, медвежонок, вспомнила о Зоопарке. «Куда девались все звери? Надо узнать».

Солнце медленно опускается в зарево пожаров, как домой. Вечер – страдное время для больных, когда они бредят и мечтают в жару, и отрадное для тех, кто за ними ухаживает днем, а теперь уходит, унося с собой обрывки бредовых речей, слов, восклицаний.

Холодно в давно нетопленной комнате. Темно в холодной комнате. Но изо всех комнат, со всех этажей приходят к Тоне девушки, и каждая несет перед собой коптилку, как евангельские дары-светильники, освещая скалистые уступы обледеневших лестниц. Все просили ее об одном:

– Расскажи, как там на фронте? Скоро ли? – а ей слышалось: «Обнадежь»...

И она рассказывала. Обнадеживала. Но сама не верила в то, что – скоро.

А вот, что строят ледяную трассу – прокладывают дорогу по льду Ладожского озера – это она видела своими глазами, и девушки изумленно слушали о штабелях окороков, муки, шоколада и даже апельсинов, тянущихся чуть не от самой Вологды до берега Ладоги. Все это для Ленинграда! А успех армии генерала Федюнинского, за блокадным кольцом, разве это не начало конца блокады? И Тихвин, и Волхов – снова наши!

– Слишком поздно, – сказала какая-то девушка, всхлипнув. – Там – штабеля апельсинов, а здесь – штабеля трупов. И жди, когда еще эту трассу проведут!

– И что они там возьмется? – спросила другая. – Если лед выдерживает машины, пусть они и катятся себе потихоньку, родненькие.

Тоне пришлось объяснить, что лед всегда замерзает неровно – трассу надо выровнять, расчистить. Кроме того, она проходит под носом у немцев, они день и ночь бомбят ее и обстреливают из орудий любого калибра. Поздно они спохватились (Тоня вспомнила слова генерала: «Провели немчуру! Будут они помнить мою невоюющую армию»), но на всякий случай надо организовать не только зенитную оборону, но и орудийную, и пехотную.

Слухи о стокилометровых штабелях из плиток шоколада и о Ладожской трассе давно уже волновали голодное воображение осажденных – пожалуй, раньше, чем замерзла Ладога.

– Мы об этом знали, но не верилось, но ты – ты была всегда такая правдивая, что тебе нельзя не верить! – воскликнула маленькая, как девочка, сестрица и кинулась Тоне на шею. А за ней и все. Бывшие подруги по работе благодарили за хорошие вести и плитку шоколада. При дележе, правда, не обошлось без слез и обид. Только поздней ночью разошлись все по своим комнатам, каждая со своим светильником-коптилкой.

Тонина соседка по койке, первой закончив сложные приготовления ко сну, т. е. завернувшись в десяток одеял, рассказала о том, как из ее палаты выписался первый ею выхоженный раненый.

– Да, это было когда-то, – сказала другая. – Выздоровливали, собирали свои вещички-сумки, компасы и всякие пистолеты – и выписывались. Теперь никого не выписывают, а больше списывают... А мы еще живы. Надолго ли нас хватит?..

– Я останусь с вами, – сказала вдруг Тоня – и поняла, к чему прислушивалась весь день. – Я не вернусь в эту невоюющую армию моего родственничка. Я сейчас сочиню ему письмо, а завтра отправлю. Я начну так: «Дорогой почти родитель, знаменитый командующий Невояющей армией. Во первых строках...»

На этом она уснула. И в первом же сне увидела, с нежностью и гордостью, простое русское лицо генерала. Потом ей приснился лев – каменный, но живой. Он сиротливо сидел там же, около пещеры развалин ее дома, по-собачьи поджав хвост. К нему подошел Дмитрий с застывшим, каменным лицом и пожал лапу. «Такова наша львиная доля, – сказал он, – львиная доля мук».

27. Ненормальное чувство

Дни не летят, не идут, – ползут, пресмыкаются перед грандиозной глыбой человеческой муки, которую, кажется, ничто не может расточить, даже время. Только 25 декабря на улицах города можно было видеть, после полуторамесячного осадного сидения на 125-ти граммах хлеба, бродячие улыбки и даже слышать невероятные, как лай собак или мяуканье кошек, радостные возгласы. Что могло быть причиной такого оживления? Что могло вывести людей из их голодного транса? Одно из двух: крупная победа на фронте или – прибавка нормы хлеба.

Да, хлеба, наконец, прибавили: служащие теперь будут получать по 250 граммов, «иждивенцы» – 200. Служащие приравнены к большинству рабочих. Партия поняла, что эта категория, с учеными, писателями и артистами, тоже хочет есть и может еще пригодиться, а иначе вымрет «как класс». И только рабочие, занятые на особо тяжелых работах, получили прибавку в 50 граммов.

Эта первая прибавка хлеба была и прибавкой надежды и жизни. Но только для тех, кто еще как-то держался на ногах. А тех, к чьим костям на постелях тонким слоем опухшей кожи прилипли пролежни, уже не могли спасти. Таких – больше половины населения. Прохожие на улицах редки.

Но и у тех, кто еще мог стоять на ногах, у людей сверхчеловеческой стойкости, надежды хватит ненадолго, не надолго продлится их жизнь. Продуктовые магазины попрежнему пустуют, население не получает ничего, кроме хлеба. И мороз. И метели – будто миллионы ведьм распускают свои седые космы и метут, воют. А какие-нибудь старушонки-подружки, костлявые вертела с нанизанными лохмотьями, глазами и шапочками, встречаясь, приветственно шепчут синими от мороза губами:

– Нешто это мороз?

– Нам-то что! Мы привычные. А вот немцу-то какво? Таких старушек ничто не берет.

Дмитрий проснулся оттого, что кто-то, проходя под окном, напевал охрипшим голосом:

*«Ой, хитра моя старуха,
Не найти хитрей,
Подарила мне старуха
Десять дочере-ге-гей!
Десять девок, как огонь —
Обож-жеешься, только тронь...»*

Это управдом Малиновский. С тех пор, как Тамара выгнала его, он не рискует заходить, а так, иногда «подает голос». Встречая Дмитрия на улице, кричит через дорогу:

– Солнце-то какое нынче! Как золотая десятка! – хотя оно было больше похожим на ржавое ведерное дно. Видно, скучал управдом, попивал древесный спирт, опухал.

Дмитрий выздоровел. Суп из «конской головизны» помог. Но все же трудно было собраться с силами, пойти пешком в общежитие, хотя и очень туда тянуло – «как домой», говорил Тамаре, на что она обиженно отвечала:

– На мой взгляд, твой дом на сегодняшний день здесь, пора бы это понять! Да и что там делать? Ведь занятия в институте прекратились теперь уже, кажется, навсегда.

– Не тебе знать, – тоже обижался он.

Теперь он по очереди с Тамарой ходил по утрам за хлебом, днем не ложился в «постель-гроб», а прогуливался, если не было обстрела, по Нарвской заставе, около Балтийского вокзала, вдоль Обводного канала. С каждым днем, с привычным отрывом от самого себя, он все больше

и больше проникался мистическим сознанием неповторимости и величественности, красоты – да, и красоты жизни, проходящей, умирающей и не умирающей на его глазах, и в нем самом, и во всех, кого он встречал на своем пути.

В соседней комнате Тамара, зевая и крестясь – «бла-го-слови на день грядущий», – вставала с кровати, похожей, на ее взгляд, на тарантас – и скрипучими пружинами, и выгнутыми спинками.

– Пойди, вон тебя твой воздыхатель благословит, – сказал Дмитрий, – это он для тебя серенаду поет.

– Я ему такую серенаду покажу, что забудет, как домами управлять! – Тамара, по обыкновению хлопнув дверью, ушла за хлебом.

Было тихо. Это не значит, что немецкие орудия молчали, – они бы разорвались от молчанья, от ненависти к этим русским, голодным, умирающим, но не сдающимся, – они били по другим районам. Все уже знают, что если утром спокойно, надо успеть использовать эту завесу тишины, пока ее не разорвет первый снаряд, а за ним другой и третий: немцы теперь швыряют их пачками. Еще ни одного дня ни один район не знал покоя. И в этом деле почти безнаказанного убийства и садизма немцы были точны и аккуратны. Если не утром, ночью каждый район получал свою порцию в пять-шесть, а то и несколько десятков снарядов. А в последнее время взял немец манеру срывать зло на Осажденном, первом своем камне преткновения – за любой неуспех на Восточном фронте. За Москву, за Тихвин, за Волхов – несколько раз принимались громить город и днем и ночью. Осажденный проглатывал тяжелые пилюли, апокалиптичне отмечали сокрушенно, но не без злорадства и военно-спортивного удовлетворения:

– Ничего! Это нам за Москву, а это за Тихвин, а это за Волховстрой. Ишь, как его припекло. Ничего!

Теперь даже вечно недовольные советской властью ненавидят немцев.

Дмитрий пошел через Нарвскую площадь к Путиловскому заводу. После выздоровления его все время тянет туда, к фронту. «Орлы летят к солнцу – и не слепнут, иные люди идут на фронт и живут там как дома, а другие спят дома в постели, и их разрывает снарядом. Разве есть какая-нибудь закономерность в жизни и смерти, на войне в особенности?» – думал он.

Неузнаваемо пустынна, даже для блокадного времени, Нарвская застава. Теперь она и в самом деле застава: шоссе, посыпанное, как солью, сухим снежным песком, закрыто шлагбаумом. По обеим его сторонам стоят часовые с автоматами, подвешенными, по новой военной моде, на груди. За их спинами – фронт, закоченевший и неподвижный. 250 гр. сухарей, сытная похлебка, чарка водки, иногда шоколад – за их спинами. Счастливые люди в шинелях показывают часовым пропуска и проходят туда.

Когда-то это был пригородный район, по-пятилеточному нелепо и не по-пятилеточному беспланово, буйно разросшийся в последние годы. Теперь это не пригородный, и даже не прифронтный район, а фронт.

Вот трижды бухает трижды проклятое близкое немецкое орудие – и неотвратимо нарастает, пожирая пространство и тишину, как трехпалый разбойничий свист, лет снарядов. Кланяйтесь им русские люди, иноземным гостям! Ведь вы всегда все иноземное считали краше своего.

Но осажденные не кланяются им больше. Они бесстрашны – в высшем, уже неземном смысле.

Баррикады из трамваев, маскировочные сети над шоссе. А вот дом, будто стоящий одной ногой в городе – обнаженной лестницей. К нему можно подойти, посмотреть. Третий этаж заснежен снарядом и лег костями ребристой крыши неподалеку, в песчаный снег. Из дома выходят люди в белых маскировочных халатах. Одни идут в город, другие – «туда». К одному лейтенанту подошел словно вынырнувший из сугроба мальчик в высоких сапогах и полушубке до пят. Мужичок с ноготок. Лейтенант сунул ему в руки какой-то пакет.

– Приходи через неделю, – сказал он. – Уезжаю на передовую. Привезу тебе шоколадку. Живи, знай, не умирай, – и быстро пошел за шлагбаумом.

– Чудак человек, – сказал ему вслед малыш, – через неделю я уже наверняка умру. Ты мне подавай свою шоколадку сейчас.

Медленно и широко переставляя ноги, он брел навстречу Дмитрию, опустив голову. Столкнувшись с ним, хотел отпрыгнуть, но не смог, только отшатнулся в сторону, испуганно пряча сверток под полкой. Из-под шапки-ушанки видны были только глазенки-волчонки, но это были незабываемые глазенки бывшего любимца студенческой публики, сынишки дворника. Правда, теперь от него остались одни веснушки, да и те покрылись блокадным «загаром».

– Товарищ командир, – сказал Дмитрий дрогнувшим голосом, но овладел собой, продолжал насмешливо. – Как там у вас, затемнение в порядке? Все зажигалки потушены? Власть на местах? Ну, давай лапу, здравствуй. Не бойся, не отниму, что у тебя там.

– Митрич! – узнал Игорек. – Вот это здорово!

– Что здорово?

– Да что встретились. У-у, какой ты...

– Какой?

– Худющий. А знаешь, что у меня в свертке? Сухари. Военные. Хошь, пожую?

– Жуй сам. Расскажи лучше, как живешь-можешь?

Но Игорек сначала достал из свертка сухарь, посмотрел на него с сожалением – что он мал, или что половину его надо дать, обязательно надо дать этому студенту, старому знакомому, иначе... иначе он не будет Игорек.

– Дают – бери, – сказал он снисходительно. Дмитрий взял сухарь и моментально сжевал, думая: «Ничего, я его приглашу на тюрю».

– Живу я пока ничего. Присядем-ка на этой ступеньке, а то, я вижу, ты уже язык высунул. Это вам не историю цэки вэкипэбы читать, как говорил мой папаня, царство ему небесное, как говорила маманя, царство ей тоже небесное.

– Умерли? Давно? – спросил Дмитрий, смотря в сторону, в мертвенный снег.

– Не так давно. Сперва папаня, потом маманя, потом и дом разбомбило. Хорошо, что я в это время был у Ванятки. У него и остался. Потом его мамаша куда-то ушла и не вернулась. Сначала мы здорово спекулировали с девушками. Они же все деревенские, глупые. Уж как мы их с Ваняткой дурили, дурили...

– Заливаешь, Игорек! – сказал Дмитрий, улыбаясь, вспоминая старое общежитие, начало блокады – даже эти дни казались ему далекими, мирными... и счастливыми!

– Что? – не понял Игорек. – И ничего не заливаешь... А потом Ванятка пошел за хлебом и пропал. С карточками. Понимаешь мое дурацкое положение? И вот я остался один-одинешенек и без карточек.

– А этот лейтенант – кто?

– Да никто. Спаситель... Я это, однажды огибался тут вокруг да около, а он подозвал меня и спрашивает: есть хочешь? Глупый вопрос, – говорю. – Конечно, хочу. А почему не прошу – это еще более глупый вопрос: ленинградцы никогда не просят. Ну, говорит, вот тебе глупый ответ, – и дал мне целых три сухаря. И сказал, чтобы еще приходил, спрашивал его, Иванова. Я через пару дней прихожу, спрашиваю его. Вышел узбек, смеется: Ивановых говорит, у нас тут целая батарея, или, иначе говоря, хоть пруд пруди. Наконец вышел мой, принес сухари: от трех Ивановых, говорит, и двух Гаджибековых. А только сюда, к дому, больше не подходи, потому что запрещено. Вон там, за сугробами, вроде любовную свиданию тебе назначаю. Вот я и прячусь теперь в сугробах.

– Ну, пойдем ко мне, – пригласил Дмитрий. – А потом через пару дней, вместе пойдем к нашим, к Басу и компании... Хочешь?

– Спрашиваешь у больного здоровье. А здесь что, куда мы пойдем?

– Тюря!

– Тю-юря? Толково.

Тамара заставила Игорька умыться и попробовала расчесать его вихры, но из-под гребешка градом посыпались вши, и она, бросив гребешок, с увлечением стала их давить, забыв о клиенте.

– Я же говорил: не надо, – сказал Игорек, довольный. Первый раз он улыбнулся за тюрей, обнажив желтые зубы и желтые белки недетских глаз. Начал есть, не торопясь, видно, подражая отцу, но потом ложка замелькала. Второй раз улыбнулся, уходя. Не согласился остаться ни на один день.

– Я вижу, вам самим жрать нечего. Лучше я подамся к Басу и компании.

– Ты всех помнишь? – спросил Дмитрий.

– Как же не помнить. И помню, и очень люблю. Только жаль, что все вы какие-то ненормальные. А ребята больно хорошие.

Дмитрий провожал его до Обводного канала. Около ворот завода «Красный треугольник», старого, как и Путиловский, гиганта, к ларьку пивному или табачному – издали нельзя было разобрать – быстро пристраивалась очередь. В таких случаях надо не спрашивать, что дают, а стремиться как можно скорей занять свое место в очереди, как место в жизни или, во всяком случае, место, от которого зависит жизнь. У всех, особенно у женщин и подростков, давно уже выработался почти безошибочный инстинкт очереди. Это неважно, что ларек закрыт. Кто-то видел, как только что привезли несколько ящиков папирос. Продавец их принял и куда-то ушел. Но он скоро придет! И вот он пришел, милый старичок с трясущейся бородкой. Да что борода. Он весь трясется. И вся очередь трясется от холода, от голода, от нетерпения. От жизни такой, как говорится... Теперь главное – чтобы не было обстрела, а папиросы старичок уже начал совать в окошко, по две пачки каждому. Деньги он берет, не считая, и от него никто не берет сдачи. Скорее, скорее. Лишь бы «он» не начал «психовать». Лишь бы успеть получить заветные две пачки – этот единственный почему-то ненормированный «продукт». В окошке мелькают скрюченные пальцы, пачки папирос, бороденка продавца, скомканные деньги. Скорее! Скорее!..

Но снаряды уже свистят, уже шипят по-змеиному. Эти, шипящие, – самые страшные. Их шипенье, гипнотизируя, нарастая и оглушая, вычеркивает из жизни все, а часто и жизнь. Оно наполняет пустой желудок живительным, как кусок хлеба, страхом: есть в эти минуты вечности не хочется. Конечно, лучше умереть, чем так, непрерывно, хотеть есть, но все же не так умереть, чтоб – на куски...

У каждого снаряда свой почерк, свой голос-посвист, своя манера разрываться, рвать на части, сносить целиком или только продырявливать.

Снаряды рвались близко, но окошко продавца тоже приближалось. Дмитрий, сжимая плечики стоящего впереди Игорька, шепнул, стыдясь, чтобы кто не услышал:

– Может, смоемся, пока не поздно? Кажется, приблизительные уже идут.

– Ты – можешь, а я – никогда, – сказал Игорек и высвободил плечики. – Я не пойду к Басу без папирос.

Рядом, на улице Шкапина, два снаряда-близнеца впились в один дом, как жуки с лету в навозную кучу. Разорвались они где-то дальше: очевидно, пробили дом и вылетели на другую улицу. В очередь полетели кирпичи и щебень. Она зашевелилась, завиляла хвостом. Еще один снаряд из серии шипящих – и хвост разбежался. Но голова не дрогнула.

Игорек, наконец, «оторвал» две пачки, за ним Дмитрий – и в очередь снова полетели кирпичи. Вслед за другими счастливыми, закуривающими на ходу, побежали, вернее, пошли с видом бегущих людей, тянущихся глазами вперед, в ближайшую подворотню, и упали там, оглушенные – не разрывом, нет, шипеньем словно вырвавшегося из котла пара – на этот раз не

приблизительного, а накрывающего снаряда. Стоглавую голову очереди смешало с обломками киоска.

Только немногие стонали. Для голодного всякая рана смертельна.

– Я ее знаю, это наша бывшая соседка, – указал Игорек на седую женщину неопределенных лет (апокалиптяне седеют лет в 20–30), сидящую на снегу так, как безногие на роликах. Она безучастно смотрела на свои оторванные ноги, потом с тихим стоном повалилась навзничь, впилась в небо мгновенно заострившимся носом и открытыми льдинками глаз. Льдинки такие выглядывали из каждого сугроба...

Старуха-горбунья – выживают же такие! – вся черная (видны только желтки ястребиных глаз), наклоняется над трупами, чуть не касаясь их ведьминым носом, как ворон на поле битвы. Кого-то или что-то спокойно ищет.

Старик с разбойничьей мордой блокадного дворника вытаскивает из скрюченных пальцев убитого кусок хлеба, пропитанный кровью, тут же кладет его в рот и обсасывает, как шоколадку. И рыщет глазами дальше.

Снег, залитый кровью, как солнцем, долго дымится.

Игорек тоже закурил, ловко цикая слюной через зубы.

– Ишь, какую кучу навалило! Не первый раз вижу, а все-таки страшновато.

Высоко поднимая ноги – перешагивая через трупы, ушли. «Еще один герой погиб, – подумал Дмитрий, – продавец! Те, что погибли в очереди, – очередные жертвы. Сотней убитых больше или меньше – не все ли равно: целые провинциальные города ежедневно погибают в одном нашем городе. Очередные – это толпа. А продавец – герой. Он погиб из-за этой толпы. Ведь что ему стоило закрыть свою лавочку и уйти вовремя?» Последние слова он сказал вслух, и Игорек засмеялся:

– Ха-ха, товарищ профессор! Папаня всегда говорил, что из этих ребят, кое из кого, профессора получатся и будут сами с собой разговаривать.

– А из тебя что будет? Кем ты хочешь быть? – спросил Дмитрий.

– Кем быть – тем не миновать, как говорил опять же мой папаня. А хотелось бы заделаться студентом.

– Каким? Чего?

– Таким, как вы, вот чего.

– На этом анкетные вопросы закончены. Вы свободны, товарищ вечный студент в будущем. Привет всем.

Пройдя несколько шагов, Игорек вернулся.

– Вот, черт, – неловко сказал он, – забыл сказать спасибо... вам...

Дмитрий, облокотись на перила моста без названия (через (Обводный канал), какого-то неслыханного моста со свежей от снаряда дырой, думал вслед удаляющемуся почти невидному от земли мужичку с ноготку: «Это уже не наше поколение детей Октября, Гражданской войны и нэпа. Эти не будут разговаривать сами с собой. Они не так нервны и впечатлительны, они будут тверже стоять на земле. Но – будут ли? После такой войны? А Ванятка из 34-го, или какого другого дома, где, в каком сугробе найдут его, с обожженными руками и почерневшей головенкой? А Игорек... Сколько еще снарядов просвистит над ним, дойдет ли благополучно? Слово тоже: благополучно – какое мирное, удобное...»

На Пионерском переулке не было никаких военных объектов, даже пионеров не было – все вымерли, но снаряды частенько ложились вдоль него, как спать, обычно не причиняя никакого вреда.

Но вот разорвало лошадь с извозчиком, и колеса телеги взлетели вверх вместе с поклажей – кусками дуранды, похожей на прессованную гнилую солому.

Изо всех подворотен к месту катастрофы бегут и бросаются на еще дрыгающую ногами лошадь люди. Нет, это уже не люди. Ведь даже шакалы оставляют хотя бы обглоданный скелет. Эти ничего не оставили, даже постромок...

Но – не все, не все разрывали еще живую лошадь на куски и вырывали их друг у друга из рук. Многие жмутся у стен домов, с глазами, удивленно вытаращенными или настороженно вобранными в орбиты, иногда дико насмешливыми, чаще тупыми и пустыми. Почему они стоят неподвижно? Какое ненормальное чувство удерживает их? Может, лучше смерть, чем это? Кто знает, что там? Не лучше ли на всякий случай войти туда – много ли осталось жить – с руками, не запачканными кровью, хотя бы и лошадиной?..

Две старушки собирают по кускам труп извозчика.

– Это Ивановны мужик, – сообщает одна из них Дмитрию, проходящему мимо. – Вы же должны ее знать, ваша соседка. Надо бы ее предупредить. Я вот только другую явонную руку никак не найду.

Дмитрий не знает ни старушки, ни Ивановны, но молча кивает головой. Ну и денек. Впрочем, день обычный, и он еще не кончился. Продолжается и обстрел Нарвского района. Сокрушительный обстрел, но бывали и посильней. И еще будут. А пока еще два снаряда рвутся один за другим в бане и напротив нее – в булочной. В бане обошлось без жертв – сорвало одну крышу, булочная, на время обстрела, была закрыта. Снаряд открыл ее, и голые, выскакивая из окутанной паром бани, с радостными возгласами бросились в булочную.

Навстречу Дмитрию почти по-настоящему бежали два голых, один с дворницкой бородой, другой с усами. Бородач – с двумя буханками хлеба в подмышке, а третьей размахивал, держал ее в руке, и она выпала. Пока он оглянулся, пробежав по инерции несколько шагов, Дмитрий подобрал буханку. Голые остановились, глядя на него очумело, затравленными глазами. И он смотрел на них беспокойно.

– Брось это дело, – сказал усатый бороде. – Нешто не видишь – он в одеже. А с одетым разве справишься? – И они побежали дальше. Через несколько минут баня, булочная и весь переулок опустели. На снегу остались отпечатанные человеческие ступни. Они виднелись всюду – следы крупных, хищных и самых несчастных в мире зверей.

Обстрел же не утихал. Снаряды рвались где-то недалеко за спиной Дмитрия, но он шел парадным шагом: буханка грела не хуже буржуйки. И уже около самого дома прошипело над ним и опалило, и бросило наземь, и встало в глазах, вырастая до неба, коричневое в основании. Только через несколько минут, когда еще пронесся над ним поток раскаленного воздуха – на этот раз последний, – он встал и, пошатываясь, пошел, словно поплыл в красных кругах.

...Навстречу бежала Тамара. Когда она оставалась дома одна, то убегала во время обстрелов в соседний сарай. Он все-таки был каменный, и все из деревянных домишек укрывались в нем, и в подвале под ним. Соседка по дому, высокая женщина средних лет, которую все называли Ивановной, стояла у входа в сарай как на наблюдательном пункте. Это она увидела, как упал Дмитрий, и крикнула в погреб:

– Эй, Тамарка, тваво, кажись, накрыло!

Сперва показалось в ореоле красных кругов ее лицо, родное и испуганное, потом круги разошлись, и он увидел ее всю и остановился. Он ни о чем не думал, только смотрел. Пальто ее распахнулось, и он впервые за все время понял, что она уже не девочка. И синяя вязаная кофточка ее съехала как-то набок, обнажив тонкую девичью шейку и грудь.

Она налетела как ветер, чуть не сбила с ног.

– Сколько тебе лет? – спросил он.

– Да ты что, с ума сошел? – закричала она. – Идем скорее в сарай, а то как бы еще не трахнуло. Сегодня ужась что творится. Я насчитала пятьдесят снарядов, которые вблизи разорвавшись, а сколько – вдали? Шоколадную фабрику разнесло, холодильник, мяскомбинат, кино «10 лет Октября», булочную... И, главное, баню... Как жаль баню! Ведь одна на весь

город была. Только что открыли, и по радио сказали, и в газете написали. Ну, ты идешь или ползешь? – она дернула его за рукав. – Впрочем, кажется, концерт закончен. На сегодня хватит... А ты нехороший, господин Скотинин, или как еще вы себя с Сашей величаете, нервостеник, что ли? Разве можно так рисковать? Идет себе, как по Невскому из театра. И еще остановился, как нарочно, когда меня увидел.

– Разве? Впрочем, это бывает со мной, если задумаюсь или увижу что-то интересное впервые.

– О чем можно думать, когда снаряды рвутся? И что ты мог такое увидеть?

– Тебя.

– Никак смеяться надо мной вздумал? – она легонько толкнула его в спину. – Иди уже, знай. Вот придет Нинка, я ей все расскажу. Как меня одну бросаешь на целый день, и вообще... Не любишь меня, на мой взгляд.

– Взгляд явно ошибочный, – сказал он и в коридоре поцеловал ее дрогнувшие губы и мокрые глаза. – Почему ты плачешь?

Она ничего не ответила и открыла незапертую дверь своим особым способом – одновременным толчком бедра и ноги. У нее это называлось – открыть дверь задней ногой.

С валенок Дмитрия со звоном падали на пол, как красные стеклышки, пропитанные кровью льдинки. От единственного оконного стекла медленно отлипал и ускользал вверх последний солнечный луч. Еще один пресмыкающийся День уползал в страшную нору вечности.

– Такая ясная погода – чистое наказание для нас, – сказала Тамара. – Немцу все хорошо видно, даже Пионерский переулочек.

– Да, – вспомнил Дмитрий, – пойдешь скажи какой-то Ивановне, нашей соседке, что ее муж, извозчик, убит на этом детском переулочке.

Тамара ахнула. Это был старый знакомый, милый «дядя».

– Да как же это... Где же он там!

– Да там... В сборочном цеху, прости меня, Господи...

– Вот, а еще мне сказала – тваво, кажись накрыло. А получилось, что еёного.

Пока она бегала сообщить, и плакать, на что блокадные женщины уже не очень большие мастерицы, он вздремнул. И не успел ее во сне поцеловать еще раз, как она разбудила его:

– Нельзя спать перед сном, – и он согласился, что на его взгляд, это вполне логично.

– А все-таки, сколько тебе лет? – спросил он.

– В субботу сто лет будет, а что?

– Да так просто. Я как-то и не заметил, что ты уже стала такая... совсем взрослая. Подумать – такая пропасть лет – пятнадцать, а?

– Ты многого не замечаешь. Такие уж вы, наверное, все поэты-нервостеники. Все витаєте в небесах, а больше всего о себе думаете.

– Да. Тяжелый сегодня день. Вот, и поговори о любви, как принято в нашем обществе, после такого столбоваления. Итак, как это принято в нашем богоспасаемом государстве, начнем анкету. Вопрос первый: любили ль вы? Тигры не в счет, только львы.

Тамара не хотела отвечать, но, под угрозой немедленного перехода следователя по любовным делам на конюшенное положение, призналась:

– Был тут один лейтенант.

– И что же?

– А ничего. Война, на мой взгляд, помешала.

– Так, значит, я должен благодарить войну.

– Благодарил лучше Нинку.

– Что это? Ревность?

– Как хочешь назови.

– Благодарю вас. Что же тогда, на ваш взгляд, сама любовь? Предупреждаю: красивейшие писатели мира по этому поводу не сказали ничего путного. Подумайте, потом скажете.

Но Тамара недолго думала.

– На мой взгляд, если он вас так интересуется, любовь – это какое-то ненормальное чувство, – сказала она и покраснела.

– Bravo! Запишем. Сеньорита, мировые классики могут позавидовать вам. Еще непризнанные современные гении вроде меня, Саши и Баса также не годятся вам в подметки. Вопросы будут? Вы свободны. Свободны любить и жаловать... да, и жаловаться... – язык его заплелся, и он уснул.

А она долго сидела около него.

Пресмыкающийся день, вильнув хвостом последнего солнечного луча, уполз.

Она сидела в темноте. Она не хотела зажигать коптилку, и не знала, почему. Нет, она знала, почему. Она прилегла к нему на кровать. Вот – почему. И обняла его, и поцеловала в губы. Вот – почему. Как хорошо, что он спит и ничего не слышит. Несколько раз она вскакивала, испугавшись какого-нибудь скрипа на лестнице, и снова ложилась... Так, мечась от двери к кровати, не заметила, что он проснулся.

– Еще один вопрос, сеньорита, – сказал он, и она, вздрогнув всем телом, чуть не упала с кровати и хотела бежать, но он ее удержал, прижал к себе крепко. – Почему вы не можете лежать спокойно?

– Потому что это... первый раз.

– Как ты это хорошо – просто и доверчиво – сказала, милое ты дитя великого города. Я уже несколько раз начинал понимать, что люблю... да, что не представляю себе жизнь без тебя... но как-то каждый раз не до конца. Не так, как сегодня. Я никогда не забуду, как ты бежала по двору, не забуду твое лицо в ореоле... знаешь, в таких красных от головокружения кругах, и твои глаза, рвущиеся навстречу мне.

– Да, я рвалась к тебе. Меня Николаевна удержала – ведь обстрел еще не кончился, – но я вырвалась. А теперь ты спи. Скоро Нина придет.

Но только он начал засыпать, она спросила:

– А как же эту буханку хлеба, что ты говоришь, на дороге нашел...

– Да, мягко выражаясь, найшол, как говорят украинцы. А что? Ты удивляешься, что мы ее не съели? Я сам этим поражен. Давай похвастаемся перед Ниной.

– Да я ничего, только чтобы она не подумала, что мы тут без нее обжираемся... Она и так что-то дуетса, что-то подозревает, только молчит. Я ее знаю. Гордая она и злая, если что не по ее. Лучше мы этот хлеб съедим, чтобы она не знала.

– Как хочешь. Только напрасно я тренировался в выдержке: ведь я только и думал – то о тебе, то о хлебе. Выдержка на хлеб мне удалась. Не знаю, удастся ли выдержка на тебя. Ну, давай, если хочешь, съедим по кусочку. Иначе теперь я не усну. Привыкай к тому, что я люблю пошутить.

– Я не всегда вас понимаю, господин нервостеник, – сказала Тамара обидчиво, – но я не обижаюсь. – Она мысленно делила буханку хлеба, словно грозила ей пальцем. – И эти самые ариолы – они же от снаряда у тебя в глазах запрыгали, а я люблю, чтоб – от любви.

Когда пришла Нина, он спал. Тамара, как всегда, сообщила ей новости:

– Его чуть не убило на моих глазах.

– Что? Ты серьезно?..

– Да ничего. Не буди... У Ивановны дядю Митю убило. Про баню и булочную, наверно, сама слыхала. Вообще все сегодня разнесли. И я себя как-то ненормально чувствую.

28. Голодный рынок

В утреннем тумане белым контуром четко очерчена кривая недостроенных этажей. Кривая – она не ломаная и исковерканная: досталось и этим, еще не начавшим жить, домам. Под снегом их не отличить от соседних – старых, разрушенных. Так и людей теперь не отличишь – молодых от старых, живых – от через минуту мертвых.

Сенная площадь... Здесь начинается и идет вдаль восемнадцатикилометровый Международный проспект – в чужую теперь даль, в тьму внешнюю, к немцам: в конце его, в новом Дворце Советов, самом большом здании страны, немцы свили себе уютные и неприступные пулеметные гнезда, установили наблюдательные посты и жили как дома.

Через площадь проходит главная коммерческая улица города – Садовая. Сенная площадь на стыке таких важнейших магистралей издавна славилась как самое бойкое торговое место. Но никогда она не была такой оживленной, как в эти дни блокады. Огромный колхозный рынок, закрытый в начале войны, потом как будто сам собой открылся. Все рынки были закрыты – и открылись.

Дмитрий много слышал о чудесах этого рынка, но пришел в первый раз: «Госголрын», как его называли голодные, изголодавшиеся по юмору остряки, не лежал на пути следования в общежитие, который в свою очередь, Саша называл «Из варяг в воруги» (после воровства спирта и олифы).

От вчерашнего потрясения – сегодня, после крепкого и долгого сна, почти ничего не осталось. Почти... Если не считать приятного и досадного вместе чувства «Тамары в ореоле», или «Явление Тамары в промежутке между двумя снарядами», или просто «Явление святой Тамары павшему грешнику». Последнее определение Тамаре понравилось больше других и, уходя за хлебом, она сказала:

– Ну, святая Тамара пошла за просвирками.

Досадовал он на себя за то, что поцеловал ее – «Можно было обойтись без нежностей», – и за то, что согласился скрыть от Нины «факт буханки». Свою долю, отделенную магическими пассажами Тамары, он решил, в наказание за свое малодушие, не есть, а променять на конфеты и принести их сестрам как «суприз».

День был солнечный, снаряды свистели на Петроградскую сторону. Последнее время немцы почему-то особенно ее невзлюбили. Саша написал о ней стихи:

И страна-то как будто недалняя,
Но такая у нас одна.
Сторона ты многострадальная,
Петроградская сторона.

Бывает так: понравятся какие-то простенькие стихи, запомнишь их сердцем и часто бормочешь в душе. Долго бродил Дмитрий по этому невероятнейшему в мире рынку, бормоча, как во сне, пока не столкнулся с другим бормочущим, только вслух, наяву: «Восстань поэт, и виждь, и внемли...»

Это был Саша – не пророк.

– Ну, вот, я к тебе, – сказал он. – Приняли вчера твоего посла с верительными папирусами, и я понял, что соскучился, только не понял, по ком: по тебе или по сестричкам, особенно по Тамаре. Что? Конфет – за хлеб? Да это проще простого. На хлеб – все можно. Дай-ка мне. А ты – виждь и внемли.

Крытый Сенной рынок не мог вместить в себя всех торгующих и меняющих, покупающих и просто «желающих», и голодные устроили свой Голодный рынок прямо на площади.

Это была не торговля XX века, а примитивный, как на заре человечества, обмен товаров и продуктов. Измученные голодом и болезнями, оглушенные бомбардировками люди приспособивались к своей отупевшей психике все человеческие взаимоотношения, и прежде всего торговлю, в ее допустимой советской властью, и не допустимой в блокаду мере.

И многие вдруг поняли, что торговля – не только источник наживы и легкого обогащения (для государства или капиталистов), но что она имеет в себе и гуманное начало. Неизвестно, к чему приведут цивилизация и наука. Может быть, когда-нибудь прыщавый и худосочный студент с физико-математического факультета найдет архимедову точку опоры (это не атомный взрыв, а похуже), – и рухнет все, созданное людьми за тысячелетия. Но пока большинству средних людей приятней и легче жить в цивилизованном мире, чем, например, в джунглях Африки или в рожденных джунглями марксизма Соловках и Колыме. Теперь даже никто из русских ортодоксальных коммунистов не станет отрицать, что и торговля, и религия, особенно православие на Руси, способствовали просвещению и цивилизации.

На голодный рынок мародеры и спекулянты доставляли, хоть понемногу, любые, за исключением жиров и овощей, продукты и этим, сами того не зная, делали благое дело, непосильное государству, дрогнувшему под ударами неудачной войны.

Люди несли на рынок золото, меха и всякие драгоценности – и получали за это кусок хлеба, как кусок жизни.

Когда хочешь есть и умираешь от того, что есть нечего, – поймешь, что один час хотя бы и обманчивой сытости и один лишний прожитый день, хотя бы и последний, дороже всякого золота. Кто этого не понял, тот давно умер, а ценности из его квартиры или карманов забрал дворник.

Маленькие или незаметные в мирное время люди и людишки – дворники, милиционеры, управляющие домами, извозчики, официантки – вдруг выросли на глазах прочих обыкновенных граждан в крупные и чрезвычайно важные фигуры. Многие из них не только выживали, но и наживались. В этом была огромная, равнодушная сила государственной «власти на местах», которая не станет переставлять пешки и сажать на хлебное место дворника или извозчика – профессора, хотя он тоже с бородой. И пусть профессор умрет, а дворник будет жить. Демократизм голода.

Все апокалиптяне ходят, подпоясанные ремнями, кушаками и веревками, – так теплее. На рынке это придает им смешной купеческий вид. Все – и продавцы, и покупатели, вернее, менялы – худы и бледны. Редко пройдет, словно проплывет в туманном сознании, сытая и потому отвратительная, но тоже бледная, лунообразная физиономия словно свалившегося с луны ловкача или негодяя. Или... людоеда.

Сразу же, с первых дней голода, установились твердые цены на продукты и вещи, и держались тверже и постоянной государственных цен мирного времени.

Выше всего ценится хлеб – от 2.000 до 3.000 рублей, но деньгам предпочитают золото, обычно – золотые часы любой фирмы. Вслед за хлебом на иерархической лестнице астрономических цен – спиртные напитки и табак.

По этим продуктам котировалось все, и сама жизнь.

Дорого стоит также сахар, дешевле «бадаевский сорт» – так назывался сахар, смешанный с землей и сгоревший во время пожара на Бадаевских складах. На их пепелище весь город ездит с саночками и возит оттуда мерзлую сладкую родную землю. Ее оттаивают в кипятке и пьют, как кофе.

В большой цене теплая одежда, шубы, полушубки, валенки. Иногда, как яркие заплатки на грязно-снежном рубище рынка, мелькают ткани с кровавыми отпечатками пальцев. Это «фрунзенский сорт» – из расстрелянного Фрунзенского универмага.

Голодный рынок почти по-восточному живописен и пестр. Голодные нарядили его во все самое драгоценное, что имели. От паперти собора с вознесшимся в небо ребристым конусом

вдоль и поперек всей площади рядами стоят продавцы (многие сидят), и у ног их на разостланных на снегу одеялах сверкают бриллианты, золото, часы всех времен и стран, серебряные и никелированные самовары, граммофоны, церковные реликвии. Здесь же можно видеть картины великих русских художников, десятки лет безуспешно разыскиваемые Русским музеем и Третьяковской галереей, театральную бутафорию и бухарские ковры. Как будто здесь все, что осталось от блеска и величия прежнего, еще не умершего, но на этот раз, кажется окончательно умирающего имперского Петербурга...

Все эти вещи продаются открыто. Остальное, и самое главное, продукты, – только из-под полы.

И все это до первого «шипящего». И не всегда успевают разбежаться. Ковры, картины и другие драгоценные творения человеческих рук не раз забрызгивались человеческой кровью, но люди снова и снова, следуя установленному на кровавом опыте календарю (если обстрел был вчера утром, сегодня будет вечером), приходят сюда, как на поле битвы, битвы за жизнь.

Вчера здесь лилась кровь, сегодня – спокойно.

Артист и режиссер, придите на Голодный рынок. Посмотрите: здесь та невероятная действительность, о которой может мечтать любая сцена. Посмотрите...

Около булочной трое, размахивая руками и вращая несверкающими глазами, спорят, весит ли завернутый в тряпочку кусок хлеба положенные 250 граммов. Они поочередно, с глубокомысленным видом, взвешивают его на ладонях, потом, чтобы решить спор, подходят к весам. Весы – частное предприятие. Весы – символ преждевременно, но весьма ловко и нахально возрождающегося капитализма. Их на рынке несколько, все они взяты, «извлечены», как объяснял один из «хозяев», из развалин магазинов к услугам «сумлевающихся». Взвешивают главным образом хлеб – что же еще? Конфеты идут поштучно, сладкая русская земля – стаканами, древесный спирт и олифа – в бутылках, табак-самосад – стаканами тоже. Что же еще? Пожалуй, это и весь прейскурант Голодного рынка. Бывают, правда, иногда «военные» кусочки сала и сухари. Но это уж почти ископаемое – из недр воспоминаний. Все взвешивается «за щипок». Так называется гонорар весовщиков – с того времени, когда техника этого дела была еще на высоте: кусочек хлеба просто отщипывался. Откровенно говоря, первое время весовщиков бивали – когда «просто так», тогда еще поздоровей были, а когда и за дело: весы после пребывания под камнями пошаливали. Потом, возможно, сами собой весы отрегулировались, а «щипок» заменялся «уголком»: кусочек хлеба наискось отрезался ножом – настоящим, какие в булочных. Вместе с этим пришло и всеобщее признание, и весовщиков перестали бить: их миссионерское терпенье победило.

Посреди площади высокий мужчина в меховом пальто предлагает за деньги – это и привлекло к нему толпу голодных зевак, особый блокадный тип людей с вечно открытым бесслюнным ртом, – зубной порошок, подробно объясняя способ приготовления из него киселя или пудинга.

– На литр горячей воды надо бросить две-три ложки моего порошка, прибавить ложку крахмала или картофельной муки да всыпать побольше сахара. А можно проще: вместо этих редкостных продуктов использовать столярный клей и бадаевскую землю. Эффект получается тот же самый. Навались – сто рублей пакет!

Но столярный клей тоже не дешев. Его дают на предприятиях рабочим, как премию, по две-три плитки, и так и называют: блокадный шоколад.

У этого продавца, не лишеного юмора, есть и порошки против блох, клопов и вшей, но он их не рекламирует, а «всучает» потихоньку. От паразитов, особенно вшей, все равно спасенья нет. Это самые верные и проклятые спутники голода – не то, что крысы и птицы, те исчезли.

Рядом дама неопределенных лет (теперь все неопределенных лет) отдает золотые часы за килограмм хлеба. Вернее, она держит на ладони, заклиная:

– Кило хлеба, кило хлеба...

Огромная фигура неопределенного пола, до глаз укутанная в лохмотья, ни слова не говоря, показывает из-под полы кусок хлеба, пожалуй, не меньше килограмма. Тут нужен глаз. Такие куски нельзя взвешивать. У весовщиков нет даже таких гирь. Почему же? Милиционеры? Нет, их не особенно боятся. Наоборот, неожиданно выясняется, что многие из них – тоже люди. Они так же голодают, как все. Демократизм голода. Что же тогда? Весы не выдерживают? Нет. Не выдерживает голодное терпение зевак. Они бросаются на хлеб, и – бей их, не бей – пока кусок хлеба не откусят своими зубами – не выпустят из рук.

Рыночный зевака при виде порядочного куса не зевает. Но он не претендует на весь кусок – так, чтобы схватить и бежать, на это у него не хватит сил: хотя бы немного откусить, а там уж – была не была! – тумаки не в счет!

Еще меньше зевают профессиональные воришки и грабители среди бела дня: эти берут у вас хлеб под угрозой финки в бок – так, что со стороны кажется, будто вы сами отдаете, хотя и с плачем, но кто уж при этом радуется? Хлеб отдавать, хотя бы и за золото, «каждому жалко».

Есть грабители и покрупнее. В «Ленинградской правде» сообщалось о поимке и расстреле нескольких банд, грабивших пекарни. Но это – не так часто. Весь «преступный возраст» – на фронте, да и охрана хлебных мест поручена фронтовикам, а не милиции, и даже не НКВД. Эти не ведут следствия. Убивают на месте. И, наконец, «резваки» совершенно исключительная и редкостная порода воров: они прямо, без проволоочки, хватают хлеб из рук и умеют не только бегать, но и заглатывать хлеб на ходу. Такого и поймашь, так от куса все равно не остается ни крошки. Да теперешний хлеб и не крошится: почти белый от замешанной в муку древесины, он плохо пропечен, увесист и рыхл.

Истошный вопль заставляет всех обернуться в сторону собора, фигура, рассматривающая часы, вежливо возвращает их даме:

– Погодите, я чичас, – и устремляется к месту происшествия, вся трепеща лохмотьями, как крыльями.

– Дяржи-итя яго! – голосит баба вслед мальчишке лет пятнадцати. А он стремится через площадь в толпу зевак, думая, что несется во весь дух. На самом же деле одна его нога будто и бежит, но другая только идет. Но у бабы дело еще хуже: одна ее нога будто идет, а другая стоит на месте. За нею увязываются неизбежные в таких случаях любители. Все «бегут» так, как в кино иногда показывают бег лошадей или спортсменов – замедленным, плавным аллюром... «Резвак» по-заячьи косо врезается в толпу и падает.

– Дурак резвак! – говорит кто-то из толпы сочувственно. – Кто же ищет спасения в толпе?

– А некоторые, – отвечают ему. Толпа относится к вору явно сочувственно. И даже больше: соучаственно – у вора уже не было хлеба, когда его настигла погоня.

– Да неужто всю буханку сожрал? Ах, подлец ты, подлец, – запричитала баба.

– А это мы сейчас проверим, – сказал мужчина в лохмотьях и, наклонясь, одним рывком вытащил изо рта «резвака» кусок мякиша. Он подал его тетке:

– К моему сожалению, это все, мадам.

Потом деловито двинул «бесчувственное тело» сапогом в бок.

– Ну, ты, лохматычная верзила, полегше! – крикнули ему из толпы. – У нас не принято ногами стучать. У нас больше так... – в чьих-то руках узко блеснул нож. Фигура, трепеща лохмотьями, удалилась.

Баба растерянно взглянула на «остатний» кусок хлеба – и выронила его из рук: в окровавленном мякише торчало два зуба (дистрофические зубы, вонзаясь в хлеб, отстают от десен и при менее драматических обстоятельствах, сами собой). Хлеб на лету подхватил какой-то зевака и тут же съел, выплюнув зубы, как семечки.

Баба ушла, причитая: «Хлеб-т-ыть был ня мой». Резвака подняли и увели, очевидно, его приятели, которым он передал хлеб, падая под их защиту, а фигура опоздала к часам: дама уже целовала золотую крышку с монограммой и просила женщину в меховой шубе:

– Я надеюсь, вы мне вернете их после войны, если, даст Бог, живы будем, – за любую цену. Это память моего мужа. Вы не забудете мой адрес?

Базарный день в разгаре. Тонкий и взволнованный голос скрипки послышался откуда-то сверху, будто с неба. Почти так и есть: в окне третьего этажа полуразрушенного дома играет скрипач. Он стоит в окне, как в раме, лицом к площади – как лицом к жизни. За его спиной – тьма развалин, засоренный трупами лед Обводного канала, обгоревший каркас Фрунзенского универмага, смерть. А на площади – тьма полуживых полулюдей, пришедших сюда, чтобы жить. Для них он играет, как для жизни.

Проходящие мимо, задрав кверху свои кадыки, смотрят, некоторые останавливаются. Это не просто зеваки. Они стоят, как в церкви, молитвенно сложив руки, с сухо закрытыми ртами и по-куриному смежающимися веками. Три старушки изредка кивают мумийными головками. Они без слов понимают друг друга. Как они уцелели? Чем они живы?

Мужчины никогда не умеют понимать друг друга без слов. Они перешептываются, как в концертном зале:

– Концерт Венявского. Терпеть не могу.

– А это что? Стравинский?

– Не будь идиотом. Как можно не отличить Стравинского от Шенберга?

– Ну, а это, с вашего позволения, Хиндемит?

– Не позволяю. Это как раз Стравинский.

– Кто их к черту разберет, они все на один манер, эти модернисты.

– Вы бы тогда лучше ушли отсюда.

– Ах, вот, вот, наконец, концерт Бетховена... Боже, эта музыка сведет меня с ума.

– Ха! Разве вы еще не сошли с ума?

– Я пока нет, но вы, кажется, да.

– И я, и вы, и эта первая скрипка оркестра филармонии – я его сразу узнал, и все, кто здесь стоит, разинув уши, – все блаженные.

Постепенно собралась толпа. Подошли и Дмитрий с Сашей.

А скрипач все пилил и пилил смычком, как по обнаженным нервам... После нескольких вызывающих к небу тактов скрипичного концерта, будто сам сошедши от них с ума, он бросал в окно, как мартовских котов за шиворот, дикие диссонансы. Устав, ронял голову с бурей черных волос на грудь – кланялся. Стоял, картинно подбоченясь, со скрипкой в откинутой левой руке – отдыхал. Потом снова мрачный Бетховен, отрывочные пассажи, дикий галоп двойных терций. И снова Чайковский... Нет, не Бетховен, а Чайковский сводит всех с ума. Нервные токи проходят по толпе. Даже старушки начинают шептать и бормотать.

– Уйдем, уйдем отсюда, – стонал Саша, – от безумия этого подальше, как от греха.

Широкий и мощный мотив оборвался на тонкой взлетной ноте... И вдруг скрипач взмахнул руками и выбросился в окно... Он, вероятно, умер на лету, как умирают птицы: упал в высокий сугроб рыхлого снега – не мог разбиться, но когда к нему подбежали старушки, сердце его уже не билось и глаза закрылись. Может быть, всем музыкантам подобает умирать с закрытыми глазами, чтобы лучше слышать последние земные звуки...

А скрипка упала рядом, будто выбросилась сама.

Заплаканная женщина вытолкнула из толпы, упирающегося мальчика лет тринадцати:

– Иди, иди не бойся его. Возьми скрипочку-то, и смычок прихвати. Ты ведь сам скрипач. Да, он два года учился до войны, – сказала она старушкам, тревожно повернувшись к ней черные носы. Мальчик чистенький, застенчивый – даже румянец озарил бледные щеки, удивительно хорошо для своих лет сохранившийся: такие блокадные дети обычно похожи на ста-

ричков-карликов. Все на него смотрят как зачарованные: бывают же такие дети... Да, бывают. Это баловни не только умирающих родственников, но и бессмертной судьбы, словно она хранит их для чего-то. Она знает, для чего.

Он храбро взял скрипку.

– Гварнери! – восхищенно ахнул кто-то.

Но взять смычок из руки мертвеца мальчик не посмел и беспомощно озирался вокруг, ища глазами мать, но не видел ее, хотя она стояла рядом. Он не видел ее потому, что не она, профан в музыке, могла ему помочь в эту минуту. Старушка в белом шерстяном платке тихо-музыкально-голодно-помешанная, как и почти все в этой толпе, подошла к нему с просветлевшим темным лицом, взяла за руку и заставила стать на колени возле трупа.

– Креститься-то хоть умеешь? Нет? Ну, вот так, смотри...

Перекрестившись сама, взяла его руку в свою и осторожно высвободила смычок из тонких и цепких пальцев мертвеца.

– Главное, чтобы ты прикоснулся к нему, – бормотала она, – пока это самое от него не отлетело. А ну-ка, сыграй, благословись, что умеешь. Пусть он послушает. Не бойся. В этом надо смелым быть. Трусы не украшают жизни.

– Валяй, валяй! – крикнули из толпы.

Мальчик просветлел глазами, ловко прихватил скрипку подбородком и слабым, но верным взмахом смычка коснулся струн...

Никто не понимал, что он играет, и меньше всех понимал он сам. Такт за тактом ширился и рос какой-то неведомый, яркий и теплый, как язык пламени, мотив. Взбираясь все выше и выше, он оборвался на тончайшей волосной ноте – на той самой, на которой вдохновенный скрипач с бурей волос на голове оборвал свою игру и жизнь!

Трусы не украшают жизни. А искусство жизнь украшает и куда-то, к чему-то зовет, кто его знает, к чему. И в этом надо смелым быть, потому что украшать жизнь – это значит бороться против подлости и мракобесия. Трусы не украшают жизни. Даже такой...

На углу Садовой и Международного проспекта двое подрались из-за горбушки хлеба, они вцепились в нее и стараются вырвать друг у друга. Но это не удастся ни тому, ни другому: оба бессильны, костлявые пальцы словно спаяны этой горбушкой. Но вот один делает вялый взмах рукой, как благословляющий священник, и также вяло и даже нехотя опускает на голову противника. Тот тоже хотел было сделать такой же грозный жест, но из толпы вынырнул «оголец» – мальчишка лет двенадцати – и вырвал у них горбушку. От неожиданности или оттого, что сцепляющее их исчезло, оба падают – спинами в разные стороны под удивительно тихий, с оскалом кровоточащих цинготных зубов, смех голодных – ни веселый, ни добродушный, просто – смех.

А там баба что-то не поделила с мужиком. За неимением у него долгих волос, вцепилась ему в бороду. Отсюда вывод, что если бы у женщин росли бороды, они таскали бы друг друга за них. Сражение это тоже изобилует статическими позами, под аккомпанемент того же беззвучного доисторического смеха. Вдруг у бабы в руке оказалась чуть не вся выдернутая борода. На этот раз голодные шире открывают рты, выпуская придыхательно-гусиное «га-га» – хохочут.

Впрочем, трагедия небольшая: бороды у голодных легко отпадают, как выпадают зубы, почти сами собой. Бородачи жалуются, что бороды почему-то выпадают обычно во время сна. Проснешься, а бороды-то и нет. Да и Бог с ней! Борода – символ всероссийской глупости. Имеются в виду не отдельные любители и носители бород, а уклад жизни, который эти бороды выращивает.

Хороший полушубок и за килограмм хлеба не купишь. Какой-нибудь замусоленный еще можно. Вот женщина неумело надевает такой, с ржавыми потеками. Продавец услужливо ей помогает. Что он не голодного образца, а настоящий, довоенный – видно уже потому, как он ходит, бочком, вокруг, расхваливая свой товар.

– Первеющий сорт имени Микояна, – говорит тонким прилавочным голосом, причмокивает и закрывает один глаз пергаментным веком, другим восторженно смотрит в небо. Но, несмотря на это, покупательнице не нравится микояновский сорт.

– Сроду такого дерьма не нашивала. Да и маловат он на меня, – почти шепчет она, тяжело дыша: влезть в полушубок стоило ей больших усилий, а еще больших – снять его.

– Ну и дура, – незлобно ворчит продавец. – Понадевала на себя сто одежек и думает, что купчиха. Раздеть бы тебя да посмотреть. Впрочем, я извиняюсь, и смотреть, наверно, не на что.

Нет, ему, видно, не суждено сегодня получить килограмм хлеба. Многие влезают в его «Микояна» – и вылезают с медлительностью черепахи, снимающей панцирь. И вот уже никто к нему не подходит, и он стоит один, с обиженно отвисшей синей губой. И совсем он не похож ни на какого продавца. Он просто голодный, как и все.

Хлеб – единственная валюта. Государство не дает больше ничего, кроме хлеба. Курильщики и алкоголики несут на рынок свой кусок хлеба, как кусок привычки-страстишки. За пайку хлеба можно получить пачку папирос, пол-литра древесного спирта или четвертинку водки.

Несут свой кусок хлеба раздетые и разутые, матери и любящие, все жаждущие, и страждущие, и безумцы.

Какая в нем глыба страстей и страстишек, боли и муки, преступления и подлости, и любви, любви – в куске хлеба, все можно получить за хлеб. И все есть на голодном рынке. Только нет овощей и жиров. А так – все есть. Даже белковые дрожжи, альбумин (из него делают суп), целлюлоза, мездра. И даже – гонка. Так называется деталь текстильной машины, из свиной кожи. Есть и приводные ремни от станков, и старые подошвы. Но они, к сожалению, мало съедобны. Да, почти несъедобны.

Все есть на Голодном рынке. Только нет нищих – самых неизбежных и живописных ходячих заплат всех рынков России – бывшей и теперешней. Здесь даже сумасшедшие не протягивают рук, знают, что никто не подаст. Здесь нет нищих, потому что все нищие. И тот, кто сегодня, преступно или счастливо, имеет лишний кусок хлеба и обменивает его на золото – тоже нищий, потому что не знает, будет ли он завтра со своим золотом жив. Он не только нищий, но и безумный: не знает, что хлеб дороже золота, как сама жизнь.

Все есть на Голодном рынке. Только нет румянца на лицах, и не увидишь улыбку за целый день, и не услышишь настоящего веселого смеха.

Все есть на Голодном рынке. Только, если бы его оцепили милиционеры и отобрали у этих «нэпманов» все, что они принесли, – выросла бы гора всяких вещей и – небольшая кучка продуктов.

Но милиционеры не имели теперь и сотой доли прежней власти. Почти с первых дней блокады город отдан во власть Голода, а Голод прибрал к своим рукам и милиционеров.

Но если милиционеры не окружали Голодный рынок, смерть окружила его сотнями трупов – тех, кто не успел донести до него свою голодную тоску и петербургские драгоценности, или тех, кто, уходя с него ни с чем, не мог больше вынести этого игольчатого холодка в желудке – голода.

Многие апокалиптяне приходят на рынок «просто так». Какой бы ни был этот рынок голодный и бедный, в нем еще много от того, что унесла с собой мирная жизнь: над ним витает животворящий дух человеческой деятельности и забот – той самой частной инициативы, о которой так много рассуждают политики. На нем пахнет хлебом – это самое главное.

Недаром русские говорят с благоговением: «хлеб наш насущный», «хлебушко». Недаром ученый Тимирязев считал хорошо выпеченный хлеб высшим достижением науки, и до войны в России было до двух десятков сортов хлеба, а до революции – вдвое больше.

Впоследствии, когда в кольце блокады была пробита брешь, когда по льду Ладожского озера пришли первые эшелоны с продовольствием – упало в цене все, но по-прежнему хлеб был дороже всего. Он так и не сошел с престола диктатора рынка, воздвигнутого ему Голодом.

Все есть на Голодном рынке. Есть и юродивые. Как же можно без них? Это ничего, что века плывут над Россией темной тучей: душа русская – темнее тучи и ярче молний – остается.

Один из юродивых – бывший милиционер.

Он сидит на паперти собора – грязен, оборван, бос и весьма безумен взглядом, как полагается порядочному юродивому. В эту касту он вступил босыми ногами, после того, как у него вытащили из кармана продовольственную карточку. Он ничего такого не предсказывает, больше вспоминает про свою карточку и, не будь дурак, призывает проклятья на голову немцев. Главную выгоду своей новой профессии он видит в том, что всегда находится какая-нибудь сердобольная старушка, ведет его к себе и потчует бадаевским кофе. Он никогда не читал ни Библии, ни Евангелия, но что-то плетет о Боге и «опять же» о немцах, что они антихристы. И чаще всего бормочет, крестясь: «Хлебушка бы, хлебушка бы, хлебушка бы»...

Это слово, как заклинание, бормочут все – если не вслух, то про себя. Тысячи людей бродят из конца в конец огромной старинной площади, и только сотни из них еще нормальны, крепки духом, и только десятки – хоть немного сыты. И ни одного сытого вполне. «Хлебушка бы, хлебушка бы, хлебушка бы» – крестясь, бормочут на всех перекрестках.

Христос, приди сюда! Накорми, напои и утешь алчущих и страждущих. Только Ты мог так – пятью или семью хлебами и двумя рыбами – накормить всех... Приди. На Тебя одного надежда. А то вдруг, видишь: два снаряда-близнеца прошипели над площадью и разорвались где-то близко, за домами-калеками. Кто-то уже не дождался Твоего прихода...

Первым смывается юродивый. Еще в бытность свою милиционером он побаивался всякого огня с неба. Голодный рынок быстро пустеет. Он сыт по самую колокольню – не хлебом, так зрелищами. Поразительно, что в каких-нибудь пять минут на площади почти никого не остается. Секрет такой быстроты в том, что все сначала спешат укрыться в подворотнях, потом по пещерным проходам в развалинах расходятся кто куда. Многие – на тот свет.

Страшные люди исчезли, как призраки. Призраки прошлого или будущего? Кто знает? В прошлом, кажется, такого еще не было. Одно только можно сказать, что завтра, если не будет обстрела, эти люди-призраки придут снова на свой Голодный рынок.

29. Мертвые кормят живых

Погорели все домишки вокруг сестрино дома, и куда девались люди из них – неизвестно. Кто умер, кто сгорел, а кто собрал пожитки и ушел: нищему пожар не страшен, а тем более голодному, с вечным огнем в желудке. Стоит один дом среди пепелищ и развалин, но и в нем осталось немного людей. Умрет сосед со второго этажа или с первого – вынесут его, завернутого в одеяло или простыню, на Митрофаниевское шоссе, и оставят там. Теперь все так делают. Знаменитое Митрофаниевское кладбище (кто из русских не знает песню о том, «как на кладбище Митрофаниевском отец дочку зарезал свою»?) – недалеко. Раз в неделю приезжают грузовики, и добровольцы, отличающиеся от покойников только, возможно, несколькими днями жизни, погрузят, отвезут на кладбище и похоронят – в огромных траншеях. Мерзлую землю ничто не берет, саперы взрывают динамитом. Мертвецов сваливают в эти траншеи и не зарывают. Многие стоят во весь смертельный рост – как солдаты, стоят насмерть.

Шоссе обнажилось – сгорели дома, закрывавшие его раньше, – словно придвинулось к Нарвской заставе. За неделю вырастают высокие штабеля трупов, как дров. Кто-то складывает их, ранжирует – находятся любители. Кто-то вырезает у покойников мягкие части тела. Находятся и такие любители. Они подкрадываются сюда по ночам, и их тени зловеще мечутся в зареве пожаров, – так мертвые кормят живых...

У соседки, Ивановны, стали умирать дети. Видно, по-настоящему голодать начали они только после смерти отца-кормильца и сразу же не выдержали. Было их четверо, и умирали они по старшинству. Первый умер спокойно. «Как домой пошел», – так же спокойно сказала о нем мать. Второй долго мучился. Через дощатую стену глухо слышались его стоны и плач женщины. Но третий, умирая, никому в доме не дал покоя.

– Мама, дай хлеба! Хоть кусочек хлебца! – кричал он. Принес ему Дмитрий хлеба, кусок плиточный, но он и есть его не стал. Губы надул, булькнул ими как-то пренебрежительно-обиженно, словно хотел сказать: где же, мол, вы раньше были? И отвернулся к стенке. И снова заныл: «Мама, хлебца, мама, хлебца...» Ему уже не хлеб был нужен, а мысль о хлебе, как жизни. «Мама, хлебца», – повторял он до последнего вздоха. Осталась у Ивановны девочка двух лет.

Пришел Малиновский, хотел отобрать карточки умерших. Ивановна выгнала его:

– Нет у меня никаких карточек. И свои-то потеряла. Убирайся вон, кровопивец! – и взяла в руку скалку. Малиновский ушел, бормоча что-то о законах, которые не он выдумал, а девочка, приподнявшись на локотках в кровати, пискнула ему вслед:

– Посел вон, дядя-кровопивец!

Выпроводив Малиновского, Ивановна повеселела.

– Может быть, хоть ихними карточками спасу мою девочку, – говорила она всем. – Пусть она, живая, их, умерших, хлеб ест.

И так мертвые кормили живых.

Приказ Военного совета о немедленной сдаче продкарточек умерших не имел силы, так как жители почему-то не были прикреплены к магазинам, как это было в первую голодную пятилетку, при общей карточной системе. Если кое-кому из власть имущих удавалось прибирать такие карточки к своим грязным рукам, то лишь в силу психоза власти и порядка, от которого еще не все отрешились.

На улицах встречаются тихо-голодно-помешанные, с довольным видом сообщающие друг другу о смерти родственников и даже детей. У Ивановны появилась откуда-то приبلудившаяся женщина (теперь это в порядке вещей: люди из разрушенных домов заходят куда-нибудь на огонек, ночуют – и остаются жить), подруга по несчастью. У нее тоже умерли дети, но давно,

еще в начале блокады, и она не любит о них вспоминать. Зато с удовольствием рассказывает о смерти бабушки и дедушки:

– Были бабушка и дедушка, а теперь их нет, а карточки ихние есть... Были дедушка и бабушка, – часто повторяет она, и в безумных глазах ее дрожат огоньки звериной радости быть сытой.

Но карточки умерших – это еще не верное спасение. Хорошо, если умирают в начале месяца, а если в конце? Тогда выигрываются только несколько дней жизни. На новый месяц в счет мертвых душ не могут получить карточки: живые получают собственноручно, больным и детям привозят на дом. Тут и Чичиков ничего не придумал бы. Впрочем, по сравнению с некоторыми советскими гражданами он «мелко плавал»...

Но все равно, умирают бедные родственники или соседи-одиночки в начале месяца, в середине или в конце – тысячи живых благодарны им, мертвым душам, за каждую лишнюю карточку и каждый день.

Голод – пятый месяц! – вступил уже в такую стадию, что ничто из того, что спасало раньше, теперь не спасет: ни железное здоровье, ни стальной характер, ни алмазная душа, ни вера в Бога или победу.

Голодные бродят по городу, не зная, чем утолить голод. Ходят сгорбленные: будто прислушиваются к далекому зову предков и идут на этот зов. И приходят к штабелям трупов... Это пассивные людоеды. Такое людоедство не преследуется законом. Ведь штабеля трупов никем не охраняются. Ешьте, кто хочет... И едят. Но – не все, не все. Мало кто... А те, кто попробовал раз, – втягиваются, как в куренье, пьянство и всякий грех. Людоеды как-то узнают друг друга, собираются на свои «пиршества». Пока эти людоеды – шакалы, трусливые, жалкие, отвратительные. Странно, что их не убивает трупный яд, но и трупное мясо не спасает от голодной смерти. Впрочем, ничего странного: на голодный желудок не действует ни сивушная отравка, ни блошинные порошки – чем же хуже трупный яд? Почему же все-таки умирают? Видно, потому, что не одним – еще таким – мясом жив человек. Теперь может спасти только полная перемена блокадного климата – эвакуация... Но до этого еще далеко, это кажется невероятным.

Еще немного – и появились людоеды-убийцы. Эти брезгают «падалью». Им подавай «свежатинку». Эти все могут. Могут и партию сварганить. И научный базис под нее подвести: чем человеческое мясо хуже животного? Заразиться можно и от мяса овцы или курицы. Строение человеческой ткани такое же, как и у любого млекопитающего. Разные только клетки, поры, да иная кровь. Но это сущие пустяки. Предрассудки! Сколько людей умирают ежедневно! Сколько пропадает кожи и мяса!

У всякого по-своему складывается голодная судьба, надламывается дух, разрушается психика и слабеет или исчезает совсем чувство человека. И кто знает: может быть, те, кто ужаснулись первому слуху о людоедстве, сами потом приходили к штабелям трупов с топором или пилой в руках, или попали в «Кресты», где расстреливали людоедов-свежатников.

Людоеды не организовали своей партии: не успели, но уже заметно отличались ото всех – один на тысячи – подозрительной мордатостью. С одним из них Дмитрий познакомился так, что «едва унес ноги», как рассказывал потом много раз в своей жизни...

Это случилось через неделю после Голодного рынка, рассказы о котором лишили Тамару сна. Она все дни к чему-то готовилась, втайне, казалось, не только ото всех, но и от самой себя, и потому смотрела на себя как будто со стороны: с почтением и строго. Тюрю с каждым днем становилась оттого все жиже и солоней. «Что это она таит?» – думал Дмитрий, но молчал, зная, что никакая тайна у Тамары не удержится долго. И он был прав: утром, как только Нина ушла на работу, Тамара положила на стол несколько кусков хлеба – чуть не с целый килограмм, завернула их в тряпицу и завязала узлом, крест-накрест.

– Ну, вот, теперь и я пойду посмотрю, что за так называемый Голодный рынок. На мой взгляд, там есть кое-что, достойное моего внимания. Надеюсь, вы мне составите компанию, мистер?

– Кто же может отказаться от такого высокопарного предложения, – ответил он, одеваясь.

– Вот именно, на мой взгляд, от парного предложения.

– А откуда же хлеб взялся, и что ты за него хочешь?

– Хлеб я сэкономила на тюре, извиняюсь. А выменять на него хочу, во-первых, валенки для Нинки. Я ее не очень почему-то люблю, и она меня почему-то не очень, но ей не очень приятно целый день мерзнуть на ногах в своих туфельках-скороходах. Во-вторых, папирос для тебя, в-третьих... Я запомнила, что именно в-третьих... Да, я хотела бы для себя колечко. Такое, какое-нибудь, знаешь...

– Какое же, скажи толком.

– Да на палец, вот какое.

– На какой палец?

– Да на обручальный палец, вот какой. Неужели не понятно? Вопросы будут?

– Теперь все понятно. Вопросов не будет. Пойдем.

И они пошли, поддерживая друг друга, обходя воронки и трупы, оскользаясь на обледенелом снежном настиле улицы, сбегаящей к Обводному каналу.

Тамара ходила по рынку с широко открытыми глазами, Дмитрий – с опущенными: больно было смотреть на торгашеское унижение апокалиптян, таких величественных и безмолвных за чертой рынка: пройдя множество одеял с петербургскими драгоценностями и старушками, Тамара так и не нашла кольца, а он не мог найти подходящих валенок: попадались только мужские – «милиционерские» или «кондукторские». Папирос не надо было искать, они теперь у каждого весовщика, но Дмитрию хотелось сперва приобрести валенки, а потом уж, на остаток хлеба (проблематичный) – папиросы.

По рядам расхаживал мужчина огромного роста, по-блокадному роскошно одетый: в высоких серых валенках. Русский тулуп беден внешне, но внутри богат теплом, а этот и на вид был красив, с меховой окантовкой и стоячим воротником, а над ним, будто сидя прямо на нем, а не на голове великана, – высокая старинная шапка бурого меха. Но главное было под шапкой – обширная физиономия, вся как сургучная печать, багровая и рельефная, вороватые глаза, шныряющие настолько быстро, что невозможно было установить, какого они цвета, нос картошкой, вывороченные губы и, конечно, борода, двумя рукавами впадающая в середину полушубка.

Этот блокадный боярин держал в руке почему-то только один валенок.

– А другого нет? – спросил Дмитрий.

– Был, да украли, – ответил боярин неожиданно тонким голосом. – А что?

– Как – что? Вот как раз подошли бы мне.

– Это ведь женские. Но если вам действительно надоть, так у меня есть про запас другие. Я как раз иду домой. Хотите, пойдете вместе? Тут недалеко. Мне нужен хлеб. Кило хлеба.

– Ну, кило я вам не могу дать. Граммов 600, если хотите.

– Покажите, – он взвесил на ладони узелок с хлебом и самого Дмитрия оглядел с ног до головы тяжело, как взвесил. – Ну, ладно, идет. Пошли, неча время-то терять, как бы обстрел не начался.

– Но это не весь хлеб мой! Тамара! – позвал Дмитрий, – поди-ка сюда.

Она подошла с маленькой старушкой.

– Вот, нашла, наконец, колечко. Прямо на пальце. Покажите, бабуся.

Старушка протянула сухонький, как камышинка, палец с широким русским обручальным кольцом. Палец, дрожа, быстро опускался книзу. Дмитрий не мог на него смотреть. «Вот

это перст судьбы, – думал он. – Надо спешить, пока он не опустился совсем...» Глаза боярина бежали, минуя старушку, и остановились – бесцветные, волнистые – на Тамаре.

– Вот видите, какое дело, – сказал ему Дмитрий. – Один кусок хлеба – ее. Уж как хотите, я ей отдам. Вот, бери, Тамара, – боярин промычал что-то утвердительное. – И иди домой со своим кольцом. Поспеш, чтоб под обстрел не попасть. А я скоро вернусь.

Но не успел он отойти от нее на несколько шагов, как услышал знакомое только ему одному на свете тамарино пискливое «ах» – особый звук, ни на что не похожий, как сама она признавалась.

– Это я нарочно, – сказала она, когда он подошел, чтобы помочь ей встать. – Будь осторожней с этой цветущей шапкой. Посмотри, какая у него харя. Для меня пусть лучше Нинка будет без валенок, чем ты без головы или еще без чего.

– Ну тут уж мне быть без всего, если не повезет, даже без портков и потрохов. А ты не бойся. Валяй, знай, домой. Примем к сведению, – он, смеясь, легонько обнял ее и поцеловал в губы. Она пошла, но долго оглядывалась и крестилась под полой. Как только они повернули за угол – вернулась, но их уже не было на улице. И тут первый снаряд прошелестел над рынком. Шелестящий – это средний между свистящим и шипящим, но ближе, пожалуй, к шипящему, ближе к земле. После шелестящего не надейся на свистящий, а жди шипящего. Тамаре ничего не оставалось, как идти домой готовить тюрю.

В это время Дмитрий вслед за боярином поднимался на верхний этаж, казалось, необитаемого дома в глухом, забытом даже немецкой артиллерией переулке. Ветер сквозил на лестнице и завывал где-то вверху, под крышей или в самом небе. Возгласы ветра, запутавшегося в лестничных переплетах, отрывистые и протяжные, как человечьи, пугали Дмитрия, хотя он не боялся никакой чертовщины, потому что был с ней знаком только по Гоголю.

Боярин пыхтел, казалось, только для приличия: он легко перешагивал через две ступеньки и, дойдя до последнего этажа, остановился, поджидая Дмитрия, весь в воющем ветре, в промозглой полумгле. Дмитрий случайно перехватил взгляд его расширенных глаз. Они не бежали больше. Они остановились. Остановились на нем. И остановившееся их выражение остановило Дмитрия на предпоследней ступеньке... «Бежать, бежать отсюда!» Мгновенно вспомнились «фантастические» рассказы о том, как людоеды заманивают свои жертвы. «Бежать, пока не поздно»... Но упрямое и нелепое противоречие интуиции, тому, что надо, что необходимо что-то предпринять, не размышляя ни секунды, – это надчувство, идущее больше от ума и губящее многих, – удержало его: «Посмотрю, что будет. Главное – быть начеку, – в этом чеку мне, кажется, нельзя отказать, как и в трусости».

– Подождите меня здесь, – сказал ему боярин и постучал в дверь комнаты в двух шагах от лестницы.

– Хтой-то? – спросили из-за двери.

– Я. С живым...

«Что это? – подумал Дмитрий. – Пароль или мой смертный приговор? Если речь идет обо мне, то он не ошибается. Я живой и настолько бодрый, что готов унести отсюда ноги. Ну, пора бежать»... Но ноги не слушались его, как в драматическом сне с ведьмами и всякими чудовищами. Он стоял, как загипнотизированный, глядя на дверь, и она почему-то долго не отворялась. Но вот она со скрипом чуть приоткрылась, показалась волосатая красная рука и такая же морда. Из комнаты пахнуло теплом и каким-то странным, тяжелым и приторным запахом. Вдруг сильным порывом ветра дверь открылась настежь, и в колеблющемся свете свечи Дмитрий увидел тоже колеблющиеся, висящие на веревке, как белье, огромные куски белого мяса. От одного куска свисала, словно привязанная, человеческая рука с длинными пальцами и четко синеющими венами... Оба людоеда бросились к Дмитрию. Он видел только протянувшиеся к нему волосатые руки и вылетающие из орбит глаза на больших красных харях. Прыгая через несколько ступеней, он уже бежал вниз, оглушенный топотом тяжелых ног и руганью.

– Не уйдешь, паршивец! – прошипело почти над ухом, и рука преследователя схватила за воротник пальто.

Дмитрий остановился и, резко выбросив обе руки назад, наугад схватил кисть людоеда и рванул, что было сил, через плечо. Пригнуться не нужно было – людоед был выше на несколько ступенек. Он растянулся на лестничной площадке. Перепрыгнуть через него было делом одной секунды, и съехать по перилам, как в школьные годы, ложась плашмя на поворотах, другой. На последнем пролете не в силах был удержаться, соскользнул, упал на пол, но сразу же вскочил и, шатаясь, вышел на улицу. Если бы за ним погнался другой, то уже не хватило бы сил уйти. Но опасность миновала. По переулку громыхал на ухабах легкий военный грузовик.

– Людоеды! – закричал Дмитрий почти в беспамятстве, показывая рукой на зловеющий дом. Грузовик остановился как вкопанный, вскинув задними колесами и бортиком. Из кабины один боец вылез, другой выскочил, да еще подпрыгнул на снегу.

– Людоеды? Вот здорово! – воскликнул он восхищенно.

– Мы их чичас... – деловито сказал другой. Высокие и худые, один веселый, другой злой, вошли они в дом, и через несколько минут Дмитрий услышал два выстрела. Потом, видимо, для верности, еще один, и веселый вышел еще веселей, а злой – злей. Он нес полушубок, сердито бормоча:

– С паршивой овцы хоть шерсти клок.

– Хороший клок! – смеялся другой. – А я кусок хлеба нашел. Хочешь? – он протянул Дмитрию его узелок с хлебом.

– Спасибо, – поблагодарил Дмитрий. – Это мой хлеб. Я и забыл о нем.

– Твой – не твой, бери знай, коль дают. А хошь – сфотографируемся на фоне людоедов? И этих... окороков. Там бывших человек пять висит.

– Чичас, так я тебе и разрешил. Не знаешь, запрещено? – буркнул злой, снимая с себя шинель (на петлицах френча блеснули кубики лейтенанта) и влезая в полушубок.

– Откуда вы? – спросил Дмитрий.

– Да с трассы мы, – нехотя ответил веселый и помрачнел. – Вот, все дразнят нас: невоюющая армия. А будто мы виноваты? Наш генерал – орел. Это мы спасаем весь Ленинград через нашу Ладожскую трассу.

– Как он там поживает?

– Ктой-то? – не понял веселый.

– Да ваш генерал.

– А ничего, как подобает. С дочкой вместях воюет. Такая девка – весь фронт ее знает. Скромняга такая, и работающая, фельдшерица. А ты что это так близко к сердцу принимаешь? Даже вроде покраснел.

– Привет им передавайте. От Мити, скажите. Они знают.

– Хорошо. Ну, прощевай.

Грузовичок дал ближайшему сугробу «задки» и помчался к Садовой. Дмитрий нашел на дороге палку и, с узелком в руке, побрел домой, как старичок, с опущенной головой и дрожащими ногами.

Из газет и радио он давно знал, где генерал, но что Тоня с ним – это было неожиданно. Упрекнул себя в недогадливости. Ведь это вполне нормально: разве может генерал оставить свою военно-обязанную любимицу? Давно бы написал ему, спросил бы о Тоне. Как раз на этот фронт письма все время идут. Надо немедленно написать. Неужели она так близко? Близок локоть, да не съешь, – если переделывать поговорки не только на голодный лад, а прямо на людоедский... Эти белые круглые локти, целованные им – жаль, что так редко! У кого еще были такие локти? У хозяйки Обломова? Не потому ль он на ней женился? Или просто так –

сошелся? Что-то память стала сдавать. Еще бы. Выражение тоже – «сошелся». Да, сошелся – и все, кому какое дело. А потом взял и разошелся...

Около нового Обуховского моста навстречу шел мужчина в шубе и с таким же Сургучевым лицом, как у ставшего только что бывшим блокадного боярина. В мирное время такие лица называли просто вывесками, не разбираясь, что на них написано. Теперь им не было названья и не должно быть места под блокадным небом. Это нахальство – иметь такое мурло. «Людоед, определенно людоед!» – подумал Дмитрий и невольно отшатнулся в сторону. Еще дрожали руки и колени от сражения на лестнице, от сверхчеловеческого напряжения всех мускулов в минуту отчаянной борьбы за жизнь. И, как никогда, хотелось есть.

А шуба шла прямо на него, и сургучевая печать глядела снисходительно, со смутно знакомой нагловатой улыбкой. Вот она ослабилась, небрежно выплюнув папиросу на снег:

– Алкеев, неужели не узнаете? Я секретарь райкома комсомола Петров.

К Дмитрию вернулось спокойствие. Но это было обманчивое спокойствие человека, только что пережившего смертельный страх, когда он и сам не знает, спокоен он или, наоборот, – до безумия зол и не знает, что скажет и что сделает через минуту или секунду. Он тихо сказал:

– Теперь узнаю.

– Что же вы, испугались меня, что ли?

– Да. Я думал, что вы людоед.

– Что вы...

– А я виноват, что вы так похожи на людоеда? А может быть, людоед вы и есть. Мне хочется плюнуть в вашу сытую физиономию.

– Алкеев!

– Что, товарищ людоед Петров?

– Не забываетесь. Вы комсомолец.

– Пошел к черту, сволочь! Людоед!

– Да вы с ума сошли!

– Может быть. Исключите меня из комсомола, как сумасшедшего. Жалеть не буду. Обойдусь.

Секретарь пренебрежительно махнул рукой и быстро пошел к центру города. Дмитрий плюнул ему вслед. Подумал: «Это я в сердцах, – и улыбнулся, вспомнив Тамару, и по-настоящему, а не отстраненно от самого себя, как только что, и успокоился. – Но вот, что значит – нельзя за себя ручаться. Голод зол. Холодную пустоту желудка он наполняет тяжелыми раскаленными камнями злобы и ненависти... Ну и денек...»

А тут еще Саша пришел с какими-то котлетами. Не успел Дмитрий обогреться и вздремнуть около буржуйки, как он разбудил его своими обычными возгласами, начиная от «Эврика!» и кончая «Вот так я!»

Котлеты были белые, Саша уверял, что они очень вкусные «и даже какие то сладковатые».

– Вот потому-то я их и не буду есть, – сказала Тамара – На мой взгляд, надо быть идиотом, чтобы упасть на такие котлеты. Это же обыкновенное человеческое мясо. Настоящее. Без подделки. Кушайте на здоровье. А я лично воздержусь.

Саша выменял четыре котлеты на пузырек масла (имеется в виду олифа) – свою долю от последнего литра, нацеженного из второй, и последней бочки в подвале Дома техники. Поэтому он никак не мог примириться с такой неудачей. Неуверенными шажками ходил он по кухне, хватал себя за голову и просил Тамару, чтобы она его чем-нибудь ударила. Она спросила, сколько котлет он съел. Одну? Все равно, она теперь не может его даже ударить, не то чтобы сесть рядом с ним. Хорошо, тогда он знает, что ему делать. Он снова пойдет на Сенную площадь и променяет эти котлеты на папиросы. Он не даст им себя надуть. Он им всем покажет!

И только когда он вернулся с пачкой папирос и Нина пришла с работы, Дмитрий рассказал о том, что с ним произошло. В отличие от Саши, он не любил ни лгать, ни привирать, но изредка фантазировал, что для всякого студента не грех. Поэтому он боролся с двумя людоедами: один его укусил за локоть, другого он перекинул через себя, дернув его за две бороды. Он же их, конечно, и убил – из пистолета, любезно предложенного одним из патрульных матросов. Матросы были с крейсера «Киров».

– Ну и выдержка у человека! – обиженно-восхищенно сказал Саша, выслушав.

Во всей этой истории его больше всего удивило то, что Дмитрий рассказал о ней не сразу. Нина сказала, что если еще раз, то... «Что» – она сама не знала, так была поражена. Тамара всхлипывала, но не выдавала себя:

– Какая я, дуреха, стала нервная. Чуть что – плачу. А захочу – могу и разрыдаться. Я такая, вы меня не знаете.

– Да, тебя знать трудно, – согласилась Нина.

Утром, когда Нина ушла на работу. Дмитрий проснулся от того, что кто-то укрывал его одеялом. Сразу протянул руки во тьму и обнял худенькие, податливо дрогнувшие, плечи.

– Тамара, ты?

– Да. Подвинься-ка. Я же вам не нанялась всю зиму в одиночку спать в холоде. Нет заботы о людях, как писали в газетах до войны.

– Только потише, чтобы Саша не услышал.

– Ну и пусть. Я ж просто так. Ты ж меня не тронешь, потому что любишь. На мой взгляд, это настоящая чистая любовь, как пишут в романах. Главное, что я хотела сказать: ты прости меня, это я во всем виновата. А это колечко я выброшу. Нет, лучше отдам Малиновскому за что-нибудь. Хорошо?

– Хорошо.

– Ах, милый, если бы ты знал, как я рада, что они тебя не съели.

30. Шоколадный медвежонок,

Саша, как на грех, проснулся и встал первым. Увидев, что Тамара спит вместе с Дмитрием, в великом смущении потоптался около их кровати, потом по кухне, и хотел уже уйти совсем, но Дмитрий проснулся. Тамара тоже открыла глаза и, увидев Сашу, закрылась одеялом с головой.

– Ты куда это собрался таким воровским манером? – спросил Дмитрий.

– Никуда. Какое тебе дело? – Саша наклонил голову, словно хотел его боднуть, что у него всегда означало высшую степень «невсебяемости».

– Меня поражает, с каким наглым спокойствием ты смеешь смотреть мне в глаза, как будто ничего не случилось.

– Да ничего и не случилось, не думай.

– Тут нечего думать. Я пойду к нашим коммунарам. Мы теперь все для самообразования читаем Библию. Начали с «Бытия». Оказывается, Вася Чубук большой спец в этой туманной, проясняющейся только в години бед, области. Он чуть не наизусть весь Ветхий завет. Полезно бы и тебе подзаняться этим предметом.

– Да я уж начал было, только с Нового Завета.

– И плохо сделал. Поэтому ты не знаешь, как, например, Сара и ее служанка Агарь перебрасывались между собой Авраамом.

– Я и знать этого не хочу. Кажется мне, что можно читать, изучать и даже знать наизусть всю Библию – и быть богохульником.

– На словах – да, но не на деле, как некоторые.

– Не бросайте камень в мой огород, из него все равно ни черта не вырастет.

– Прощевайте. Я с вами больше не гуляю, как говорят дети на юге.

– Ну, и походи, прогуляйся.

– Да-а, дела. Я понимаю, говорят – сам я не испытал – будто голод обостряет все чувства и всякие инстинкты. Но это только на первых порах. А теперь пора бы уже, кажется, всему этому притупиться.

Саше не хотелось уходить, но, видя, что его не удерживают, ушел, хлопнув дверью. И не успели отшаркать его шаги в коридоре, как Тамара сползла с кровати каким-то особым поворотом ног. Видно, дорого ей досталась выдержка под одеялом.

– Я слыхала весь ваш литературно-художественный разговор. Мне очень стыдно, хотя Саша и не совсем прав. Впрочем, все равно – война.

Дмитрий быстро оделся и вышел на улицу, но Саши уже и след простыл. Не только простыл, а покрылся ледяной коркой: мороз ударил Сашин плевком на лету. Вот если бы он так снаряды на лету хватал, замораживал бы, не давал разрываться. А то ведь почти непрерывно свистят, шелестят, шипят, трахают. Пожалуй, это слово – «трах» – лучше всего определяет разрыв снаряда в городе. А в снежном поле звук какой-то тарахтящий получается.

Несколько дней подряд начали обстреливать, вернее, теперь уже просто расстреливать город поздним вечером, перед сном. Перед своим сном, потому что осажденные ложатся спать рано.

Снова заговорило радио, но только на время обстрела. Диктор с равнодушной хрипотой объявляет, что такой-то район под обстрелом, и в черном дупле репродуктора дятел-метроном долбит тишину, пока его и ее не оглушит приблизительный снаряд, не говоря уже о накрывающем.

Оставаясь один, Дмитрий читал книги, вернее – старался читать: вначале механически, потом, когда где-то разрывались первые снаряды, начинал вникать в смысл. Это он называл

дрессировка чтением. Но не всегда она удавалась: под одеялом не раз прошибало холодным и липким потом страха. Нелегко одному в доме переживать артобстрел.

Нина обижалась, что он упорно отказывался «спасать жизнь», а Тамара...

– На мой взгляд, Митя не любит нас, если не хочет спасаться или умирать вместе с нами, – сказала она, и это были как раз те слова, что ему были нужны. Он стал «спасаться» вместе с ними. Это было куда приятней – слушать «бабские сплетни» Ивановны и двух старушек, охи и вздохи, чем быть один на один с метрономом в свистящей тишине, змеей вползающей в уши. Нина крестилась и бормотала одну и ту же молитву – другой не знала: «Отче наш». Тамара, дрожа, прижималась к Дмитрию и подставляла губы для поцелуя. Ей казалось, что так она меньше боится.

В подвал приходили еще мать с дочерью, обе по-блокадному неопределенных лет. Где они жили и откуда приходили, никто не знал, но не спрашивали, раз сами не говорят. Дочь блистала яркой – даже в темноте светилось ее лицо – голодной красотой, от матери же ничего не осталось для описания. Они ни с кем не разговаривали, но между собой вели бесконечный враждебный разговор, который обычно начинался шепотом, потом переходил на «глас осьмый», как говорила Ивановна. Дочь повышала голос:

– И когда ты сдохнешь старая дура! – и хрустела пальцами.

– На мать-то, не стыдно? – упрекала ее Ивановна.

– А почему она опять сожрала мои конфеты? В прошлом месяце потеряла свою карточку. Глядишь, и в этом потеряет, а я потом делись с ней. Больше – черта с два! Потеряешь – делай, что хочешь. А мое не тронь...

– Неужто вы не видите, барышня, что ваша мамаша не в сабе?

– А вы «в сабе»? – передразнивала «барышня». – Все мы «не в сабе». И не суйтесь не в свое дело.

Тамара однажды не выдержала и начала было:

– На мой взгляд... – но Дмитрий шепнул: «Молчи!»

– Ты прав, – сказала она утром. – Я всю ночь не спала, думала. Чья бы корова мычала, а моя бы молчала. Ведь сколько Нинка мне помогала еще до войны. А я – будто так и надо. Ни благодарности, ни уважения к ней. А сейчас – сколько она нам хлеба передавала, если посчитать хотя бы граммов по двести лишних в день? И я ее не люблю. За гордость. За себе на уме. За какую-то ненормальную, на мой взгляд, фальшивую скромность. А скорее всего – сама не знаю, за что. И эта стерва с изломанным голосом и тонкими пальчиками... ты видел ее пальцы?..

– Да, голодные пальцы...

– Так вот я спрашиваю, чем я лучше ее? К тому же она, на мой взгляд, ненормальная. А может быть, она права, что все мы ненормальные.

– Да, это редкий, слава Богу, пример распада семьи, – сказал Дмитрий будто самому себе, – что, кажется, страшнее людоедства. И то, и другое – кульминация голода и блокады. Сколько еще так может продолжаться?

– Да, ты прав. Как ты сказал?.. расп... разлад семьи идет полным ходом. Как бы и мы не разладились. Нинка дуется на меня. Ну и пусть. Мне так хорошо лежать с тобой в постели. А тебе со мной?

Он смотрел в ее глаза, целовал их. Она просила:

– Сколько раз тебе говорить: крестом целуй, понимаешь: правый глаз – левый глаз, лоб и губы. И так далее: правый глаз – левый глаз...

– Твои глаза, – шептал он. И тут же – противоречивые мысли, которые он называл оппозиционными, «правые», – стыдили: что делаешь? Зачем это нужно? Знай границы! «Левая оппозиция» на все смотрела сквозь пальцы – не все ли равно? Ей это нравится, тебе тоже, она тебя любит, ты ее, кажется, тоже, да и как ее можно не любить?.. – Твои глаза, – говорил

он, отмахиваясь от «правых», – они еще не раскрылись. Когда ты выйдешь замуж за какогонибудь лейтенанта, станешь женщиной, красивой и пышной, – ты увидишь, какие они у тебя неотразимые, твои глаза.

– А ты? Разве ты не увидишь?

– Что?

– Да мои глаза! И я не хочу никаких лейтенантов. Лучше я пойду за хлебом. Кажется, моя очередь сегодня.

– Да, иди. Я буду тебя ждать: вот ты придешь – не с одним куском, а и с кусочком своего сердца. Оно у тебя тоже, как глаза, еще не раскрылось – сердце твое.

Тамара слушала и ей не хотелось вставать. Шептала:

– Когда ты так говоришь, мне даже не хочется есть. Однажды увидела на улице Малиновского, пригласила:

– Зайдите на колечко.

– Какой пробы? – Управдом вздрогнул, шаркнул валенками, приблизился. – Ежели, например, пятьдесят восьмой...

– А я почему знаю...

Малиновский зашел, выторговал колечко за полплитки шоколада. И снова зачистил с визитами – «по инерции, да и потому, что в подведомственных кварталах не осталось в живых ни одного порядочного или интересного человека!»

Он имел управдомскую привычку входить без стука и, когда застал «влюбленную парочку» в постели, был очень доволен. «Так, так», – сказал он. И больше ничего не сказал. Ушел.

Час был ранний, «парочка» еще спала и не знала, какая неприятность ей грозит: Малиновский, не долго думая, – мелкая подлость не требует размышлений, как и небольшое добро, – пошаркал дрожащими ногами в булочную к Нине. Он выстоял на морозе больше часа, чтобы только сказать ей с невинным видом:

– А я был только сейчас у ваших. Спят себе в обнимку, детки. А чего им делать? Теперича молодых только сон и спасает. А мне вот, например, не спится, не знаю, почему.

– И что еще? – у всех продавщиц профессионально опущенные глаза, все они бледны и нервны, но Нина в упор взглянула на управдома, и глаза ее блеснули, как нож в руке. Она спокойно отрезала и взвешивала кусок хлеба очередным. – Что еще скажете?

– Да ничего. Я только так, – позавидовал, как они дружно спят.

– Ну и пусть. Вдвоем теплее.

– Оно конечно. А хлебца не отпустите мне без карточки? Я ее забыл дома. Потом занесу.

– Нет. Сами знаете, запрещено.

– Это не по-соседски вы поступаете.

– Вы тоже.

Малиновский ушел ни с чем, а ей хотелось все бросить и побежать за ним, спросить, не врет ли, а потом... Что потом? Нет, она никогда не сделает этого. Она не придет неожиданно, чтобы застать их в постели. Лучше не видеть... Она уже давно догадывалась, чувствовала – чуть не с самого Октябрьского праздника. Но подозрения были односторонни – падали только на Тамару. «Что ж, девчонка в таком возрасте – дело понятное». Потом она стала замечать все, и даже больше, чем было, – как всегда бывает в таких случаях. Но стыдила себя: в такое ли время ревновать. И молчала. Пусть он знает, какая она гордая. А сестра – до нее она когда-нибудь доберется.

Великая сила в молчании. Она промолчала и тогда, когда чутким ухом, в подвале, уловила их прерывистые, под снарядный свист, поцелуи. Пусть, пусть... Дмитрий был ее первой любовью. Конечно, были Вани, Миши, военные – вечная слабость русских простушек. Но с тех пор, как она познакомилась со студентами, лейтенанты перестали ее интересовать, хотя

среди них встречались красивые и неглупые молодцы – «надежда родины». Впрочем, кажется, во всем мире есть девушки, чьи первые любви проходят обязательный «военный» период. У некоторых он продолжается всю жизнь.

Два чувства боролись в ней: мести и безнадёжности, и второе, по природе своей, пассивное, уступало первому. Потом оба они уступали третьему – когда она, с порезанными, как никогда, пальцами, подходя к дому, вдруг с ужасом подумала, как же будет смотреть им в глаза, что им скажет, с чего начнет? И решила: пусть. Снова промолчит. Она спасает им жизнь и будет спасать до конца. А потом она им обоим покажет. Покажет на дверь. «Я знаю, что я злая и нехорошая. Надо бы им совсем простить. В любви никто не волен. Но они обманули меня. Они поступили подло. Я спасла им жизнь, а они, выходит, смеялись надо мной? Хорошо. Не вечно быть блокаде. Пусть потом идут на все четыре стороны».

Это третье чувство – прощенья их до поры до времени, решение спасти их до конца – хоть горько и холодно, но успокоило ее. «Я – гордая. Я благородная, – сказала она себе, – а они – свиньи», и вошла в дом, и сказала «Добрый вечер», и пила с ними чай со сладкой русской землей бадаевского сорта, и играла в карты. «Дурак» – умная игра, и если втроем – каждый отвечает за себя, и малейшее жульничество или неверный ход обычно вызывает бурные споры. Тамара всегда была большая мастерица «мухлевать». Дмитрий, шутя, помогал ей – и Нина неизменно оставалась в «дураках». Но на этот раз, уличив сестру в фальши, она вдруг бросила карты ей в лицо:

– Довольно вам надо мной смеяться! – сказала она. – Уж не считаете ли вы меня и в самом деле за дуру? – и, рассыпав колоду, ушла на кухню. Тамара открыла рот, но свой взгляд не успела высказать: засвистел снаряд.

В подвале все старушки были на местах, но «приблудных» матери с дочерью не было. Ивановна, как всегда, держала на руках дочурку, которую теперь кормили ее мертвые братья, баюкала:

– Спи, спи, моя доченька единственная. Когда они свистящие – лучше всего спать. Немец свистит, а Катя себе спит... Баю, баю, немцев забодаю...

До войны Катюшу знали, любили и баловали во всех, теперь сгоревших, соседних деревянных домах. Звонкий ее голосок слышался от Холодильника до Балтийского вокзала. На этом, для нее огромном, суетливом и шумном куске земного шара она была – у себя.

Она никогда не сидела на месте: порывистые ручки, стремительные ножки. Но быстрее всего в ней были глаза – в них так и прыгали солнечные зайчики. Не отставал от них и язычок. С блокадой сузился мир для всех, а она знала только кровать да теплые руки матери. Сузился мир, сужалась и жизнь. В Катеньке теперь все было медлительно или совсем неподвижно: она уже не могла ходить, едва говорила и нехотя водила по сторонам помутневшими глазами. И сама смерть, казалось, медлила. Мертвые братья кормили сестру.

– Что-то этих ругательниц нет, – прошамкала одна старушка.

– Да уж, что и говорить, срамницы! – отозвалась другая. – Я свою Лидушку вспоминаю – уж какая была для меня обязательная. Сперва, бывалча, мне кусок хлебца отрежет, потом сабе. А отца своего уж как спасала! И колечко свое на базар снесла, и шубку. И вот обоих их теперь нет. Осталась я одна. И зачем, спрашивается... А вчерась таскалась я на Петербургскую сторону, проведать мужниных родственников. Сидят, как на вулкане: молодая должна вот-вот разродиться. Нашла время. И кого же она родит? Разве это человек будет?

– Человек-то, может, и будет, – сказала Ивановна, – это не нам знать, но зачем ему рожаться? Разве он выживет в блокаду? А если и выживет – опять вопрос: для чего? Ведь если жизнь после блокады и войны будет такая же, как и до – тогда, прямо скажу, родиться этому человеку будет незачем.

«Да, недаром все считают Ивановну рассудительной, – подумал Дмитрий, – только это не может быть, чтобы жизнь после войны не улучшилась. А может быть, мы все пойдем по жизни, как вдоль деревни, от избы до избы – от войны до войны?»

Снаряды свистели и шелестели долго, но ни один не прошипел, не разорвался. Нина с детства привыкла все считать. Она насчитала десять разрывов близких и около двадцати дальних. Четыре поцелуя разорвались у нее над самым ухом.

С этого дня сестры стали обращаться друг к другу на «вы» и язвить пуще прежнего. Старшая называла младшую не иначе, как «дура неумная», или, в новой редакции, «дура ненормальная»; Тамара не оставалась в долгу:

– На мой взгляд, если вас интересует, вы еще до войны были малохолдные.

Днем под Новый год зашел, как всегда на минутку, Малиновский.

– С праздничком вас заранее, – поздравил он.

А получилось – и со скандалом. Сестры готовились к празднику. На столе были печенье, полученное по «объявленному» талону, бутылка коньяка и кусок хлеба, под столом – полведра пива. Нина пришла с работы раньше обычного, после обеда.

Дмитрий начал с пива. Пил понемногу. Ждал – не придет ли Саша. Обо всем хотелось поговорить с ним, с другом: о сестрах, о генерале и Тоне, о том, что же делать дальше. Не податься ли нелегально на фронт к генералу?.. Ждал Сашу и пил. Тамара колдовала над тюрей, будто по счету бросая в нее кристаллики соли. Брызгала воду на пол, по-купидонски надувая щеки, подметала. Напевала:

*«Мы так близки, что слов не нужно,
Чтоб повторить друг другу вновь,
Что наша нежность и наша дружба —
Сильнее страсти, больше, чем любовь».*

Повторила, вызываясь глядя на Нину: «Да, больше, чем всякая разная любовь». Нина не обращала на нее внимания – гадала на картах. Тамара собрала сор и бросила его в буржуйку, чтоб «не выносить из избы».

Но он уже был вынесен – Малиновским. Недаром обе старушки и даже неактивная сплетница Ивановна заходили на бур-жуйкин огонек, справиться, как идут дела. У Ивановны плоские, как нарисованные, богородичные глаза. Их взгляда не выдерживал Малиновский. Тамара тоже.

– Дела как сажа бела, – отрезала она, сразу поняв, в чем дело, и прибавила в рифму: – будем пить, была – не была.

Такой ответ всех удовлетворил. Старушки ушли довольные, покачивая головенками, черными, как головешки. Ивановна посидела еще немного, посветилась своим добрым лошадиным лицом, и тоже ушла. Потом вернулась из коридора, чтобы сказать тихо, глядя почему-то на одного Дмитрия:

– А вы бы в церковь пошли. Слышно, будто открыта одна, работает – на Театральной площади. Я забыла, прошло Рождество или будет? А сегодня как будто, новогодняя всенощная будет служить, по новому стилю. Я Катюшу повезу в саночках.

– Может быть, почему нет, – машинально сказал Дмитрий, не в силах оторваться от ее пристального взгляда.

Он все пил и пил пиво, потому что Саша все не шел. Со стены смотрел Ленин со лбом Сократа и прищуром Чингиз-хана. Что было в нем русского? Даже борода – троцкистская. Сердце? Да, над сердцем, кажется, и он не был властен. Может быть, оно было – русское. Сердце его никто не разгадал. И стоило ли разгадывать?

Да, стоило. Поживи он дольше – может быть, не было бы ни Колымы, ни Соловков. Ни Ленинграда, ни блокады?

Саша так и не пришел, поэтому Дмитрий ополовинил полведра пива. Вспомнил Есенина:

*«На стенках календарный Ленин...
Здесь жизнь сестер, сестер, а не моя!»*

– И, кажется, не моя, – сказал он вслух.

– Кто – не твоя? – спросила Тамара. – Я?

Он смотрел на нее молча. Не будь она такой лукаво-черноглазой – так похожа была бы на Тоню. И это неотразимое сочетание внешней плавности и медлительности с внутренней порывистостью.

– Некоторые уже, кажется, начали не только пить, но и напиваться, хотя до Нового года еще целая вечность. Тамара, подавай! – велела Нина и села за стол, печальная. Она имела в виду тюрю – подавать было больше нечего. Тамара не заставила себя ждать.

От тюри шел головокружительный пар, пиво дымилось в стаканах, и кровь еще пламенела в жилах: молодость...

Тамара выпила полстакана, покашляла и притихла над тюрей. Дмитрий выпил пива и коньяку. Нина, к его удивлению, не отставала. И быстро пьянела.

– Надо быть благородной, – сказала она, – иначе эту влюбленную парочку можно и с голоду уморить. Ах, извините. Я думала – про себя. Ведь про себя все можно, все тактично и все прилично...

Дмитрий недослышал, Тамара, хитрая, сделала вид, что не слышала. Из черной лейки репродуктора вдруг полилась музыка и ударил такой бравурный марш, что Тамара испугалась:

– Как бы этот репродуктор не сорвался со стенки да не начал маршировать по нашим головам.

А Нина заплакала.

– Странное явление, на мой взгляд, – заметила Тамара. – Пятый раз в жизни вижу ее пьяной, и пятый раз она плачет.

Нина подняла голову и, посмотрев на нее, поджала губы:

– А ты бы выпила, чем насмеяться. Тоже мне – фокстрот «Всеми любимая».

Тамара отказалась пить:

– Всем известно, что я непьющая.

– Знаем мы таких. Непьющая, негуляющая, – Нина еще больше поджала губы и сузила глаза. – Помнишь, как в фильме «Иудушка Головлев», что мы вместе с тобой видели, когда ты была еще моей сестрой: «Пей, подлая, пей!..»

Тамара встала, воинственно подбоченилась, но сказала только:

– Я знаю, это Малиновский. А ты – верь. Ненормальная, малахольная и так далее...

Ушла в свою комнату и закрыла дверь. Дмитрий тоже встал.

– Если так, я уйду от вас, – сказал он тихо, сам не веря себе.

Долго обувался, еще дольше надевал пальто – ждал, что она скажет. Бесконечно искал шапку – ждал, не станет ли удерживать. И дверь открывал медленно, и она скрипела, но уже закрыл ее одним махом. И ушел, не думая, не зная, что – навсегда. Бормотал удивленно:

– Вот тебе и Иудушка Головлев... «Недотерпеть – пропасть, перетерпеть – пропасть»... И «Претерпевшие до конца спасутся». А это откуда? Из Евангелия. Пойду-ка я к своим, на конюшенное положение. Послушаю Библию в интерпретации Васи Чубука. Претерпевшие... До какого конца? Конца чего?.. И какие бывают люди свиньи: до последнего вздоха готовы они сплетничать и пакостить друг другу.

Долго стоял на крыльце, глядя на небо. Жидкий свет просачивался сквозь тучи, блокирующие луну, на восточном краю неба. За Митрофаниевским кладбищем слышались четко отпечатанные в морозном воздухе пулеметные строки, знаки препинания отдельных выстрелов и асцент grave орудийных вздохов, и зажигались звезды – будто кто-то с грохотом высеивал их, как медяки и бриллианты, во всей видимой и невидимой путанице, на небесное дно.

«Люди свиньи. Небо, зачем ты мечешь перед ними этот бисер звезд, бриллианты звезд? Но разве все люди свиньи? Есть и порядочные. Порядочные свиньи. Нет, правда, всюду есть злые и добрые, или нет ни злых, ни добрых, а есть счастливые и несчастные, великие и малые, и есть – поэты. Вот кому нужны звезды. Все поэты живут на медяки звезд. Да, к сожалению, чаще на медяки, чем на бриллианты... И что я стою? Чего дожидаясь? Чтоб вернули? Нет, это моя первая в жизни семейная кибитка тоже, кажется, потеряла колесо». Но забубнили правые оппортунисты, не давая сойти с покатою обледеневшей ступеньки – сделать решительный шаг: «Вернись. Здесь хоть какой-то уют, и тепло, и любовь, и лишний кусок хлеба». И он подошел к двери. Прислушался:

– Нина, прости меня, – говорила Тамара, – ведь ничего такого не было. Разве я виновата, что его люблю... просто так. И он нас обоих вместе любит.

Нина молчала, всхлипывала. «Все хорошо, и мне здесь нечего больше делать, – решил он, – а они помирятся. Если не сегодня, так завтра будут искаться друг у друга в головах, и вшивый поиск примирит их окончательно». «Левые» ликовали: «Вперед, может быть – на фронт, в новую жизнь, только не оставаться здесь».

Но ни правые, ни левые не знали, что впереди медленно шла и везла саночки с Катюшей Ивановна. И была она – как Истина.

– А мы все же решили в церковь пойти. Хотите с нами?

– Да, конечно, – согласился обрадованно. – Только с одним условием: я повезу Катюшу.

– Хорошо, будем по очереди.

К саночкам был приделан верх от детской коляски. Девочке было покойно в них, но Дмитрий боялся, что она замерзнет. А Ивановна не боялась этого: Бог не допустит. Ведь она в церковь везет свою Катюшу, а не в какой-нибудь райком или исполком. Теперь только Бог может ее спасти: сегодня карточки братьев кончились. Может, с завтрашнего дня прибавят хлебушка-то?

По дороге часто отдыхали. Дмитрий беспокоился – поспеть бы хоть к концу службы. Но Ивановна от кого-то слыхала, что в церкви служба идет всю ночь: «Священники и дьячки меняются, а служба себе идет. Массу покойников отпевают. Прямо пачками по сто Иванов или Марий сразу».

На Офицерской улице остановились отдохнуть последний раз. Церковь близко. Дмитрий вспомнил, что еще до войны она «работала» и даже стояла в «лесах»: ремонтировалась на средства прихожан. По Ленинграду ходили слухи, что в ней – кто тайком, кто открыто – поют в хоре артисты академических театров, консерватории и филармонии. Ивановна закрестилась: слышался колеблющийся между землей и небом колокольный звон. Дмитрий чиркнул спичкой, закурил. Со светом теперь меньше береглись – налетов авиации давно не было. Вдруг Катюша слабо вскрикнула, подняла свою укутанную в черный платок головку с выбивающимися светящимися локонами и снова уронила ее в кузовок.

– Мама, там, посмотри, – она указывала рукой куда-то вглубь выбитого окна. – Когда закончится война, ты мне купишь такого шоколадного медвежонка?

Дмитрий снова зажег спичку и, обернувшись, почти с ужасом увидел рядом с собой добродушно ослабившегося бархатного медвежонка.

– Куплю, конечно, куплю, – пообещала Ивановна, а Дмитрий, чуть не плача, прибавил от себя:

– И не только медвежонка, но и много других красивых вещей: платиц, лент и всяких игрушек. Только подожди немного – когда окончится блокада! – Он говорил громко и уж не мог удержать слез, эти слова ему хотелось бы сказать всем детям Ленинграда, и хотелось бы, чтобы они услышали: – Только подождите немного, когда окончится война, когда каменная грудь Северной Пальмиры освободится от тисков блокады и вздохнет свободно, когда залечит свои раны, когда зажгутся огни на Неве... Огни на Неве... Кто их видел – у того они горят в душе всю жизнь.

Из двери этого дома, где так чудесно жил и уцелевал в занесенном снегом окне, как в берлоге, шоколадный медвежонок, вышла высокая девушка в шинели. Она блеснула глазами из под белого платка, прошла мимо. «Интересно, куда она пойдет», – подумал Дмитрий – и потянул саночки вслед за нею. Она шла прямо к церкви, и мягкий силуэт ее, сотканный из снежинок, путеводно маячил.

– Вот и военные таперча в церковь ходят, – сказала Ивановна. – А нам и Бог велел.

Луна пробилась сквозь блокаду туч, полоснула голубыми мечами по городу, застыла в изумлении над колокольной: слушала строгий и скорбный звон, то вздымающийся к небу, то падающий на землю, смотрела вниз. За свою бесконечную жизнь она, кажется, еще не видела таких мертвецов, таких полумертвых и полуживых людей, такой человеческой веры, рожденной в нечеловеческих муках.

Длинной вереницей в несколько рядов лежат, завернутые в одеяла и простыни, и просто так, сотни и сотни трупов – и на санях, и на половых досках, и прямо на снегу. Есть и покойники-«лыжники», привезенные на лыжах.

Мертвые тоже встречают Новый год!.. Принесет ли он им новую жизнь?

А что ждет живых? Их ждет смерть. Они же, упрямые, ждут прибавки хлеба, как прибавки жизни.

И холод такой, что даже свет луны, кажется, согревает.

А в церкви тепло от горячего бормотанья молитв, от того, что даже райскому яблоку упасть негде, от горящих коптилок и плошек. Свечей нет – давно все съедены.

Тихо поет хор. Потом – «Святаго Евангелия чтение» и «Слава», кажется, «глас осьмый». Дмитрий невольно улыбается Ивановне: ее конек. Священник долго говорит о терпении и покорности. Изможденные лица обращены к алтарю с таким напряжением, что на тонких шеях вздуваются веревочные жилы. Старушки тычутся головами в спины друг другу – бьют поклоны. Многие плачут. Несколько шинелей стоят неподвижно. И вдруг среди незнакомых церковнославянских речений Дмитрий слышит тихое скороговорочное бормотание Ивановны:

– Пошли нам Господи, чтобы на Новый год прибавили хлебушка, да чтобы объявил Попков понемногу крупичицы, или еще чего-нибудь...

Невольно и он прошептал: «Пошли, Господи. Услышь эту молитву всего Ленинграда».

Кто-то с легким вздохом тяжело оседает всем телом. Яблоку упасть негде, а человеку всегда есть где упасть. Поднимают, выносят:

– Дорогу, граждане. Не видите – человеку дурно сделалось.

Острота дурного вкуса над мгновенным покойником, да еще в церкви. Голодное остроумие редко опошляется так. Чаще оно горькое и печальное, но и тонкое, достойное первых горожан России. Завтра, например, поняв тщетность надежд на прибавку хлеба, будут поздравлять друг друга:

– С Новым годом, с новым Голодом.

Ивановна в левой руке держит дочь, правой мелко и часто крестится.

– ...чтоб объявил товарищ Попков, – твердит она молитвенно.

«Попков, пожалуй приплетен к молитве не канонически», – думает, улыбаясь, Дмитрий и хочет ей сказать об этом, но она строго отмахивается:

– Не дышите на меня своим коньяком.

Попков, председатель городского Совета, стал председателем и нового Продовольственного комитета при Военном совете. Сообщения от этого комитета – их было пока только два – передавались по радио в последнюю очередь – но каким нетерпением все их ждали! Первое сообщение от 25 декабря, подписанное Попковым, было о прибавке хлеба, второе – о выдаче сухого картофеля, по 200 гр. Теперь только и слышно – не сказал ли чего нового Попков? Потому и в церкви имя этого самого популярного сановника шепчет не одна Ивановна...

Хор зазвучал напряженной, взбираясь все выше, будто стремясь к самому престолу Вышнего.

«Надо верить, – говорил себе Дмитрий, – верить во все Вышнее, в Бога, луну и солнце, современную языческую Троицу».

А хор мощно взмывал и звал, словно черпал все новые силы в самой переполнившей храм народной вере или в других двух вблизи стоящих на площади, храмах искусства – консерватории и Мариинском театре. Два-три тенора всероссийской красоты взвились под купол, затрепетали там, как голуби. Вот, кажется, они пробили брешь в куполе... Дмитрий всегда смеялся над экзальтированными дамами в партере, падающими в обморок от какой-нибудь классической кантаты. Но это было что-то другое. Это было выше его сил. Он заплакал.

За стенами храма тихо. Ни грома орудий, ни пулеметного клекота – с обеих сторон фронта, будто и русские и немцы боятся подстрелить эту незнакомую птицу – Новый год. Вот-вот слетит она из глубины Вселенной на застывший в короткой дреме фронтовой лес, сожженные пригороды, искалеченные парки, развалины города, купола соборов и шпили дворцов.

Вот если бы эта птица принесла в клюве зеленую веточку мира. И если бы эту веточку люди берегли и никогда не выпускали из рук!..

К полуночи многие уходят. Некоторых выносят. Старушки, получив вожденный простор, как жизненное пространство, истово бьют поклоны, бормочут на свободе – служба наконец закончилась. Падет такая, вся черная, на колени, а потом подняться не может.

Ивановна тоже – передала спящую Катюшу на руки Дмитрию, вступила в колеблющийся строй согбенных спин.

Чаще всего слышится «Царица небесная». Перед большой Ее иконой трещит лучина. Еще есть русские люди, умеющие расщеплять дерево на лучины. И покуда они будут – Лучина России не догорит.

А вот Катина маленькая жизнь догорела на руках у Дмитрия. Он позвал Ивановну, передал ей вдруг отяжелевшее тельце-труп:

– Я устал. А она... Она, мне кажется, почему-то холодная.

– Катя-Катюша моя, и ты, и ты, – запричитала Ивановна. – Ну, что я теперь буду одна делать? Какая ты умница – у Бога умерла. И я хочу с тобой. Мы никуда не уйдем из церкви. Никогда...

Чьи-то выхваченные лучиной из тьмы руки взяли Ивановну за плечи, отвели в угол.

– Здесь, – сказали ей. – Когда придет священник...

Дмитрий шел по театральной площади, без конца повторяя: «Какая ты умница – у Бога умерла», – словно скорбь этой женщины-матери хотел выучить наизусть, взять и нести к себе, как свою. «Эх, Катенька... Была ты вся быстренькая, потом – стали медленными даже твои глазки, а теперь вся ты неподвижная. Не видать тебе Шоколадного медвежонка и огней на Неве...»

И он снова подошел к Шоколадному медвежонку, зажег спичку – и увидел его оскал, но теперь он показался ему хищным и насмешливым.

– Вон ты какой, – сказал он злобно, – ну, погоди, ты меня не знаешь. – И полез по сугробу к окну, два раза соскользнул вниз, но на третий – схватил Медвежонка за фанерно-бархатную ногу и рванул вниз. Медвежонок упал на мостовую вместе с прочей бутафорией витрины, баночками и коробочками.

– Ха-ха! Вот ты какой ладный-шоколадный. Но я тебе не Микоян. Вот получай: р-р-раз, два...

Медвежонок был разорван на части и втопан в снег. Сколько людей разорвано на клочки! Будь же и ты растерзан – фальшиво-сладкое воспоминание об ушедшем мире. Когда окончится война, пусть люди соберут по кускам и тебя, и свои разбитые – маленькие и большие – и такие страшные жизни.

Высокая военная девушка в белом платке испуганно взглянув на него, быстро вошла в дом.

Флагманская луна в окружении дозорных звезд и бесчисленных млечных караванов плыла по океану вечности – над Адмиралтейством, Петропавловской крепостью, Исаакием, Театральной площадью. Над тысячами городов и сел плыла она в этот новогодний час, когда где-то кто-то улыбался, и пил вино, и дарил детям игрушки.

Только не здесь, не в Городе Апокалипсиса.

Но все равно, свет и тепло человеческого счастья, в какой бы части света и как бы далеко оно ни жило, – волнами сочувствия и сострадания доплескивало и сюда, поддерживало слабое горение жизни.

А ведь когда-нибудь может настать такое, что ни на одном клочке земли не останется ни капли счастья – как ни капли вина, не расцветет ни одной улыбки, и девочка Катя, или Катрин, не будет даже знать, что такое Шоколадный медвежонок. Впрочем, такое может и не настать.

31. Две встречи

Все сумрачно и хмуро под свинцовым небом. На Театральной площади – затоптанный, грязный прошлогодний снег. Постепенно он покрывается пушистой пеленой новогоднего. Крупные, кажется – хлопчатобумажные, снежинки планируют над продырявленной крышей консерватории, над Мариинским театром, с отколотым правым крылом, накренившимся над Крюковым каналом; над памятником Глинке, ничем не прикрытым и покинуто выглядывающим из высоких сугробов; над развалинами домов, окружавших когда-то веселую и нарядную площадь.

Тоня медленно, задумчиво шла по площади. Старушка-«ероиня» первый раз за всю блокаду, а может быть, и за всю трудовую жизнь не пришла на работу, и это беспокоило Тоню. Не было ее и вчера у памятника Глинке, где договорились встретиться, чтобы вместе идти в церковь. Может быть, пришла потом, но в церкви, среди бесчисленных одинаковых старух, при лучинном свете, едва расщепляющем тьму, Тоня даже не искала ее. А искала она почему-то того высокого апокалиптянина, что вместе с какой-то «теткой» вез саночки с ребенком. Дважды в молитвенной толпе, среди испуганных глаз – встречала она и его глаза. Бывает так: прилипнет чей-то взгляд к груди, а потом – и до самого сердца. Недостаток генеральского воспитания, – думала она. – Чудес не бывает. Почему? Ничего чудесного нельзя ни ждать, ни верить ему. А сам, небось, крестится украдкой – сколько раз видела. Ему, «генераше», можно. Он – старой школы. А сколько той школе лет? Века или тысячелетия?..

Может быть, знакомые или даже родные Дмитрия глаза зажглись и погасли, затертые льдинками других, наплывающих на алтарь глаз. А потом над растерзанным ее шоколадным медвежонком – она так привыкла к нему – не эти же ли блеснули глаза?

«Какой-то сумасшедший», – подумала она. И всю ночь не спала. Ругала себя: почему не подошла. Ведь все они сумасшедшие. Особенно мужчины. Что ж их бояться. Не съедят. Впрочем, могут и съесть... А глазами... Глазами ее пожирали многие, еще не вымершие ловеласы. Как будто их и голод не берет. Все военные женщины или блокадные красавицы, которых тоже голод не берет, – неизменно привлекают их мгновенно преображающиеся, вполне осмысленные, светящиеся голодным восхищением взгляды, и в них было что-то не от мира сего, а от мира мирного, ушедшего, или того, в котором все ловеласы были уже одной ногой. Некоторые дон-жуаны ухитрялись даже, верные привычке, с трудом и плавно оборачиваться, чтобы долго долго смотреть вслед, или, на их языке, «взад», что, кажется, точнее.

И об этом писала Тоня генералу в письме, полном, как она сама признавалась в постскрипуме, «всяких глупостей вперемежку с ужасами»...

– А шоферам верь, – советовала между прочим. – И если ты хочешь знать, мне плевать на всякую цензуру. Город вымирает: 20–25 тысяч в день. Сколько же это может продолжаться? О чем вы там все думаете? Соберите же все свои дурацкие орудия и ударьте по немцам! А потом мы все пойдем их бить до самого Берлина, а я лично – ты меня знаешь – могу пойти еще дальше. А пока они бьют Ленинград. Ох, как бьют... Кроме того, черт возьми, я видела нашего прекрасного родственничка – Иванова-Подлейшего, как ты называл. Я теперь понимаю, почему ты даже не поручил мне, чтобы я к ним зашла. Но я зашла, как раз сегодня утром. Если бы ты знал, как я теперь его ненавижу. Он жрал на моих глазах настоящий суп из настоящих мясных консервов, а мне (учти, я очень голодная и злая) даже не предложил сесть, хотя он и уверяет меня, что временно уволен из НКВД. Не потому ли оба они все же заметно опухли-припухли.

«Все вы одержимые, – сказал он, – и мой двоюродный братец генерал, и его жена, и Вы. Почему Вы здесь? Я не дам Вам есть, не рассчитывайте. Пока генерал проложит свою трассу и заработает себе ордена, я не хочу протянуть ноги. Отправляйтесь к своему новоявленному спасителю Петрова града».

Я все же сдержала себя, поболтала с ним о том, о сем, очень интересном. А противная жена его, на которую я и до войны не хотела даже смотреть, чтобы не пачкать глаза, – все жрала и жрала свой суп, раздражая меня до безумия. Он еще сказал: «Жители много на себя берут. Мы их распустили, но мы же и снова можем прикрутить гайку».

А зверей из Зоопарка, крупных и ценных, оказывается, эвакуировали, еще когда работала московская дорога, а всякую мелочь – белок, лисиц и волков – пожрали «шакалы». Твой братец показал мне хвост и череп лисы, которую сам убил во время охоты в Зоопарке. Говорят, будто сам Ж. съел одного волка. А вообще, в черте города не встретить ни одного животного, кроме человека и, изредка, лошади.

Кроме того, сегодня он, Иванов, ожидает не менее 40 тысяч трупов: новогодний рекорд. И знаешь, почему? Дурьи головы решили в последний момент отобрать только что выданные карточки – у тех, кто успел получить их заранее, – и заменить новыми, разделенными подекадно. Идея хороша: если карточка теряется, то пропадет только третья часть. Но в типографии не успели отпечатать, почти весь город остался сегодня без хлеба, и я сама видела, как люди падают и умирают в очереди за карточками. Умирают наиболее внутренне дисциплинированные: они никогда не забирают хлеб ни на один день вперед, но одного дня без хлеба сегодня, по вине всяких Попковых (почему за это не расстреливают?) не выдерживают. Думаю, что от голода спасет нас всех только одно убежище – братская могила... «Вот и все у нас так, – говорят с тоской, – хотят сделать, чтобы было лучше, а получается – хуже». По-моему, это очень глубокая мысль...

Потом он сказал, что ты, плохой генерал и, главное, ничего не смыслишь в политике. Я не знаю, какая теперь может быть политика. Думаю, что – одна: бить немцев, а там видно будет, но на всякий случай сказала, что он дурак и что я все тебе расскажу. «Наплевать», – сказал он, и это меня окончательно взбесило. Я так раскричалась, что его жена перестала жрать и почему-то взвизгнула. А теперь в Ленинграде никто не взвизгнет, только такие стервы.

...Короче говоря, я решила, как поступила бы и всякая порядочная Дочь России (сам так называл – пеняй на себя), – остаться в Ленинграде. И пусть лучше я умру с голоду, чем видеть, где бы то ни было, сытых людей, зная, что мой город умирает. Мне кажется, что через несколько дней, если ваша трасса не поможет, начнут умирать по сто тысяч в день и по двести. И не зови меня. Я уже оформилась как фельдшер-доброволец. Оказывается, что теперь нужны добровольцы не на фронт, а с фронта. Конечно, я имею в виду медицинский персонал. Он почти весь вымер. Я страшно злая и часто плачу.

...Митькин институт разбомблен, переведен в им. Герцена, была там, спрашивала, но разве добьешься толку? Там даже такого и не знают.

В общем, прости, если чем тебя огорчила, – не в первый раз. А этому твоему Иванову, бывшему до революции доктором прав, а после – бесправия, укажи его место, т. е. где блокадные раки зимуют, а то я при встрече плюну ему в рожу. Вот. До свиданья! Если можно, передай там как-нибудь по радио привет маме и сестре...

Из госпиталя на фронт письма шли, но Тоня предпочла, для конспирации, опустить письмо в почтовый ящик бывшего Военно-ветеринарного училища, занятого теперь какой-то гарнизонной частью. Ящик висел у главных ворот училища, выходящих на Театральную площадь.

Она вышла без шинели – больничный халат на ходу шелестел, накрахмаленный морозом.

На горбатом Поцелуевом мостике сгорбившаяся старушка поскользнулась, упала навзничь и съехала на горбе вниз, на мостовую. Тоня, подойдя, оттащила ее в сторону – «готовую». Так поступают все сознательные граждане: в «Ленинградской правде», в листовках, на собраниях всех просят не оставлять трупы валяться где попало, а также «самим где попало

не умирать» – как шутят голодные остряки. Они же пустили по городу: «Даже старухи мрут как мухи: это – конец».

А вот еще одна старушка – сидит недалеко от почтового ящика, на крыльце забаррикадированной двери. Она словно задумалась, опутив голову. Нет, не задумалась, а молится.

И Господь принял ее молитву. Принял и увековечил. Пока она творила молитву, Он сотворил из нее памятник. Памятник-молитву: не донеся шепот до лба со сдвинутыми белесыми бровями, она уснула вечным сном. Завтра, или через несколько дней, ее так и положат в грузовик, и отвезут на кладбище, и похоронят – согбенной, с белыми от набившегося снега ломаными складками старенького пальто.

Не донесла старушка и письма до почтового ящика. Тоня подняла письмо у ее ног. Опустив его в ящик вместе со своим, прочла адрес: «На Ленинградский фронт, № 1245, сержанту Иванову (сыну) от Ивановой Пелагеи (матери)».

Видно, вымерли все соседи Пелагеи Ивановой, некому было писать – сама старалась.

Вспомнилось чеховское: «На деревню, дедушке...» Дедушка не получил Ванькиного письма, зато оно дошло до миллионов читательских сердец России...

«Вот такую бы мне шепот веры, – думала Тоня, глядя на окоченевшее старушечье трехперстие, – как стало бы все в жизни и смерти проще и легче... А не пора ли и мне – на фронтную деревню, к дедушке-генералу? Нет, надо держаться до конца, или пока не будет готова трасса».

Она шла, глядя на тучи. Когда же выглянет солнце? Звездные ночи и хмурые дни.

И сама поскользнулась на крутом мостике, чуть не упала. Хорошо, что вовремя ухватилась за перила – покосившиеся, чуть не вырванные с проволочными корнями из железобетонного грунта.

Они и были причиной того, что упавший на мосту мужчина не скатился вниз: зацепился ногой за отогнутый железный узор и лежал, вытянувшись, широко раскинув руки. Правая рука сжимала мертвой хваткой веревку от саней, оборванную, очевидно, в момент падения. Сани съехали с мостового пригорка вниз, уткнулись в сугроб.

– Двести первый – считая от Невского до Театральной! – весело сказал прохожий полусубок, спокойно, но с усилием перешагивая через труп. Взглянув на сани, он загнул еще три пальца, перекрестился и пошел дальше – считать...

На санях – труп женщины в простыне, а на нем, поперек – два детских трупа, упакованных в тряпье и перевязанных накрест веревками.

Тоня с трудом оторвала взгляд, словно он примерз к этому ансамблю смерти, страшному даже для Ленинграда этих дней.

Дмитрий шел, как пьяный. Да и выпито было немало. Он был согласен с Лениным: религия – опиум для народа. Этот гипноз речитативов, лучина, расщепляющая душу, и хор, поднимающей ее к небу, одуряющий запах ладана, покорность судьбе, тайное и явное – шепотное, шепотное призывание смерти как избавления – и тихий и страшный удар по нервам, сверху вниз, как сильной рукой по струнам. Нет, это было выше его сил, выше неверия. Лучше – подальше от этого. «Да, да, подальше, – бормотал он. – А голод-то! Как зол, стервец! Бедный медвежонок. Прости, микояновское создание. Я ни при чем: голод. Он помутил мне разум. Если господа присяжные заседатели не забыли, это второй припадок с господином неврастеником. Остается ждать третьего звонка, полного сумасшествия... Но вы не дождетесь. Мы будем иронизировать: ирония человека над самим собой всегда возвышает его над самим собой...

Да здравствует конюшенное положение на Конюшенной улице!...»

Но пришел в себя он все-таки около дома сестер. Инстинкт? Чего – любви или самосохранения? И того, и другого, но, кажется, понемногу – потому что он не войдет к ним – не вернется. Он даже подойдет к двери, прислушается к спящей тишине, но никогда в нее не

войдет... Но как знать? Зачем это страшное и гордое слово – никогда? Есть вещие слова, они мстят всю жизнь тем, кто бросает их просто так, думая, что в пустоту. Пустоты – нет. Природа не любит пустоты. Особенно пустоты желудка... И где ж он будет спать? Устал. И холод российско-апокалиптический. Идти в общежитие? Но до этой коммуны, кажется, так же далеко, как до коммунизма...

Стоял, прислонившись к косяку двери, за которой спали почти родные больше ему, чем друг другу, сестры, и им снились, наверно, разные, как все в них разное, сны, а для него... для него ничего не оставалось. Закрыв глаза, покачнулся, чуть не упал. Вот оно – тьма, одиночество, холод души и голод желудка. Смерть? Сесть на крыльце, как на пороге смерти, уснуть. И потом прозвенеть в двойном сальто-мортале: на грузовик можно и головой вниз, не все ли равно, с грузовика – в траншею на Митрофаниевском кладбище. И там уже распрямиться, занять оборону. Мертвые тоже должны сражаться против живых. Против всех живых? Может быть, конец мира – восстание всех мертвых против живых? Может быть, мертвые, не пожившие досыта, недолюбившие и недомечтавшие – в долгом ожидании своего часа, по злобе и зависти всегда и во всем мешают нам жить, как нам хочется?.. Вот, господин неврастеник, что значит только один раз подышать ладаном. А если много раз, всю жизнь? Обалдеешь, отупеешь, закрестишься «в доску»!.. «О чем это я?» – спросил себя вслух, и вспомнил Жилова. Где он, буреветник? Утолил свою жажду битвы, захлебнулся в ней, или отошел в сторону и строчит никому не нужные статьи против «зверских захватчиков». И правда, зверских, которые пока ничего особенного не захватили: ни Москвы, ни Питера – главного, сердца и мозга России... Скрипнула дверь, и из узкой полоски света, ужом ползущего по коридору, грудной женский голос позвал Дмитрия:

– Войдите, сердешный, чего же мерзнуть-то. Ваши, чай, спят взапертях.

«Приблудная» сожительница Ивановны открыла дверь.

– А я жду-жду Ивановну, а ее все нет. И дров добыла в развалинах, и буржуйку растопила. Теплынь-то какая!.. Располагайтесь пока хоть на ейной кровати и спите. А я делом займусь.

...Дмитрий лег, глазами в потолок – знал, что не уснуть. И увидел таракана. Он старательно выползал из щели, из тьмы, и не мог: от него остались одни усы. Здравствуй, гость Тьмутараканский!

«Приблудная» разделась почти догола. Тряся иссохшими, будто привязанными, мешочками груди, била вшей. Взвизгивала и чертыхалась: поводов к этому было несметное число.

– А сегодня председатель Ссовета речь держал по радио, – сказала она. – Что он там талдычил насчет политики, я не интересовалась, а вот, что Ладожская трасса построена – это факт. И хлеб уже идет, идет, идет. Кроме этого, окулировать в скорости начнут...

– Ивановна вряд ли сегодня придет, – сказал вдруг Дмитрий, сам удивляясь, почему молчал об этом. – Катюша умерла...

– Да неужто? Где же, откуда вы знаете?

– В церкви вместе были. Она у меня на руках и умерла.

– Ах, какая жалость. И что стоило ей протянуть один день. Получила бы карточку и умерла. Матери поддержка была бы.

– Какой же матери – последний ребенок ведь умер.

– А как же: в будущем все может быть. Я, например, еще очень даже чувствую себя в способностях. Правда, молодой человек, вы должны учесть, что я целый месяц жила на три карточки: мой дедушка и бабушка, царствие им небесное, получили карточки, а потом, через день, умерли – сперва бабушка, потом дедушка. Так что вы это учтите.

Дмитрий отвернулся к стене. И уснул.

– Вот с какими огромными достижениями встретили Новый год подземные цеха Кировского завода, – сказал репродуктор и умолк, нахохлившись на своей полке, среди Катиных игрушек.

Потом сквозь сон Дмитрий слышал, как «все о любви пел соловей» в праздничном концерте... Встал, пробил кулаком лед в ведре, умылся и, видя, что Ивановны нет, а «приблудная» спит, – ушел, бормоча:

– Подальше от любви и религии-вериги... И поспал неплохо, а невсебяемость моя продолжается.

За дверь у сестер было тихо.

Самая непростительная из всех мирских слабостей разлилась по мыслям – вроде разжигание мозга: не отвечать бы ни за себя, ни за свои поступки – даже перед самим собой. А перед кем же еще? Ни властей, ни родных. Совесть? Да, совесть – и та, как двоюродная сестра или еще более дальняя родственница. А что он сделал плохого? Мучился, голодал, немножко любил. Не всё же любить целиком. Любовь – многогранный, многокаратный бриллиант. Какой-то гранью он любил одну, какой-то другой – другую, третью и т. д. Счет невелик. Но бывает любовь одна – лик ее отражается сразу во всех гранях и захватывает целиком, стирая все грани, – любовь безграничная.

Холодная тоска медвежьими лапами давила его душу, будто взяли ее за горло, да так, что, будь в ней косточки – все бы хрустнуло...

В честь праздника и назло немцам на магистральных перекрестках и площадях установили репродукторы. Черные, окрыленные эфиром, они сидят на телеграфных столбах, как вороны, и каркают речи местных полувождей. Фронт трансляционных точек тоже несет потери, но весь город озвучен: марши, вальсы, концерты по заявкам радиослушателей, из которых многие слушают уже на том свете.

Около репродуктора на Театральной площади Дмитрий спросил себя:

– Ты о чем это? – потому что машинально запел, вторя:

*«На холмах Грузии лежит ионная мгла.
Шумит Арагва предо мною...
Мне грустно и легко, печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою...»*

– Никак, о чистой любви? Да, чище и быть не может: и грустно, и легко, и печаль светла... Светла, как та девушка в белом, видишь, там, у Поцелуева мостика. Поверни к ней свое вороненое горло, пой для нее... Стоит, как лермонтовская сосна, «и снегом сыпучим одета, как ризой, она». Может, Христовой ризой? Наверно, сестра милосердия. И чем больше я на нее гляжу, тем красивей, знакомей и родней кажется она мне. Боюсь, чтоб это не был третий звонок. Умолкни, вороногорлый. Она почему-то глядит на меня, как на какую-то невидаль. Идет сюда! Надо держаться крепче. Стоять на ногах, что значит – во что бы то ни стало, особенно в глубокую воронку, не упасть, а идти – стараться не уйти на тот свет. Вот, я уже начинаю видеть ее румяное, сытое – и такое красивое в своей сытости лицо. Между нами, как и до моего безумия, – несколько шагов. Она. Вот ее – такое сновидческое – лицо, наплывом, крупным планом, как на экране. Как хорошо, что я могу все это говорить: это поможет мне не сойти с ума. Но почему же мне хочется убежать? Зачем – убежать? Я лучше пойду в сторону... Почему мне хочется бежать – вы спрашиваете, господа присяжные заседатели? А почему она такая сытая, красивая, а я – тень? И я, изголодавшаяся тень, люблю ее, и о ней, даже втайне от себя, – мечтал, и никогда не домечтывал до конца, до встречи? Теперь я понял, почему не искал ее: обиженная гордость тормозила сердце, или сердце повернулось вспять на сколько-то градусов. Любовь – это поворот сердца на все 360 градусов. Слабые сердца спешат и останавливаются на половине шкалы Любви... А я, кажется, и не спешил, полулюбимая... Нет! Я буду любить целиком! «Разберусь как-нибудь потом», – написала ты в той роковой записке. «Ну, как, разобралась?» – спросить бы тебя сейчас. Я же понял: только та любовь сильна, что проходит через

другие любви, и оттого расцветает еще пышней – как бухарский ковер, когда его топчут на празднествах... О чем стучишь ты, о чем звенишь, сердце-колокольчик? Знаю: все о том же – о чистой любви. Но я не достоин такой любви, и поэтому сойду с ее пути. Слышишь, ты – белое, чистое привиденьице (хорошо, что средь бела дня), я не заслужил этой встречи...

Тоня взглянула на Театральную площадь, на примелькавшиеся развалины. И увидела – его. Это был тот самый сумасшедший, что на ее глазах растоптал шоколадного медвежонка. И это был Митя. Она узнала его так же точно и сразу, как узнают родных и близких в ночной тьме. Темен он был и страшен, но все же – это был он!

Их взгляды встретились на каком-то расстоянии, отмеренном снежинками и секундами, между ними и трупам, где метель вихрила крупно-искристый, как соль, снег. Он задрожал, «как антенна», – вспоминал потом. Слеза скатилась по щеке – не от ветра ли? – и зацепилась за подбородок: примерзла бородавкой.

«Никакой сентиментальности, – сказал себе. – Если я заплачу, у меня вырастет борода-сосулька... Тираны мира! Вас просят немножко потрепетать – при виде этой встречи...»

Они шли друг к другу, глаза в глаза. Он видел ее первые неуверенные шаги – к нему, она – его заплетающиеся ноги. Будто повторялись робкие шаги «утра любви», первых встреч.

Она широко открыла рот, словно задыхалась, или хотела крикнуть. Но он услышал только шепот:

– Митя, ты?

– Нет, это совсем не я, – прохрипел он, – тень моя, тень... на плетень.

И сколько раз ругал себя потом за эти неожиданные, как и сама встреча, слова. Но сказаны они были – будто сами собой, а Тоню они окончательно убедили в том, что перед нею – он. Он – и его снова синие, как в последний день мира, да еще с черными трещинами – губы. Только на этот раз...

– Целуй – не целуй, все равно не отойдут, – огорчалась она. – Скорее ты отойдешь, как любит говорить моя любимая помощница-старушка, имея в виду тот свет. Но я этого не допущу... Саша Ивлев называл ее «ероиней», и был прав.

... Они долго сидели в теплой «дежурке» – теплой, уютной. Все было рассказано друг другу, или почти все.

Он в своих рассказах «базировался» на «общежитку», а в истории с людоедами «сам спустил себя по лестнице», и никого не убивал: такой врать о подвигах нельзя. У Тони сквозь радость и горечь («Боже, какой же ты страшный, какой же... как все...», повторяла она), да, и сквозь горечь встречи проступал суровый рубец в переносице, среди спрятавшихся на зиму веснушек – «симпатий!», а в глазах «зеленоватости озерной» – озерная же светилась печаль. И ничего прежнего, озорного!

– Я очень виноват перед тобой, – признался он, – перед нашей любовью. Ведь я только теперь понял, что... – но она не дала ему договорить:

– Замолчи, дистрофик несчастный. Знаю. Обижаюсь: мог бы сто раз написать генералу, спросить обо мне. Ведь он теперь такой знаменитый. Милый, добрый генераша – так его там некоторые выдры-пишмаши называют, – как он теперь, наверное, волнуется за меня! Но это все пустяки. Я тебя сейчас постригу, потом вымоешь себе голову – я согрею воды, только немного, потом – суп. А хочешь конфету? Вот жаль, что мы не встретились, когда я с фронта приехала. Сколько у меня шоколаду было и сухарей!.. А не странно ли, что ты несколько раз смотрел на меня в церкви – и не узнал?

– Я не узнал тебя, но глаза мои сами собой тянулись к тебе, словно они жили отдельно от меня, но с тобой.

– Вот как, а сам ты не тянулся ко мне, не думал обо мне?.

– Я просто не думал, что ты здесь. Мы уже говорили об этом.

– Прости меня. Я глупая эгоистка. Я забыла, что ты уже пол год а голодаешь. Прости, мой милый дистрофик, а то я опять буду плакать. Ты не думай, что я такая же дура, как была до войны. Я много читала. Много думала. Бывали дни, наполненные сотнями и тысячами смертей. Тогда я читала стихи любимой поэтессы и думала о тебе:

*Я не знаю, ты жив или умер, —
На земле тебя можно искать
Или только в вечерней думе
По усопшем светло горевать.*

Или вот:

*И в мертвом городе, под беспощадным небом,
Скитаясь наугад за кровом и за хлебом...*

И самое главное:

*А теперь пора такая, —
Страшный год и страшный город.
Как же можно разлучиться
Мне с тобой, тебе со мной.*

Ты не устал еще? Но не бойся, хоть я и много знаю наизусть, ничего больше подходящего не припомню. Теперь я пойду в палаты, а ты поспи.

Заглянул старичек-терапевт.

– По поводу речи Попкова или Попугаева, – сказал он, не обращая внимания на Дмитрия, – не знаю. Что вы думаете?

Я думаю, что опять врут. Эх, был бы жив Киров, – разве он допустил бы до такого неслыханного в истории мира кошмара? Был бы Ленин... Был бы царь... Ничего бы этого не было.

...Решили: Тоня придет к Дмитрию в общежитие через два дня (встретиться раньше – он сам ее отговорил, не надеясь, что в коммуне все по-прежнему), – и тогда... Что будет тогда, они не знали. Но они будут вместе!

– На мой взгляд, – сказала она, и он опустил голову и споткнулся – чуть не упал, – на мой взгляд, ты что-то от меня скрываешь. Но это все пустяки и дело твое. В любви надо быть рассеянно-целеустремленной: не замечать мелочей ради самого главного. Что вы на это скажете?

– Все тайны я похоронил на дне моего желудка, но их так немного, что он почти пуст, если не считать твоего супа, – ответил он, – и смею вас уверить, что ни людоедом, ни любоедом не был. Вопросы будут?..

Она провожала его далеко, почти до Невского. Далеко и надолго. Приехала утром полуторка, звеня цепями на колесах, и увезла Тоню на фронт – по приказу свыше. Это генерал – снова добился своего.

Саша «прогуливал себя» по Невскому и говорил вслух. Это означало, что он сам с собой был в мире.

– Я ему так и скажу: прости меня, дружище. Я потом подумал и понял, что погорячился. Не говоря уже о морали, то, в чем я тебя заподозрил, – невозможно просто физически. А впрочем, черт вас знает...

Незаметно он свернул по Садовой и пошел, как все теперь ходят: куда глаза глядят, пока не наткнулся на тоненькие, как сосенки, искрящиеся мраморные колонны не то церквушки, не

то часовенки, заброшенной в снегах, среди расщепленных, поваленных и вырванных с корнем деревьев.

А что это за апокалиптяночка идет мне навстречу? Боже, и когда я уже перестану зубоскалить?

Она идет мне навстречу с явным и оскорбительным намерением уступить мне дорогу? Да слышите вы, там, залезшая в сугроб по щиколотки, я не нуждаюсь...

– И не думала, – сказала она, когда он поравнялся с этой странной девушкой.

И, главное, – она улыбнулась, но тут же спрятала улыбку, настоящую, не голодную улыбку – в пуховый платок. Странной она показалась Саше, потому что... Хотя бы платок: это же какой-то неслыханно-невиданный платок, какая-то пушистая необыкновенность, сотканная будто из инея иного мира. Правда, иней на нем самом – тоже, только настоящий, неинтересный иней. Кроме того, вся эта пушистость, присыпанная, как кристаллической борной кислотой, снегом и будто немного им съеденная, – размалевана в такие малявинские цвета и цветы, какие в России давно уже не цветут на женских головах... А валенки снежной белизны, с нежной шерстяной желтинкой? А тулуп – ароматный, как суп из подошв или приводных ремней, новый тулуп, но со старыми, грязными заплатами? Все это поражало не воображение – какое у голодного может быть воображение, кроме раздирательно-съестного, – а просто и прямо – глаза. И больше всего поражали ее глаза. Не формой – длинным монгольским разрезом, и не цветом – сумеречным, почти серым, – все это по-русски, понятно и приятно, а содержанием, то есть выражением. Такое выражение Саша встречал только у людей оттуда, с Запада: до войны, в Ленинграде – в порту и в «исторических местах» встретить иностранных моряков и туристов не было редкостью. Если с иностранного глаза соскрести налет естественного любопытства, под ним прежде всего блеснет самодовольство, почти самовозвышение... Да, у этой девушки было иностранное выражение русских глаз. Или ему так кажется, потому что она, видно, из-за блокадного мира, может быть, с трассы. А так все ничего: припухшие, капризной и доброй линии губы, овал лица – не с аскетическим провалом щек, а, наоборот, с жизнелюбивой выпуклостью, и, как правильно отметил Саша, «неправильно вздернутый носик» – все это тоже понятно и приятно.

Шпиономания, снова чадным, средневековым костром разгоревшаяся в дни войны, конечно, не была Сашиной болезнью, но была для него романтикой.

– Вы похожи на шпионку, – сказал он ей прямо, без обычного своего лукавства. – Ей-Богу, шпионочка! Вот здорово! Всю жизнь мечтал...

– Еще один сумасшедший, – сказала она, будто себе. – Двадцать пятый. Не слишком ли много для одного дня?

Но – не пошла впереди него и не отстала сзади. Валенки ее уверенно гребли по снегу рядом с Сашей, и он, обиженный, видел ее скошенные на него глаза, в которых уже не осталось ничего иностранного.

– Бедненький, – сказала она, и он гордо вскинул голову, как ему казалось и хотелось, но больше – глаза, чтобы послать ее «прогуляться по блокадному кругу» (мягкое выражение, им же пущенное в ход). Но острый язык его тупо и сладко прилип к небу, потому что послышалось вслед, «встык», как говорят газетчики:

– Разрешите вам предложить трофейного шоколаду? И сигарет?

– Разрешаю, – прослунявил он уже слипшимися губами...

...Только к вечеру, после трех скормленных ему двадцатипятиграммовых плиток шоколада, после нескольких артобстрелов и двух пройденных равнодушным маршем Голодных рынков, – Саша прервал свое автобиографическое плетение, в котором было больше графического: – «Я ее любил крепко, она меня, конечно, тоже», – и умолк. Не одна немецкая сплющенная сигарета обожгла ему губы. Теперь все так курят: до конца, до поцелуйного обижания губ.

Шли по глухому переулку – давно оглохшему то от тишины, то от бомбардировок. Остановились около какой-то многоэтажной стены, каких много. Узкими и нелепыми обелисками все высилось, горбилось, косилось и осыпалось вокруг. Полусорванная крыша жестяным шатром свисала над тротуаром, над ними. А она все молчала...

– Где мы находимся? – спросил Саша, чтобы что-то сказать, смущенно озираясь вокруг. Подумал: «Нет, это тебе не Мурка в кожаной тужурке. Эта – в тулупе. Милая, но как бы невзправдашняя шпионочка».

Девушка деловито достала из кармана карту:

– Где мы находимся? А вот мы это сейчас выясним и уточним. Так... Перед нами Митрофаниевское кладбище. Северная сторона. Обратите внимание на кресты в сугробах. А немцы врут, что на всех кладбищах кресты повыкорчевывали...

– Что мы знаем об этом кладбище? – спросил Саша. – Мы знаем, что это знаменитое кладбище. Поется песня: «...отец дочку зарезал свою...» Больше мы ничего не знаем об этом кладбище. Но взглянем направо, и мы увидим огромное 154-х миллиметровое орудие. Вот, смотрите, как оно сейчас ахнет... Наступил уже обычный час кромсания немецких позиций. С методичностью, перенято у немцев, хай им грець, как говорят на Украине. Что такое грець – я не знаю. Может быть, имеются в виду греки. Разумеется, древние греки.

Орудие выросло у них на глазах, вернее, – вытянулось, поводило черным носом, будто принюхиваясь, вздрогнуло и выпустило – мыльным пузырем – круглое лубочное облако дыма.

Подскочив на вздрогнувшей земле, Саша восторженно закричал изо всей силы... тихо, оглушенно:

– Дай им облако в штанах, дай им облако в штанах, мать их за ногу! Ха-ха!..

Девушка смотрела на него радостно пораженная.

– Видел бы вас фюрер, – сказала она, – или отец народов.

– Ха-ха, психопатией ли их удивить, – смеялся Саша. – Бей, лупи, моя милая «катюша», или как там тебя, тысяча тебе воздушных поцелуев в черное горло!

Желтое лицо его побледнело, просияло, и опухоль опала, обнажив сухие и страстные линии губ. Она любовалась им.

Они прошли все кладбище, натываясь на колья не засыпанных в братских могилах, будто надгробно-гранитных рук и ног. Потом они шли по каким-то безымянным теперь улочкам и переулкам, и, когда ночь затемнила город, снова были на Невском. Девушка уже охотно называла себя неврастеничкой и уверяла Сашу, что главное в профессии человека, а в особенности штабной машинистки, как она, – это нервы.

– Где вы остановились? Надолго приехали?

– На Петроградской стороне. И не приехала, а прилетела – на два дня.

– Если доверяете, можно переспать в нашей общежитие, – предложил Саша. – Я лично вам доверяю. Зачем переться так далеко – на Петроградскую. Будете спать на моей кровати, а я на полу. Но можно и вместе. Переспим на честное слово. У меня уже были такие случаи в жизни. А одному моему приятелю так прямо везет на чистую любовь... И что я порю чушь? Это после вашего шоколада. Вы знаете, я у этого моего приятеля, чистолубовного, в большом хлебном долгу. И меня мучает совесть, что я забыл о нем: сожрал столько шоколада, а ему ничего не оставил. Психологический вопрос: свинья я или нет?

– О, как я вас понимаю, – тихо сказала она. – Как будто вы совсем, совсем родной. Я понимаю пока не умом – он не может так легко и быстро перепрыгивать через пропасти, – а сердцем, – и она распахнула тулуп и тронула грудь ладонью. – Вопросы будут, господин неврастеник?

– Нет, потому что игнорировано мое чистосердечное предложение, – сказал Саша насупившись. – И какие пропасти?

И вдруг запылал Гостиный Двор – будто опрокинулся в небо огненной анфиладой: вставшие в небо красные полосы, увенчанные чубатым дымом, строго соответствовали стрельчатым аркам, и уже в вышине сливались в полосу огня, вроде занавеса из красного бархата. Странно было видеть это неожиданно и бесшумно, будто из-под земли, само собой, вставшее пламя среди нескольких часов необстреливаемой тишины.

– Пожар, самозародившийся по причине буржуйки, – привычно определил Саша. – Жаль, что нет фотоаппарата. Вас бы заснять: «Девушка, освещенная пожаром». Пожаром родины. Такой я вас запомню на всю жизнь: с огнем пожара в глазах. Куда до вас – в валенках – «Девушке, освещенной солнцем», или другой «Девушке с персями», пардон, с персиками, – до вас в полушубке. Нет, я вас никогда не забуду с плюсом.

– Что это значит, словоблудливый вы человек?

– Это значит, что я вас положительно никогда не забуду.

– Я вас тоже, божественно непобедимый вы герой.

– Но нам, кажется, пора расстаться: запретный час близок... Попадётся – возьмут вас за шпиона...

– Прощайте. – Она протянула ему правую руку, а левой тихонько, чтоб не видел, перекрестила. – Что же мне вам пожелать? И не только вам, а нам. Встретиться еще, когда я вернусь с фронта... Прощайте, родниковая вы душа...

Она быстро пошла и еще быстрее исчезла из виду, затканная снежинками, и если бы из тьмы грустно не хрустел снег под ее валенками, он не поверил бы ни себе, ни ей; сошел с ума, а она – «привидение»... с шоколадом и сигаретами.

Он остался один со своим спутником – бормотаньем, привязавшимся к нему последние дни. Правда, поборматывал и раньше, когда сидел в тюрьме, а еще больше по выходе на волю. Еще у него появилась опасная в смысле простуды привычка, задумавшись, чесать во вшивой голове, предварительно сняв шапку – с трудом поддающуюся ношению, многослойную, как пирог или тюрбан, искусственного меха и тепла вещь.

– Эй, вернитесь, милая! – закричал вдруг. – Ведь я забыл вам прочесть свои слегка пророческие стихи. Это все равно, что мы не познакомились, если вы не знаете ни одного моего стихо-бурно-творения. Вернитесь, если вы не призрак и не прозаик.

Но тьма не прохрустела валенками по снегу, не вернула ему загадочную девушку.

И он снова шел один, опустив голову. Ладно, он будет читать эти стихи сам себе, чтобы «взять их на слух»: пусть они повиснут в воздухе, как чужие, отстраненные. Итак, господа присяжные заседатели, мы прочитаем «Сфинксы»:

*Течет задумчиво и вольно.
Все унести и все забыть,
И держит грудью сизевошной
Мостов железные горбы.*

*Весь город над собою держит,
Но, тяжело дыша, порой,
На крепостной злачный стержень
Грозит заморскою волной.*

*Граниты набережных глухо
Гудят под натиском воды,
И чайки мечутся в испуге,
Но сфинксы – слепы и горды.*

*Стоят в молчании суровом.
Для них ничто не будет новым.
Ты их египетскую тишь Ничем,
Нева, не возмутишь.*

...Теперь нам понятно, почему эти стихи, безупречные по форме, т. е. вполне отвечающие тому единственному, что можно теперь требовать от поэзии, не были приняты ни одним журналом: заморская волна! А вот она и накатила. Теперь как хочешь расхлебывайся, или захлебывайся. В одном я ошибся: такого героического голода сфинксы не выдввали... Они бы сдохли.

Забыть, забыть о ней, облепленной фальшивыми заплатами. Иначе не миновать неудачно влюбиться. Это грозит стать самой неудачной из всех неудачных любвей.

...Прощай – значит, навсегда...

– Пойду-ка я потихоньку домой. «И в путь потек». Теки, родниковая ты, мутная и баламутная душа.

...Прощай – это навсегда, без всяких всегдашних надежд... Да полно – как сказал бы какой-нибудь герой ненашего времени, – полно, господа неврастеники: навсегда ли? Люди с трудом постигают вчерашний день, куда уж им настичь завтрашний?.. И красное небо, как знамя войны. Бывают же такие пожары – распространительные. Будто тысячи головешек висят над городом и сыпят искры...

...Не думать, не думать о ней. Такая шоколадная встреча может свалить с ног не только голодного.

32. Общежитие

Дмитрия встретили радушно. Было поздно, но не спали: слушали очередную романтическую историю Баса. Вот когда, наконец, «повело» его на воспоминания: что ни вечер, то новый рассказ, один другого интересней.

...– Познакомился я с ним случайно, во время работы на Курском бану¹ в Москве. Я только что вытянул бумажник у толстяка нэпмана, и ксивы² хотел добросовестно вернуть обратно, тут кто-то хватя меня сзади за руку... Медленно оборачиваюсь, кося глазом, – Бас говорит медленно, и медленно оборачивается, и косит круглыми глазами, – раскидывая умом карту вокзальной площади: куда удобней смываться. Смотрю – шикарный парень: глазищи такие добродушные, но с искрой, как у породистого коня... Отдай, говорит, мне ксивы, я заплачу. Зачем, говорю, платить – бери так... Глаз у меня наметанный – вижу, с кем дело имею. И вижу, что сам я ему понравился.

...Через пару дней снова встречаемся – дает мне адрес малины³. Подружились. Только на свои дела он меня никогда не брал, а так, больше на безделье. Шляться любил. Что ему – парень красивый, обеспеченный. Идем с ним однажды по Невскому. Впереди плавно движется шикарная блондиночка. И так идет – будто вся разговаривает. Он мне и говорит: «Спорим, я с ней сделаю все, что захочу?» И заходит спереди, смотрит ей в глаза. И я замечаю, что ее профессионально-вихляющая походка как-то спадает, теряет ритм. А он берет ее за плечи и говорит: «Здравствуй, дорогая. Давно первый раз не виделась». И целует ее у всех на глазах, только никто не видит, как он снимает с нее часы и браслет. А она стоит, как сонная, молчит, глазами неподвижничает. Потом он нацепил ей побрякушки обратно, повернул ее за плечи, толкнул легонько в спину. И пошла как миленькая. И не обернулась.

– Видел? – спрашивает. – Мог бы и платье снять. Да жаль: больно красивая...

Работал он всегда крупно и чисто: банки, склады, кассы. И мне кажется, что был немного верующим, или много суеверным. Например, не признавал убийства. Говорил, что убивать – грех. Уж если «гореви́ч» – лучше все бросить и уйти. А уж если нельзя уйти – то чем же виноват сторож или милиционер, что ты хочешь жить, не работая? Отец его тоже был вор и, умирая на скамье подсудимых (да, он умер во время суда), завещал ему дарование гипноза, которое, очевидно, выручало его не раз. Мамаша его была неизвестного нахождения, поэтому, чтобы не скучать, он начал приворовывать и пригипнотизировывать.

...В войну с финнами он пошел почему-то добровольцем. В одном деле был два раза ранен, разозлился, и по собственной инициативе пошел один в разведку, и разведал – попросту обокрал – какой-то важный финский штаб. Принес бумаги по начальству, и в тот же день на радостях спер бутылку спирту в сан-части, напился и сел под арест. Потом получил еще за что-то звание Героя. Но война скоро закончилась, и это звание перестало его интересовать. Потому что быть героем – это скучно: всякие балы, выступления на собраниях, письма трудящихся, и больше всего даярок. Но, между прочим, ходя в героях, влюбился он в известную нам всем артистку. И странно – на нее его гипноз не действовал, скорее наоборот: сам герой ее глаз побаивался. И вот, когда ему наскучило щеголять с «Золотой Звездой» на груди, потянуло его, как пьяницу на вино, на прежнюю малину. Не выдержал характера. И любовь от него отказалась. «Это довольно печально и грустно знать, – сказала она, – что вы вор. И если вы такой, значит – амба, короче – крышка. Мы с вами больше не гуляем». И не гуляли. Но он любил ее. Запил. Опустился. Влип в мокрое дело. Судили, расстреляли, как это у нас любят

¹ На вокзале (крим.)

² Документы (крим.)

³ Воровской притон (крим.)

делать, чтобы много не разговаривать... А жаль, добрый был человек. Однажды, помню, дает мне пачку денег, чтобы отнес студентам, вроде нас, в общежитие. Скажи, говорит – от гипнотизера. Они знают.

Вот какой был – не нам чета: герой, вор и, самое главное, гипнотизер.

А воспоминания – это в нашем положении самое страшное, – заключил Бас свое повествование, тяжело вздыхая. – Как мне хочется вернуться в детство и что-нибудь спереть, слямзить или увести. Синонимы, противоречащие главной для меня заповеди: не обкради ближнего... Правда, ближних я никогда не обижал...

Потом Саша рассказал – не утерпел – о встрече со «шпионочкой». Выслушали с промолчанием: не поверили. Только Сеня Рудин сказал:

– Скоро будет почти по Достоевскому: кто-нибудь будет за Сашкой ходить и восторженно кричать: «И все-то он врет, все-то врет!»

Саша обиделся и уснул. Дмитрий обиделся за него – он поверил – и тоже уснул – с мыслью об Игорьке: где же он? Не дошел, подобрали или умер?..

Утром его разбудил не прежний, но все же басок Баса:

– Товарищи меня-слушатели, начинается урок утренней гимнастики... с самого трудного: с приседания...

Первым приседает Вася Чубук, соблюдая еще какие-то правила, но остается сидеть на корточках, недовольно глядя на Сеню Рудина и Сашу: они не присели, а просто прилегли на бок, и сам Бас не удержался на корточках, повалился на спину.

Подталкивая друг друга и сопя, с трудом поднимаются под тихую команду Баса:

– Отставить. С каждым днем все хуже. Ляксандра, сбегай, если так можно выразиться, за хлебом и водой, а я пока продолжу лекцию о Сибири.

Вася Чубук уже сидит в своем углу, что-то бормочет. Кажется, сошел с ума: молится.

Саша подходит к нему, шарит у него над головой, что-то берет на ощупь. Всмотревшись, Дмитрий замечает полочку, на ней иконку. Это Саша взял продкарточки. Они лежали под иконкой. Дмитрий протянул ему свою карточку – «прикоммунился».

– Что можно сказать о Сибири? – начал Бас. – Может быть, лучше ничего не говорить. Но мы, господа меня-слушатели, будем кратки. Главное в Сибири – это величайшие реки и их не менее величайшие притоки: Обь, Енисей, Лена, Зeya, Бурей, Амур и Психея... Что? Нет Психеи? Это у вас нет воображения. Советую запомнить и почаще повторять одну молитву чудную, в моей редакции: И научи меня, Господи, художественным оправданиям Твоим... Продолжаем. Население Сибири – главным образом заключенное. Экономика – концлагерная. Животный мир: преобладают овчарки и энкаведисты. Да, забыл упомянуть одно славное море – священный Байкал...

Приход Саша с хлебом положил естественный конец лекции. Хлеб делил Бас, крошки подъедал Сеня Рудин – была его очередь. Съели все одновременно. И задумались.

Холодная, темная, черная от копоти буржуйки, с окнами, забитыми трепещущей и воющей фанерой – такова была неузнаваемость общежитки. Мебель всех стилей сожгли в буржуйке, и потом вся «картинная галерея» пошла туда же. Осталась только какая-то фламандская над кроватью Баса, да «Девушка, освещенная солнцем» радовала Сашин взор. Кроме того, он уверял, что она его согревает по ночам, и грозил: «Пусть только кто попробует ее сжечь». Никто не пробовал.

Из чернильницы на столе выперла фиолетовая сосулька. Вася Чубук, съев хлеб, снова бочком отошел в угол и забормотал.

– Что, иконку – нашли или так сперли? – спросил у него Дмитрий.

– С-спрашиваешь, – ответил Вася радостно, – к-конечно, сперли. Вернее, в комнате у серо-котенкинской с-ста-рушки нашли. Она умерла, конечно.

Он и улыбался, будто заикаясь: вытянет губы, на полдороге до ушей остановится, потом растягивает дальше. Полная его улыбка, через несколько остановок, была необыкновенно хороша, потому что по мере поступательного движения губ к ушам – туда же, казалось, раздвигались и его светлые, почти белесые, словно вывернутые, откровенные глаза.

Только теперь все вдруг поняли, что незаметный, скромный и молчаливый Вася всегда был как-то незаметно и честен, и прям – без грубоватости и позы, чем грешили и Бас, и Дмитрий, и Саша, и – правда, меньше всех – Сеня Рудин, задушевный Васин дружок, великий молчальник. Молчал он иногда даже на экзаменах, отмалчивался и в обычных студенческих спорах: в них, по его мнению, истина не рождалась, а умирала. Как и Чубук, он отпустил бородку. Странно, что бороды безобразят опухшие лица голодных, бородки – благообразят.

Бас не имел напарника, ко всем относился почти одинаково, а если больше любил Чубука и меньше Дмитрия, то это не в счет. Самым большим его приятелем всегда была Сара... И где он только ее ни искал! «Брал на нюх»: обходил все известные студентам столовые, часами отстаивал в «скорбящих» хвостах, исследовал перепутанные в блокаду «пути следования» – от института до «Баррикады», до квартиры с мертвой теткой, до общежития, до любимого Сарой кинотеатра «Хроника», уцелевшего и открытого, единственного в России перманента, куда, бывало, опытные приезжие заходили поспать... Не «клюнуло» и на случайную встречу – ни с мертвыми, ни с живыми – такими неожиданно голубыми ее глазами. Часами гонялся он за похожими на «более или менее Сару», удивляясь как трудно догнать идущих хотя бы на десяток шагов впереди. Не мог помочь найти Сару и районный отдел милиции, выдавший вечную прописку, потому что сам не был вечен: всякие издевающиеся над людьми бумажки и печатки накрыли развалины, а развалины покрыл снег.

Но все же, где-то в середине души, Бас ждал Сару. Саша предложил Дмитрию навестить профессора:

– Пойдем, тут недалеко. Мы уже у него все перебивали. О тебе спрашивал. Игорек, которым ты даже не поинтересовался, там же. Только он в другой палате. И рассказывал все сначала. Слышал о моей встрече? И ты не поверил? Ну, я вас слушаю, гидальго, убегальго! Ах, если б ты знал, как она мне пришлась по душе. Прошла по душе и ушла, может быть навсегда. Но скажу откровенно, девица, кажется, фальшивая. И я, поддавшись ее сытому духу, вдруг впал в невменяемость.

– Лучше бы в невсебяемость...

– Да, я стал не самим собой, будто у меня на пятках выросли рога, а на голове зазвенели шпоры: дьявольски лихо влюбился.

– Это с тобой, или у тебя влюбимчик приключился?

– Месть за шоколад?

Дмитрий рассказал о своем «великом исходе» и встрече с Тоней. А Игорек! Вчера его помнил, а сегодня – даже имя вдруг выпало из памяти. Это же что такое? Дистрофия мозга? Но из памяти, души и сердца Игорек не выпал. Игорек, маленький ты человек бесчеловечной блокады.

* * *

Огромные суставчатые сосульки канделябрами свисают над входом в школу имени Плеханова. В вестибюле на лестнице и в коридорах сосульки набегают с потолка сталактитовыми столбиками. Что-то пещерное и средневековое вместе. Здесь «Стационар для профессуры им. Герцена и ихних детей». Так гласит надпись на клочке бумаги, исполненная тонкими и длинными, как прутья метлы, буквами: творчество дворника. Почти все дворники не любят писать, но жить любят, и умеют, и живучи. В блокаду их профсоюз почти не несет потерь.

«Ихние дети» – в классе 5 Б. Посетителей они встретили неласково – равнодушно. И не все они «ихние». Есть и ничьи. Просто – дети блокады.

– Здорово, братва! – гаркнул Саша.

Но только одна – из полусотни – головенка повернулась невесело, да кто-то буркнул из-под одеяла:

– Ну, здоров. И чего разорался-то? Небось, не шоколаду принес?

А Игорек молчал. С подушки, белизны уличного снега, смотрели его зовущие к себе глаза. Толстая сестра в белом халате подошла откуда-то сзади, будто отделилась от стены, сказала:

– Во-первых, не подумайте, что я такая толстая: это я поверх тулупа халат надела, во-вторых, этот мальчонка у нас третий день молчит. Отнятие языка на почве дистрофии. Ничего, это случается и со взрослыми. Выживет – пройдет. Позаикается несколько лет – и пройдет. Молчанка эта даже полезительная – в смысле сбережения энергетики.

– Правда, Игорек? – спросил Дмитрий. Но Игорек, видно, совсем ослаб, лежал неподвижно, будто весь молчал. И словно кивал глазами, улыбался. Дмитрий причесал его, убрал чуб с высокенького лба, потрепал бумажные щеки, а Саша почему-то промычал на прощанье, как глухонемому – «му-му-му»!..

Вдруг на соседней кровати из-под одеяла высунулся крошечный нос и блеснули темные глазенки. Это был «Иванов Витя, 10 лет, отец на фронте» – как сообщалось печатными буквами на куске картона, привязанного к спинке кровати. Мотнув головенкой в сторону спящего соседа, он сказал:

– Он дурак.

– Почему?

– Да потому что жизни не понимает. Он хочет быть летчиком. Или просто каким попало студентом.

– Ну, и что же тут плохого?

– Плохого ничего, но смешно. Вот мы все, которые тут собравшись, хотим быть: кто поваром, кто извозчиком, кто продавцом или пекарем. А студент – что? Знаем мы их: вечно голодные. А хотя бы и летчик? Получил свою пайку хлеба, не больше, и лети. Нет, нет, уж на худой конец – швейцаром.

– Сам ты дурак, – обиженно сказал Саша и даже хотел легонько шлепнуть чересчур благогоумного мальчишку по некоторому месту, но рука неловко коснулась одеяла, и Саша замер с открытым ртом. У Иванова Вити не было обеих ног.

– Бу-бу-бу, – пробубнил Саша в замешательстве и попятился к двери.

* * *

...Профессора нельзя было сразу узнать: отпустил бороду, и она ничем не отличалась от десятка других распластанных по одеялам профессорских бород.

– Рад, уж как рад вас видеть, – прошамкал он. Нет, он не онемел, но зубы у него последние выпали, передние, высекающие искры слов. Львиная его голова будто стала меньше, и опухшее лицо, с чернеющими рытвинками, было уже похоже не на пеклеванный хлеб, а на выпуклую пчелиную соту. Нос по-прежнему свисал удрученно, и, как придаток к нему, платок с добрую салфетку часто вбирал слабо-трубный стон, жалкое подобие когда-то победного звука.

– Что же, все течет, но ни черта не меняется? – спросил он. – Блокадные дни летят, как птицы в клетке? Что это вы смотрите на мою бороду? Это единственное, что мне согревает грудь. Думаю отпустить до живота. Чем длиннее, тем теплее...

Видно, соседние бороды были молчаливы, профессору не с кем было говорить, и теперь он, радостно возбужденный, отводил душу.

– Слушай и запоминай, – шепнул Саша Дмитрию. – Последнее время он такое несет, что-то завещанческое: фрагменты, мазки, броски. Иногда плевки.

– Раньше в жизни было много разных дел, – говорил профессор. – Теперь осталось одно: война, как главное дело жизни. Не смерти, слышите? Конечно, это очень печально, что кроме войны, в мире есть еще царь, этот царь беспощаден. Как, бишь, названье ему?

– Голод названье ему, – подсказали хором.

– Перед вами, глядя на вас, мне приятно вспомнить «Бородино»: богатыри – не вы. Вот мы и скажем так: богатыри Невы. Это вы, детки мои... Главное, думайте, что от таких, как вы, будут зависеть судьбы мира... Ищите смешное. Улыбайтесь всему. Ужасы надо принимать поэтически и с большой лекарственной дозой юмора. Вот, например, – что русскому здорово, то немцу смерть. Мы – русские. Мы – пей до дна: чашу вселенского горя пей до дна... Только пусть нас не злят чересчур... Видите, блицкриг не удался немцам: они уже заморожены по-русски величественным ходом войны. Народ наш – старый и благородный воин, но и вечный страдалец. Ведь что такое Россия? Это неслыханный мировой эксперимент. Не подумайте, что я имею что против. У подопытного кролика не спрашивают, хочет ли он быть изрезанным на куски во имя прогресса. Его режут, и он сдыхает! Но то ж кролик. А то – величайшая в мире страна, наша маленькая Россиюшка... И слово Россия надо произносить через несколько С и Р. Вот так: Р-р-рос-с-с-с-сия!! – пророкотал он, довольно поглядывая вокруг, поглаживая затрепетавшие от рокоота редкие волосинки.

– Свято-советская Русь? – спросил Саша. Профессор ничего не ответил, но тихонько засмеялся. Продолжал, будто не слышал:

– Россия, как Царствие Небесное, должна быть внутри нас... За петербургский период страдаем мы. За его незавершенную совершенность... Голод... Голод сильнее всякого горя, – сказал Данте. Это страшные слова, если так. Я когда-то знал Соню Ковалевскую, одну из лучших женщин века. Вот, кому удивительно все удавалось, кроме, кажется, личной жизни. В статье о Джордже Эллиоте, которого я не люблю, она писала: «Когда в жизни положение становится уж слишком натянутым, когда нигде не видать исхода – тогда является смерть и открывает новые пути, о которых никто не думал прежде»... Не забудьте эти слова, как я не забыл их... Видите эти бороды? Все они – на волосок от смерти. Поэтому они все время молчат – каждый о своем. Они все сумасшедшие. Здесь один я в своем уме. Но я их понимаю: с жиру бесятся, от голода – сходят с ума... А ведь жизнь-то, она всегда прекрасна... Никто из вас не пишет сказок? Жаль. Такое сказочное время теряется. Вот вам тема: сражение колосса, допустим, на глиняных ногах, с пигмеями на железных ходулях. Да, на ходулях, заметьте. А это выражение – колосс на глиняных ногах – легендарно глупое: на таких ногах никакой колосс, даже самый маленький, не устоит и секунды... Богатыри – не вы. Богатыри Невы. Это я ловко придумал на старости лет... Да, жизнь прошла. Окончательно проходит. Сказочная, неповторимая. Не хочется так уходить, не дожив до победы и ничего для нее не сделав... А вы должны дожить! В 1930 году, когда я начинал читать лекции в университете при новой непонятной власти, я боялся, что почти все мои слушатели – материальные или духовные беспризорники. Но вера в мой народ спасла меня, как ученого. Простите мне – за вашу братию. Все в вас откуда-то взялось: и совесть, без которой нет совести, а совесть приходит лишь в зрелые годы, по зрелом размышлении над жизнью, как чудом; и любовь к науке, и правда, и живой талант, и «знай наших»! от избытка сил. Смотрите мне, ничегоподобные неврастеники! На жизнь надо львом смотреть. И будьте снисходительны друг к другу. Или, как хотите, восходительны, хоть и не к лицу мне щеголять такими словечками. Все от вас их, как блох, набираюсь.

– Блох нет, – деловито поправил Саша, – только вши, – как саранча.

– Вот-вот, как саранча. Во всем ищите смешное. Это спасет вас. А теперь я устал. Болтать устал. Мерси за визит, не забывайте малыша. Заставьте его говорить, хотя бы такие глупости,

как я. Крепко жму ваши руки. Можете катиться колбасой... Да, колбасой... – мечтательно повторил он, и друзья «выкатились».

Куда идти, куда податься? Все тот же тоскливый и беспокойный вопрос стоял перед ними, как часто еще в начале блокады: блокадная жизнь шла по одному и тому же безвыходно-заколдованному кругу. Никаких сенсаций.

– Ни тебе аванса, ни пивной, – сказал Саша. – Я вот все думаю о моей шпионочке...

– А я думаю о сестрах, – сказал Дмитрий. – Подлец я перед ними, или полуподлец, но есть надежда... И куда бы я девался, если бы не общежитка? Горе и смерть одиночкам. Поневолле призадумался над социализмом как общежитием, или даже над коммунизмом, как прошлым или будущим человеческого общества. Мы в блокаде отброшены не на сотни – на тысячи лет назад: наука, искусство, воспитание, передовая техника – все это ушло, все это нисколько не помогает нам бороться за жизнь, а, наоборот, чаще мешает. Как мы уцелеваем, как мы не околеваем, подобно десяткам тысяч других? Что нас спасает? Не вступили ли мы, вооруженные Кратким курсом истории ВКП (б), в период первобытного коммунизма? Как я понимаю наших славных обезьяноподобных предков: им приходилось туго: природа, звери и небо, все было против них, но они объединялись по-братски, как мы теперь, и каменный коммунизм спасал их задолго до твердокаменного гения Маркса... И что ощерился? Если бы ты знал, какая жалкая улыбка получается у тебя. Попридержал бы ты свои улыбочки до лучших дней, а то и до полного коммунизма... Потом, когда жить станет действительно лучше и веселей, тогда многие первобытно-коммунистические формы современного российско-советского общества...

– Например? – спросил Саша.

– Например – колхозы, и не столько даже они как институт, а изуверские порядки в них, всякие общежития в общежитии, столовки, ширпотреб, политическая цензура, НКВД – тогда все это отпадает само собой, отомрет, будет отброшено... Да, будет отброшено, если не отпадет. И Бас, наш ко всему привычный, располкандистый Бас вряд ли будет жить вместе с Васей Чубуком, хотя тот и скромняга-парень. Чтобы он не глазел на Сару. Бас станет мелким собственником. Он будет стараться никому не отдать свою Сару.

...Когда они открыли дверь в общежитие, на них пахнуло какой-то непривычной (всегда кто-нибудь был дома) напряженной тишиной. Это была неслыханная тишина. И все были дома. Больше, чем все. На Басовой кровати лежала, тихо дыша, Сара. Будто лежало одно ее лицо, отдельно от тела, укрытого одеялами, – лицо старухи-египтянки, мумийное лицо.

– Говори же, – резко сказал Бас.

Но Сара молчала, будто затаив дыхание. Нет ничего величественней и страшней молчания голодных. Такое молчание будто подчеркивает тишину, тоже голодную, изголодавшуюся по теплым и улыбочатым, сочным, полновесным, одним словом – сытым, звукам.

– Молчание номер два, – хоть и дрогнувшим голосом, но сострил Саша, и Сара, всегда его почему-то недолюбливавшая, будто озлясь, заговорила, и каплеобразные ее слова рассекли плотный занавес молчания на части, и оно спало лохмотьями и обрывками фраз.

...За столом сидел следователь, под столом краснела электрическая печка. Круглое опухшее лицо «внутреннего» капитана – как прохудившееся ведерное дно, потому что глаза – пустые дыры, и рот без зубов – наверно, выпали от цинги.

– Вы обвиняетесь в шпионаже в пользу немцев, – сказал он, – но мне сегодня что-то нездоровится...

На этом допрос был окончен. Сару отвели в камеру.

Только после четвертого допроса Сара заставила следователя признаться: ищут шайку фальшивомонетчиков, поддельвающую талоны. В одной только кассе у Сары было найдено около тысячи фальшивых «Сахаров» и «Круп».

– Нет, это не наших рук дело, – сказала Сара, – но, раз вы обещали поскорее выпустить меня, я покажу, как работали мои знакомые, недавно умершие.

Капитан принес тушь и перо, и сам, на своей карточке, под руководством Сары, вырисовывал: «Масло».

– Жаль, что я раньше не знал, – сказал он, как бы в шутку, – ведь так просто! А думали, идиоты, что типографским способом. Сколько человек до смерти забили...

Он увлекся, посмеивался сначала тихо, потом громче и, наконец, захохотал. Сара заглянула в его глаза – просительно, как все «подопытные», снизу вверх. Глаза его уже не были пустыми. Они наполнились безумием.

– Вот как просто, вот как просто, – бессмысленно повторял он. Потом как будто успокоился, откинулся на спинку стула – самодовольным движением, как показалось Саре, – громко, словно сыто, икнул и повалился со стула на пол.

Сара взяла со стола его продкарточку, спрятала под платье, и только тогда тихонько заголосила: «На помощь!».

– Вот и эта карточка, – Сара подала Басу скомканный листок, и все по очереди, но бережно держали ее в руках, рассматривали, нюхали, шевелили губами: считали талоны – сколько и на что.

– Потом несколько дней меня не брали. Сидела, гадала: умер этот самый худоглазый, или нет. Если нет – жаль карточку отдавать. Легче самой умереть. Главное, похлебку почти каждый день давали и кусочек хлеба. Сидела, писала стихи под Ахматову и прятала под подушку. Наконец, другой следопыт пришел сам ко мне в камеру, он был тоже пухлый от голода и явно сумасшедший... Даже – вы не поверите – грозил меня изнасиловать. Обещал показать камеру людоедов, где они пожирали друг друга. Если не признаюсь, что шпионка, уверял, что бросит к ним на съедение.

Не знаю, может, врал?... Потом пришел ко мне какой-то важный, сытый, сам довел меня до ворот, сказал: «Катись колбасой»...

– И «катись колбасой» – номер два, – сказал Саша уже с большим подъемом. Сара, будто снова озлившись, умолкла. И уснула, словно накрытая тяжелым и теплым вздохом Баса.

Прошло несколько небывало осадных для общежития дней. Никто никуда не ходил. Только за хлебом – по очереди, и тут же медленно сжевывали хлеб, как жвачку, – вот и все движение. Один Бас ходил за дровами, воровал их у развалин, рискуя жизнью: развалины не есть что-то раз навсегда рухнувшее, они живут своей, разваливающейся жизнью дальше, и горе увлекающимся, роющимся под хмурыми пизанскими стенами.

Сара не вставала с постели. По утрам Бас разжигал буржуйку и преподносил Саре на огромной дощатой ладони горку хлеба – от каждого по кусочку. Кусочки были названы «отсебятинками». Сара морщила черный, длинный и пухлый нос, теперь уже явно еврейский, это означало и благодарность, и умиление.

Бас уверял ее, что она все еще «дьявольски-жидовски красива», но все видели: от прежней Сары остались одни так нзываемые «крючковатые» ресницы, известные всему институту. Первым их обожателем был всегда Бас. Немного осталось и от него. Но над глазами стального цвета, будто отлитыми из небьющегося стекла, еще грозно мохнатились брови, да усы давно завились в полное колечко. Осталось еще интереснейшее беспризорное прошлое, о котором Сара могла слушать часами, а он рассказывал сутками. Но порой и он уставал или уходил за дровами, и его сменяли Саша со своей «шпионской» встречей и Дмитрий – с «людоедовской». Сеня Рудин рассказывал только о свежевании нерабочего скота, а Вася Чубук, недавно прозванный «чубаковатым», полураспевал молитвы. Но молитвенное его настроение не нравилось Саре, да и самого его не спасало, если не наоборот, от начинавшегося голодного помешательства. Он вдруг обрывал молитву и говорил, заикаясь, будто расставляя прерывистым голосом крепкие знаки препинания:

– Я бы сейчас, т-ггы бы сейчас с-сало с-з салом ел б-бы, – и повторял, смежая веки: – д-да, с-сало с-з салом.

Сара все не вставала с постели. Когда Бас уходил, она тосковала. Встречала его долгим, как продолжение длинных ресниц, взглядом. Если утомлял историями, прерывала:

– Эх, помолчать бы... – и Бас молчал.

– Перешептываются, – уважительно замечал Саша. – Он ей – бровищами, она ему – ресничками морг, морг... Кстати, всем нам недалеко до морга.

Перед сном Саша всегда делился своими воспоминаниями, хотя никто его об этом не просил. В воспоминаниях его чаще всего плавала почему-то селедка. Утром он сообщал, что ему снилось. Сны были удивительно скромные: суп из белковых дрожжей, конская голова, шоколадная плитка столярного клея, какая-то туманная жидкость, похожая на денатурат. Все это были не творческие сны, и чтобы чем-то их украсить, однажды он объявил, что видел «священные руки повара с розово-сосисочными пальцами». О Тамаре он забыл: она ему даже не снилась. Подтрунивал над Дмитрием.

– Я твои такие частые чистые любви выведу на чистую воду... Я тоже хорош! Но ведь мне эта шпионочка понравилась той минутной нравственностью, понимаешь ты, в которой ничего не может быть безнравственного.

Дмитрий ждал Тоню. Она не пришла ни в назначенный день, ни позже. Он ждал с отчаянной надеждой. Надежда уходила. Отчаяние оставалось. Саша успокаивал:

– Плюй на все и береги свое драгоценное здоровье, как говорила моя мама, вечно недовольная мной и советской властью. А папаша прибавлял: «Ешь – потей, работай – мерзни: симуляция – залог здоровья».

Всегда и во всем хороша и нужна правда, но не в любви, в тюрьме или кошмарах народных бедствий. Знай Дмитрий правду о Тоне, он бы не ждал ее больше, не жил бы ожиданием.

Сара тоже успокаивала его:

– Приедет. На танке приедет, если с детства... Я эту самую любовь – всякую люблю. И чем больше, или, там, многочисленнее – тем лучше. Конечно, надо когда-то вовремя не прозевать и выбрать самую главную.

А Сеня Рудин – бывают же такие люди: молчат, молчат, да, вдруг как заговорят или заиграют – не остановишь. Сеня заиграл на скрипке. Нашел где-то в кулуарах. И талант в себе нашел, «недюжинный и поштучный» – снисходительно определил Саша. Бас был против скрипки:

– Хуже, чем у Маяковского: «Скрипка, и немножко нервно». Это – слишком уж нервно. Но – ничего не поделаешь: коммуна, демократия... По мне, лучше бы он рисовал.

Сеня всегда украшал зарисовками свой дневник. Небрежной, но верной рукой набросал он кое-какие развалины, трупы в сугробах, пешеходов и лики коммунаров, не лишённые звероподобного благородства.

Так, за пикианьем пассажей, никто не услышал, как пришел Игорек, открыл дверь и стал в ней, как в раме.

– С-з-сб-ежал, – оказал он и дернул щекой, будто улыбнулся

– Что? Как ты смел! – грозно спросил Бас, отворачивая улыбку в сторону.

– С-сидись, дружок, поближе к бу-бу... понимаешь, – взволнованно-ласково позвал Чубук, а Саша уточнил:

– К буржуйке, словом. Теперь она у нас часто горит, по случаю Сары. А по случаю тебя – хоть народное гулянье на льду устраивай.

– Г-главное с-свобода, – сказал Игорек, согревшись. – Н-никак я не мог даже спать, заключенный в этой кровати.

Сара сказала тихо и как то весело:

– Молодец какой. Знает, в чем смысл жизни. Я ведь тоже сюда пришла с тайной мыслью: умереть на свободе, у своих, а не у тех. А в чем сладость жизни, знаешь, Игорек? В детстве, особенно таком несгораемом, как твое.

– А я думал – в конфетах, – сказал Игорек вдруг без запинки. И эти слова дали Басу идею операции, вошедшей в историю общежития под названием «Сладость жизни». План операции был предложен Басом, и выполнен под его не столь чутким, сколь опытным руководством, и увенчался полным материальным успехом. Идейным – нет.

О том, что в их буфете есть еще несколько ящичков конфет, знали все служащие Дома техники, но что соевые, целлюлозные и прочие батончики находятся совсем не в буфете, а в одной из комнат разбитого второго этажа, куда никто не ходит, – знали только немногие, и точнее всех Бас, потому что сам помогал администратору прятать их там, в углу, под листами фанеры.

Прежде всех пострадал третий этаж: снарядом снесло его почти весь и продырявило пол-потолок – во второй этаж, при разработке операции названный «конфетным». А кто, как не бригада Баса, в свое время наводила там порядок? Помнится, всем членам славной бригады, уцелевшим, слава Богу, до сих пор, что по рационализаторскому предложению Баса был устроен деревянный желоб, или мусоросточная труба. Не таскать же было мусор и кирпич вниз и не выбрасывать в окно, на Невский. Желоб спустили носом во двор Театра музкомедии, туда и ссыпали мусор, потому что театр – не военный объект, да и закрыт. Дыру от снаряда просто заложили, как попало, досками.

– Итак, – сказал Бас, – мысленным взором взберемся по трубе, хотя это нам не лестница Иакова, о которой рассказывал один чубуковатый человек, и, отложив в сторону нами же положенные когда-то доски, смело проникнем в конфетный этаж. Конечно, Игорек спустится, как самый легкий (я не сказал – маленький) по веревке, к ней будет привязывать наволочки с конфетами. Потом – все в обратном порядке.

Дмитрий предложил план попроще, основанный на том, что «какая там теперь охрана»: пройти незаметно, по одному, среди бела дня, и спрятаться до ночи. Но никто с этим, кроме Саши, не согласился: слишком просто и рискованно. Надо заметить: согласившихся было тоже немного – один Игорек, «завсегда» готовый идти за Басом куда угодно. Чубук отказался «из религиозных соображений», Рудин – из солидарности с ним.

«На дело» пошли в 9 часов вечера: Бас, Дмитрий, Игорек и Саша, взятый, чтобы «стоять на васыре», т. е. просто сторожить «опасность» на Невском. Его это обидело, а Дмитрий сказал: «Какой теперь васырь», – обойдемся и без него, но Бас не любил пререканий.

– Кто ведет? – спросил он. – Я или другая какая-нибудь индивидуальная личность?

– Голод ведет, – ответил Дмитрий, и Бас ничего не сказал на это.

Потом уже, «на деле», показывая Дмитрию, как легче взобраться по обледеневшей трубе при помощи огнетушительного песка, найденного на месте «преступления», он припомнил:

– Как видишь, я на этом деле собаку съел, а ты сразу хочешь волка. Учти, в нашем деле нельзя без дисциплины. И не забывай об Игорьке: какой пример он будет брать с нас?..

Все прошло так, как расписал Бас, за исключением «обратного порядка»: Игорек так заоченел, что руки не слушались, и не мог ни уцепиться за веревку, ни обвязать себя ею. Пришлось спуститься Дмитрию. Он зажег спичку и тут же погасил ее, но во тьме еще несколько секунд светился волчий профилик отчаянно шепчущего Игорька и стремительная, тонко вытянутая шея:

– Пропали...

– С Басом разве можно пропасть, – сказал Дмитрий, – лезь, знай, по мне, а там добродетельный Бог примет тебя на поруки.

Он первый раз в жизни воровал и старался быть подчеркнуто спокойным. Да и кто в тот момент думал, что попадись – и расстрел? Может быть, Сара, и Чубук, да Саша, дрожащий от холода и от страха за них «на васыре» – думали, но не так, «чтоб очень», а Сеня спал. Но он и при дележе хлеба иногда спал.

...А когда делили конфеты – в полночь – проснулся Вася Чубук, отказывался от своей доли, но так слабо («не энергично», сказала Сара), что Бас даже прикрикнул на него:

– Бери, говорят. Хотя бы из религиозных соображений: меньше грешникам останется.

И Вася взял. И еще спросил, что за кучка отложена в сторону. Это, по первоначальному замыслу, был спиртовой запас, но скорее всего – Сарин, потому что она заявила, что «больше не пьет», – как будто раньше была «выпивоха».

Конфет принесли больше пуда. Забрали все, что было, – оказалось не так много, и разных блокадных сортов: все ящики были уже ополовинены.

Ели сначала все вместе, потом каждый «сам по себе», Вася объелся, стошнил, собрал в газету, положил на окно: пусть замерзнет, окаменеет, а там видно будет. Не пропадать же добру...

– Не лепо ли, бьяше? – спросил его Бас.

– Не лепо ли, Басе – переспросил Дмитрий. – А не лепей ли будет спать? Вспомним старинную советскую песню: «Заседанье кончилось – вот и до свиданья»...

– Или незаслуженный Сеня оторвет вам отрывок из сюиты «Ходит Ваня по деревне», – предложил Саша. – И еще какой Ваня! Всероссийского значения Ваня! Или пусть Бас споет: «Я на свадьбу тебя приглашу, а на большее ты не рассчитывай».

Но больше всех была счастлива Сара. Она раскладывала конфеты на кровати, как пасьянс, делила их на часы, дни и... недели – хотелось бы ей, но уж недели, даже одной, никак не получалось.

– А я так нажрался, что даже сыт, – сказал Игорек и уснул.

Ему надо было хорошо поспать, потому что завтра, вооруженный конфетами, он пойдет разыскивать Ванятку.

Саша взял коптилку в свой угол и вслух читал дребезжащим голосом «Временник» Ивана Тимофеева: «Как видишь, живем в месте пустом, непроходимом и безводном, лишенном всякого телесного удовольствия». Думаю, что комментарии излишни, хотя они и написаны нашим профессором Араловым...

– А знаете, кого я встретила, когда выходила из тюрьмы? – вдруг спросила Сара. – Петрова, который Красноголовый. Он сам входил в НКВД, как домой. Чего бы там ему делать? И где он раньше пропал?

При слове Петров, да еще Красноголовый, Саша вздрогнул и перестал читать.

Но разговор еще долго поддерживался, как горение коптилки. Последний общежитский разговор во тьме перед сном – перед тем, как кому-то уснуть вечным сном, уйти в вечную тьму.

– В-вот многие спрашивают, б-ыл ли Христос... Этак с-скоро начнут с-сомневаться, бы-ы-был ли Шекспир.

– Уже сомневаются, не сомневайся. А моя мама, вечно имевшая какие-то счеты с советской властью, говаривала: «такой хамлетской власти еще свет не видывал». Конечно, она в политике не разбиралась.

– А одна девочка говорила мне: «На мой взгляд, Саша порядочный хамлет». А был ли Христос – это, действительно, вопрос, и сложный.

– По-моему, начинать «Святого Евангелия чтения» нужно с Иоанна: символизм и красота стиля поразительные. После него многие места Библии, с которой мы познакомились лишь беглым огнем любопытных и насмешливых глаз, – те самые места, которые нам казались смешными, если не хуже, – станут величественнопонятней, пророчесственней. И, наоборот, Апокалипсис не надо понимать буквально, иначе гипноз Апокалипсиса погубит мир. Зачем бороться за будущую прекрасную жизнь, если она невозможна, если в Откровении ясно предсказан конец мира? Апокалипсис – это предупреждение. Бог, если Он есть, а Он, кажется, есть, говорит: что, мол, такие-сякие, видели, к чему ваши войны приводят? Видели блокаду? Так вот, смотрите Мне. Стройте там свои коммунизмы или демократизмы. Я в это не вмешиваюсь,

но не забывайтесь... А Христос? Скорее всего – Он был. Но это не так важно. Больше всего меня поражает нечеловеческое одиночество человека-Христа.

Молчание.

– Закончил, наконец? Еще один проповедник нашелся. И правда, с голода даже религиозным станешь... А я вот думаю, что бы еще сварганить, вроде мягкого и плавного налета. Не сидеть же нам сложа руки и ждать, когда

И музы ключ нам от квартиры
(Где хлеб лежит) принесут...

Или я сделаю вылазку на фронт. Эта игра воображения стоит свеч, хотя бы таких, что ставят над покойниками...

– Ну вот, мне опять начинают сниться какие-то продукты воображения – пищевой роскоши. Вот плывет селедка. Сейчас она смажет меня по губам хвостом...

Молчание.

– Совесть вдруг во мне заговорила матом. Кого мы оставили без соевых, целлюлозных, древесных и прочих видов конфет? Рабочих и служащих, членов профсоюзов.

– Нет, капиталистов. Нет, административной верхушки.

– Вот когда я начинаю понимать справедливость некоторых социалистических принципов: против кого бастовать – против себя? У кого воровать – у себя же? И так далее, в том же «само-бичевальческом» духе.

– Ерунда. Не у себя воровать, а у богатейшего и скупейшего государства, против него и бастовать, если оно, бюрократически-подхалимское, не считается с народом.

Молчание. Долгое молчание. Недалекие разрывы снарядов. Воющая дрожь фанеры в окнах.

– Звери мы, вот кто. Если бы не Сара и Игорек, я бы собрал сейчас все эти сладости жизни и отнес обратно. А еще в Библию нос суем. Зверь, видно, сидит в человеке не только во глубине душевных руд, скрытый гордым молчанием. Зачем так глубоко? Он – прямо под кожей. Даже на коже. Недаром же иногда волосы дыбом становятся. Сарочка ты моя, царица Савская, скажи что ни-будь. Только немного – тебе вредно.

– Мне так хочется дожить до конца жизни, особенно блокады, вот и все... А пока хочется спать, чего и вам желаю. И эту самую философию оставьте. Немецкая философия не спасла немцев от подлости почти общенационального размаха.

– Познание потустороннего, на мой взгляд, запретный плод, который человек вкушает последним. И если на том свете ничего нет – я хочу узнать об этом как можно позже, – сказал Саша.

– Живет же человек во сне! Я в мирное время даже иногда это самое... ну, целовалась кое с кем во сне. Так, может быть, и на том свете?

– Умер человек и живет не с нами, а снами, – быстро вставил Саша.

– Опять перебил, пиитик несчастный... Энергия мысли-снов не может же бесследно исчезнуть. Но вот беда – спать я стала как убитая: никаких снов. Поэтому и говорят: «Проспишь все Царствие Небесное». Там, может, тоже у каждого свое счастье, и не надо его – это самое – просыпать. Я, кажется, несучепуху? Это я уже почти сплю.

И Сара уснула первая. Она и завтра уснет первой.

33. Эрмитаж

Всю ночь Сара стонала, Бас не отходил от нее, поил прорубной кипяченой водой, целовал. Вася Чубук чуть свет сходил за хлебом. Каждый раз, когда наступала его очередь, он начинал волноваться уже с полуночи, в 4 часа просыпался, в 5 вставал, в 6 уходил, и ничто не могло остановить его на пути к хлебу, кроме шипящего.

Сара доставала из-под подушки конфеты, ела их с просвирочными «отсебятинками» – осторожно, чтобы не уронить ни крошки: эти кусочки хлеба заключали в себе огромную религиозную силу, равнодействующую дружбы и любви, без сознательной веры и даже без надежды ни на тот свет, ни на этот.

В свинцовом рассвете продолжался вчерашний «постельный» разговор.

– Если прямо высказать мой взгляд, то я ничего не имею против коммунизма – жизни, как в сказке. Но – «мы рождены, чтобы сказку сделать былью», то есть ничего от нее не оставить. Это мне не нравится.

– А я считаю, что коммунизм должен быть христианским, или вообще религиозным, иначе Иудина ему цена. Даром кровь проливали и все вверх дном переворачивали.

– Эх, и зачем я вчера все конфеты так сразу п-п-оел, как сало с-з а-алом.

– Чубук, если ты будешь скулить о конфетах, которых не заработал, а уже съел, у тебя будет отнята завтрашняя пайка хлеба. Это тебе будет прибавочная тебестоимость.

– И веревки нет, чтобы повеситься.

– Веревки нет, а вот палка есть.

– Я знаю, за что всякий человек умирает: за то, что жил.

– Да, но мы-то, мы еще и не жили.

– Обратите внимание: Бас смотрит на Сару надутыми глазами.

Бас сидел около Сары, неловко положив руки на ее плечи, укутанные одеялами.

– Не слушай их, Сара. Они уже все полубезнадежные.

Сара тускло светилась проступающим в полутьме лицом.

– Ну что же, – сказала она, – я вас всех люблю. Как я рада, что снова как... как во сне...

– Оставь свой сон. Ты вчера плела что-то такое... Нехорошее.

– С вами как-то забываешь о блокаде и сотнях трупов, перешагнутых мною, пока я дошла до вас, могла и не дойти. И все же я слышу, что эта самая смерть уже торжественно стучится в мое сердце. Но – почему же мне так хорошо?.. Потому что у вас еще ютится тепло, дружба, молодость. И смелые голодные мысли высказываются вслух... Как радостно чувствовать этот крепкий и устойчивый мир нашей дружбы, и умирать легче.

– Перестань, царица Савская! Тебе умереть – это нам себе дороже стоить будет: сколько мы скормили тебе хлеба и конфет! Ты хочешь, чтобы все это пропало даром?

– А почему же твой нежный голосок дрожит?.. Я же тебя знаю, милый ты страхолюдный парень, как облупленного.

– Облупленного голодом.

– И давно ты меня любишь, Бас?

– С первого курса. Ты же знаешь. И все знают.

– А я тебя – с первого взгляда.

– Что же ты раньше не говорила?

– А ты? Знаешь, мы, кажется, оба не большие любители этих самых излияний. Но я тебе все как-то не верила: бабник, думала.

– А я тебе не верил.

– Вот и объяснились наконец. Напоследок.

– Не говори так: «напоследок». Нельзя так шутить.

– Бас, со смертью не шутят, когда она уже за спиной. Сердце мое стучит все тише, а она... она стучится все сильнее... Мне трудно говорить. Неужели не видишь? Пристал со своими разговорами...

Сара умолкла. Лицо ее было бледнее рассвета.

Игорек, Дмитрий и Саша, вооруженные недоеденными конфетами, пошли промышлять на Голодный рынок (Госголрын). Сеня Рудин и Чубук пошептались и тоже ушли куда-то.

Сара как будто уснула. Бас сидел, задумавшись. Вся его жизнь какими-то толчками-картинами проходила перед ним – короткая и сильная, как удар его кулака.

Он долго не замечал, что Сара не спит и смотрит на него в упор.

– О Бас, какие у тебя антисемитские черты лица! И за что я только тебя полюбила? – спросила она, судорожно улыбаясь одной щекой.

– Ты знаешь, Сара, – тихо сказал он, будто не обратив внимания на ее слова, – мне кажется, дело плохо. Только что предо мной парадным шагом под похоронный марш прошла вся моя жизнь, и она мне показалась довольно долгой и неинтересной историей. Ты понимаешь, прошла. Значит, ее уже больше нет, жизни, раз она вся прошла. Это конец, или начало конца... Но я счастлив, что любил и люблю тебя... любовь напрасной, как сказал бы поэт прошлого века...

– Но он бы не сказал – «напрасной», этот самый поэт, – возразила Сара.

– Ну, ладно, пусть красной... Гении, вроде Алкашки и Сашки, обычно пробавляются дурами, а дураки, как я, тянутся к гениальным женщинам, как ты, к таким величайшим красавицам, как ты, царица Савская.

– Стыдись, Бас. Какая же я женщина... Мне трудно, Бас. Все трудно: дышать, говорить, жить. Всем нам давно бы уже лучше умереть, чем так мучиться. Мне немножко больно в груди, но это не оттого, что я умираю, а оттого, что я тебя люблю, Бас... Только не смотри на меня так. Не упрекай. Твои глаза мешают мне умереть. Вот, вот он приходит, этот торжественный момент. Прощай. Ты прав... любовь напрасной...

Первым на лице голодных умирает нос. У Сары он вытянулся, и горбинка будто выровнялась. Глаза остались открытыми, но мгновенно выцвели, как выведенные пятна.

Это была обыкновенная неожиданная голодная смерть: только что человек дышал, говорил, даже шутил и улыбался – и вот его уже нет.

...Всякое, конечно, бывало, и за три с половиной года общежития все пускали слезу – если не всерьез, то спьяну. Бас – никогда. И вот плакали доселе непротекаемые глаза Баса. Слезы не могли пробраться сквозь щетину на подбородке, застывали кристалликами крупнозернистой соли.

Он пристально, не отрываясь, смотрел на Сару, и глаза его будто застыли, как две серые слезы.

К вечеру Саша и Дмитрий вернулись ни с чем и без конфет – съели по дороге на Госголрын, и без Игорька – он ушел на поиски своего Ванятки. Дверь была настежь открыта, и один, среди холодного разорения, сидел и плакал над Сарой Бас.

Она лежала, до подбородка укрытая одеялом, голубовато-бледная, с мраморными прожилками – трещинками у седых висков: сквозь слезы Басу казалось, что они извиваются, змейками впиваются в виски, переплетаются с седыми волосами. По откинутой левой руке разветвлялись синие артерии и мелкие, только после смерти проступившие, сокровенные вены. Нет, они уже не текли к сердцу – мертвой точке.

– Антисемитские черты лица, – бормотал Бас. – Погибоши ни за чтоши... – и клал свою львиную шевелюру рядом с Сариными седидами. Рыдал сухо, неумеючи, беззвучными толчками.

Вася Чубук пришел и сейчас же вышел. На Невский проспект.

– Н-не-медленно с-старушку, к-какую-нибудь – приказывал он сам себе. Старушка была тут как тут, поводила черным и строгим носом кверху. – Слышь, как гудут? Быть бомбежке, быть бомбежке, – сказала она, увидев Васю, и повернула к нему нос, будто что-то учуяла. Повторения, паузы и затакты в живой речи полумертвых – теперь обычны, и в этом что-то от предков, заклинательное и неуверенное вместе.

– В-вы на-набубоните на на-нашу г-голову, – упрекнул Вася, и тут же попросил ее к «по-койнице», и она с радостью согласилась. И даже засеменила.

– О-осторожней, – предупредил Вася, – а то на лестнице с вас шелуха посыпется.

– Лишь бы не песок, – сказала она, – хотя, конечно, замедлю темпу.

И вдруг так замедлила, что Васе пришлось подпихивать ее и обещать:

– От-отсебятинок за работу по-о-лучите, – но это было полкой отсебятиной: хлеба в общежитии не было ни крошки. Зато были конфеты. Когда Сару положили на стол, старушка нашла их под ее подушкой. Сосчитала: восемь штук – у кого спрашивать, все ошалелые, – сунула половину их сразу в рот (еще спохватятся, отнимут), половину в черный и обледенелый, как прорубь, карман дореволюционного пальто, синеватого, с отливом старины бархата, туда же скользнул маленький кошелек Сары.

Никто как Вася принес что-то белое:

– В-вроде п-похоронного платья, п-ппростыня.

– Не платье, а ночная рубашка, – поправила старушка, – но это все равно.

– Мертвые постельных принадлежностей не имеют, – неуместно пошутил Саша и покраснел, пошаркал в свой угол.

– Хоть бы затопили, – неуверенно попросила старушка.

– Незачем теперь, – сказал Дмитрий, но сам же сломал последний стул. Сходил за водой – тоже дело нелегкое и скользкое. Ворчал, усталый;

– Ее надо слушаться, видно, похоронное дело знает. Черт с ней.

– Теперь пойдите прогуляйтесь, – уже тоном приказа сказала старушка, махнув носом, как рукой, на дверь. И осталась одна с Сарой.

Через минуту – ловкость старушечьих рук – Сара лежала на столе голая, вся обглоданная голодом – с головы до кончиков костяшечных пальцев с синими полумесяцами ногтей.

А еще через несколько минут всем разрешено было войти. Сара, вся в белом, с чистым, смуглым лицом египтянки, строго смотрела в потолок, как часто на экзаменах. Этот экзаменационный Сарин взгляд был тоже известен всему институту.

– Если бы вы не были безбожники, – сказала старушка и выдержала паузу, – я бы и Псалтырек почитала. Да и нет его под рукой. До свиданья.

– Я с-сам к-как-нибудь, – сказал Вася и сразу же забубнил нараспев, чтобы не заикаться, свои отсебятинные молитвы.

Саша подошел к неподвижно сидящему Басу – он был почти вровень с ним – и положил руку на плечо.

– Голод сильнее всякого горя, сказал Данте. Это страшные слова, если так. Вот Сара уже не хочет есть. А я хочу. И ты хочешь. И весь город хочет. Данте побывал в аду, но это был творческий ад. Описывая его, он, может быть, терзался адскими муками творчества. Но наш голод ему не мог и присниться: ведь не день, не месяц, а уже скоро год. И уже, кажется, нет ни одного камня, не забрызганного кровью и тут же не обледеневшего. И Данте прав.

– Д-да, Б-бас, голод с-сильнее Сары, – «встрял» Вася, и услышав Сашино «Окстись, дурак», снова заречитативил.

– Как правило, чем человек религиозней, тем бестактней, – заметил Дмитрий. – А ты, Бас, – если хочешь, ложись спать со мной.

И надо же было откуда-то прийти Сене Рудину с Красноголовым. Худой и долговязый, тот едва держался на ногах, и рыжая голова ритмически дергалась. Саша вздрогнул и отошел в свой угол, будто для разбега, и оттуда сказал:

– Уходи сейчас же, красноголовая сволочь. Как ты смел сюда прийти? Думал, что я уже на том свете? На мой взгляд, ты сам стал жертвой своей неосведомленности: предательство никогда не уходит в область предания.

– Ничего я не стал. Я хочу есть. Я замерз, и у меня почему-то дергается голова, – сказал Красноголовый и слезно засопел толстым носом с примерзшей сосулькой. Все, и, казалось, даже Сара, удивленно глядели на Сашу.

– Ха-ха! Замерз. Рождественский мальчик в блокадной редакции. А я, думаешь, не замерз бы в Сибири? Давно бы уже замерз из за тебя, сексот проклятый! Не хочу с тобой связываться перед лицом покойницы, – сказал он дергающимся голосом.

– Все ясно, – сказал Дмитрий. – Вопросы излишни. Уходи, Красноголовый. Вася, помоги ему спуститься с лестницы.

– Н-не могу. Я м-молюсь. У-упокой, Господи душу ее. У-упокой, Господи, и тело ее, потому что самим нам вряд ли удастся это сделать.

Баса будто бы вызвала к жизни вся эта сцена, вошедшая в историю общежития как «Явление Красноголового». Он встал и молча взял верзилу за шиворот. Легким, но крепким ударом красноголового лба открылась дверь.

– Перед лицом покойницы, – пробормотал Бас и лег на кровать к Саше. – Ну, брат, и выдержка у тебя. Подвинься.

– Будет выдержка, когда подписку о вечном молчании дашь. А потом, я и забыл о нем и обо всей этой истории. Давайте спать. Завтра трудный похоронный день. Каждый отдаст Саре свой последний день... Что я сказал?.. Свой последний долг: один трудовень и паек хлеба.

– Это, может быть, будет не обязательно, – буркнул Бас.

Вася Чубук бормотал над Сарой, иконкой и коптилкой. И надо всем общежитием...

Красноголовый стучал в дверь, просил:

– Пустите, замерзаю.

– А вот у него нет выдержки, – сказал Бас. – И будто у нас немного теплее, чем на улице? Недаром говорят: теплая компания. Мы – такая и есть, только в высшем смысле. Нет, он не получит нашего тепла, предатель.

Лестничный ветер подвывал Красноголовому:

– Пустите, ребяташки, погибаю.

– Иди в НКВД.

– Сил нет.

– Что делать? – спросил Дмитрий всех. – Он не даст нам спать. Пустить?

– Это Саша должен решать.

– Да я что? Я – как все.

– Пустим, но постепенно, – предложил Сеня. – Пусть Вася этим займется.

– П-правильно. Это с-совесть в нем про-о-бу-будит. Сперва я е-ему дам к-к-кон, б-бывших, в общем, к-онфет.

Он достал из за оконной фанеры окаменевшее, открыл дверь:

– Г-де ты, г-грешная с-собачья д-душа? Вот, жри мои д-деформированные конфеты. Не для т-тебя берег, да уж ладно. Где же ты?

Красноголовый молчал. Он сидел на ступеньках, опустив голову между колен. Он был мертв.

– Значит, к утру станет Черноголовым, – сказал Саша. – И некому похлопотать о правительственных похоронах.

Утром Черноголового подняли на нежилой верхний этаж – это было проще, чем сносить вниз. Не до него. Сару снесли всей гурьбой и во дворе положили на профессорские саночки – те самые, что открыли покойничью навигацию. Горестное сосредоточенное спокойствие Баса передалось всем. Ходили вокруг саночек, прилаживали, как лучше, сопели, кашляли, вздыхали. Отмахивались от прилипчивых и назойливых, хуже мух, снежинок. И снег как будто не идет, а снежинки откуда-то выдувает ветер, как из-под земли. Надо же – когда не надо. Нет хуже таких снежинок – что иголки.

– Третий бы по-о-лоз п-присобачить для у-устойчивости, – советовал Вася, но на него только посмотрели укоризненно: глупое и неуместное рационализаторство.

– Сам бы взял и лег вместо полоза, – сказал Саша.

– И ль-лягу.

Перед дорогой на кладбище объявили перекур, поднялись к себе. Бас покурил – передал Саше, ушел.

– Эх, Бас, не наглядишься напоследок! – сказал Саша. – После конфет совесть твоя заговорила матом, а теперь твоя любовь – как глас вопиющего в пустыне.

Когда все сошли вниз – двор был пуст.

– Ув-волок, – с-сумасшедший, – молитвенно-одобрительно прошептал Вася.

– Да уж лучше бы лег полозом, чем он нам такую свинью подложил. Попробуем догнать! – Саша первый вышел на улицу.

До Невского еще можно было проследить если не полозья, то лапотные тяжелые следы Басовых сапог, а на проспекте они терялись. Да еще начался очередной снежный припадок.

И снова, тяжело дыша и опустив головы, поднялись наверх. Тяжела голова человека, трудно голодному ее носить. С опущенными головами живут и умирают.

Чувство разгрома общежития охватило всех.

– Вот Игорек тоже не вернулся, – вспомнил Дмитрий.

– Я все же схожу потихоньку на Невский, – сказал Сеня и ушел.

И сразу же вернулся с маленьким старичком.

– Вот, кажется, власти, у которых не все на местах, нас ищут. Смотрю – топчется на дворе.

Но старичок и в комнате топтался – очевидно, манера стоять.

– Мне бы дворника. Ежели, скажем, жив. А ежели, скажем умер, то ничаво, все равно, но я должен найти таких-то и таких-то.

– Дед-столет умер. «Безвластия» – сказал бы он о нашей жизни без него.

– А верно, пока жил – не замечали, умер – сразу стал заметной фигурой. Все его спрашивают. Судьба великого писателя.

– Это вы бростя. Например: Басов, Алкаев, Павловский, Рудин, Чудаков...

– П-простите: Чу-Чубаков, а в общем – все равно...

– Так вот, скажем, есть таковые налицо, или, скажем, умерши?

– Тют-тютюн тебе на язык.

– Что-то Чубучек развеселился.

– Забыл, что Сара умерла.

– Все они такие, эти молитвенники.

– Про Сару не спрашивается, ее нету в списке, пусть она себе умерши. Все вышеназванные господа неврастеники – на одно лицо.

– Тогда – поехали. Вот повестка. На оборонные работы.

– Мы – только на наступательные. Никаких оборонных. А далеко?

– Не знаю. Куда-то к Ладоге-матушке. Какая-то Воло-Ярви помечена. Найдем. Хоть я первый раз. Главное, приказано немедленно доставить вас. У меня же машина на Невском. Третий день езжу – собираю. Почти никого.

– Что – никого?

– В живых почти никого нет, что по списку.

– Ну, ехать так ехать. Вези нас, дед с усами.

Дмитрий положил под иконку записку для Баса: «По приказу едем на наступательные работы. Куда-то к Ладогe, Воло-Ярви. Оставь записку для Игорька. Ждем. Ругаемся».

...Грузовичок был неказистый, первопятiletочный. В мирное время на таких всех дорожных собак вешали, а в войну не могли нахвалиться: выносливыми оказались. И потряслись на нем в далекий путь, прижимаясь друг к другу, сквозь одногoлoсo-хлесткую метель.

* * *

Бас вез Сару на Волково кладбище. Оставил ее около могилы профессора, пошел в контору – к тем, кто на смерти грел руки. А может, и не руки, – только желудок.

Из погребальных сосен осталась только одна, да и она обуглилась по самую вершину. Остальные погребены под снегом, срезанные снарядами или сожженные в буржуйке.

– Видишь, Сара, и сосны умирают. Одна стоит, как головешка с ручками... Приехала ты в гости... к профессору на его же саночках: принимай, старина...

За долгую дорогу Бас разговорился с Сарой: спрашивал, отвечал – поглядывая через плечо:

– Не шибко трясет? Что? Хорошо, я буду полегче... Так ты говоришь, объяснились, наконец? И то хорошо... Голод выше всего, говорят великие поэты. Это правда. Но пока что мне не хочется есть. И жить уже мне не так хочется, если хочешь знать... Ты не хочешь знать? Неправда. Ты не можешь знать... И ты не подумай, что я плачу...

Приставшие к лицу слезы раздражали его, как бородавки.

...Красномордые бороды-лопатай смотрели молча, презрительно-понимающим официантским взглядом: с этого многого не возьмешь. Рыжая борода так и сказала:

– Два кило хлеба – или никаких разговоров.

И она не затрепетала под грозным взглядом Баса, сказавшего скупо:

– Сойдемся и на одном кило.

– Сойдемся на том свете.

Это было дерзостью, и Бас должен был схватить дерзца хотя бы за отвороты полушубка, если не за сосулечную бороду, и приблизить к его бегающим глазам свои, неподвижные, почти Петровской выпуклости:

– Задавлю, понимаешь?

Борода только ослабилась, неподвижная:

– Эх, ты, паря. Куда уж тебе. Оказия...

Это был новый удар для Баса: его не боялись: ни волкодавного взгляда, ни кувалдных рук. Эти люди, вернее, могильщики – были сильнее его не только физически, но и... глазами. «Сдержись, Бас», – сказал он себе по привычке, хотя надо было сказать просто «держись», – того избытка сил, который когда-то приходилось частенько сдерживать, и даже обыкновенных сил – не было.

– Бывают и свои хуже немцев, несмотря что земляки, – сказал он. – Ладно, поедем с Сарой на Митрофаниевское.

– Тем более – с Сарой, – процедил борода, дымя вулканической козьей ножкой.

Но Бас не слышал, а то неизвестно, что было бы, потому что злоба всегда утраивала его силы. Душевной же растерянности, от которой теряют последние силы, у него никогда не бывало... Он знал, что делать:

– Я похороню тебя, Сара, если даже придется объездить все кладбища: Смоленское, Преображенское, Охтенское, Тентелево или Тентельниково – сколько их, некрасовский Ванечка, знаешь ли ты? Пусть – узнаем. По дороге смотри на свой любимый город.

Он осторожно счистил снежные бугорки с ее стеклянных глаз – и пошел, медленно, но широко шагая, с высоко поднятой головой, перешагивая через трупы или обходя их, натываясь на крестные знамена противотанковых рогаток или железобетонные надолбы, сталкиваясь с медлительными, величественными, гордыми.

– Дорогу царице Савской, – повторял он, и живые уступали, а мертвые – нет.

...Объездили они все кладбища или половину, блуждали день или два – Бас не знал, только вот почему-то Обухов мост уже несколько раз поверхностно мелькнул в сознании, будто пройдено было не по мосту, а над ним, в суматохе и сумятице метели мыслей... Ион все шел и шел дальше. Не дальше, а снова: закрутил его заколдованный круг блокады, вобрал в себя его сильную – тем сильнее смятение – душу, толкнул вдоль себя, по себе, по шпалам трупов. И это безумное движение было центростремительным.

Три раза видел он себя на Николаевском мосту, потом несколько раз на Литейном – и снова на Николаевском, этом лучшем из мостов. Только тогда он понял, что кружит по городу и возит за собой Сару. Минутный проблеск доселе могучего, не знавшего туманов сознания столкнул его наконец с заколдованного круга безумия, и это было, как падение с чертова колеса. Он и упал: поскользнувшись, и с трудом, опираясь о закованную Сару, встал. И по мере того, как вставал, поднимая выпученные от муки глаза к небу, – перед ним вырастал все выше и выше сверкающий мириадами мраморных звезд, обледеневший Александрийский столп – как единая соборная свеча у алтаря Блокады: ангел Мира на самом верху, над восковыми потеками обледеневшего снега, зажженный солнцем, горел узким и трепетным пламенем.

Ослепленный ангелом, Бас закружился вокруг столпа, пока снова не упал на труп Сары, шепча: «Вот она – ось блокады: Александрийский столп. Это надежная ось. Как жаль, что никто об этом не знает...»

– Ось блокады! Да вы гений, молодой человек, поэтому вам проще всего сойти с ума, но запрещено особым уложением о гениях в Кодексе Провидения. Настоящие гении по-настоящему с ума не сходят.

Кто-то поднял Баса, тепло и сильно потряс его широкие плечи, повернул лицом к арке Главного штаба. А может быть, это он сам поднялся. Зимний дворец смотрел на него пустыми, как глаза апокалиптян, окнами. Никогда он не был таким по-настоящему зимним.

Ангел трепетал вверху, в отрыве от невиданной действительности. Но вот солнце зашло, и он светился сам – тусклым светом вечности. Да, если Александрийский столп – ось блокады, на нее можно положиться ослабевшим духом и усталым телом: гранит и мрамор как совершенство формы и Ангел мира как Божий Дух.

Из-под арки вышла рота пехотинцев. Пожилой капитан тащился позади, но бодро покрикивал «Левой, левой». Поравнявшись с остолбенелым Басом, рота вдруг «подняла» старую, всем известную песню: «Соловей, соловей, пташечка», – запевали одни голоса, а другие подхватывали: «Канареечка задом наперед», – но слабее запевал, поэтому сама песня получалась будто задом наперед!

– Сара, мы идем на фронт, – сказал Бас и пошел вслед за ротой. Но, не дойдя и до середины моста, отстал: «Оказия! Куда уж тебе, паря...»

Вернулся. И увидел молоденького часового, уже совсем побронзовевшего в памятник. Возможно, за свое долгое стояние на почетном посту у входа в Эрмитаж он не раз падал: теперь стоял, прислоненный к стене:

– Примененный, – сказал Бас, немного приходя в себя. – Есть такие любители: не любят, чтобы трупы лежали. Поднимают, ставят. В Адмиралтейском сквере стоят почти у каждого дерева.

Эрмитажные кариатиды с прежним каменным напряжением держат гранитный свод, хотя им теперь должно быть легче: половина свода, кажется, снесена снарядом: снеговая шапка словно сдвинута набекрень.

– Подожди меня немного здесь, – велел Бас Саре и, приветственно смахнув «скибку» снега с плеч вечного часового, вошел в вестибюль. И долго стоял, озираясь по мраморным сторонам – обледеневшим, испещренным осколками, в черных пятнах, с устрашающими сталактитами-сосульками на предметах, когда-то украшавших мир.

Знаменитая беломраморная лестница, ведущая к вершинам мирового искусства, собранным и поселенным на протяжении многих паркетных километров, стоит с перебитыми перилами и будто перепутанными, как карты в рассыпанной колоде, ступеньками. Кто по ним теперь поднимается... Бас поднимается. Оскользаясь и падая, как на крутую гору, через расщелины и валуны, шел он, а на верхние ступеньки уже полз, в кровь царапая руки об острые, холодные, как железо, отбитые куски.

И встал во весь рост торжествующий, будто подъем этот ему ничего не стоил. И медленно пошел по опустошенным залам, замирая от гулкой пустоты. Ни одной картины не было на стенах, и от этого они казались будто ободранными. Он вошел в знакомый зал любимых фламандцев, где когда-то висело сорок три картины одного Рембрандта и его шедевр – «Возвращение блудного сына». В хорошо уцелевшем зале видны темные пятна – квадраты и прямоугольники на местах, где висели картины, – будто вмерзшие их тени. Кое-где видны и подписи. Вот тень «Блудного сына». Перед нею остановился Бас.

Под его настойчиво упругим, замутненным безумием взглядом словно проступали сквозь стену веков знакомые фигуры, а лицо блудного сына... уж не его ли это, самого Баса, лицо? Но и четкий до хищности профиль Алкаева померещился ему, и вслед за ним девичий овал Сашиного лица.

– ...Первое видение в моей жизни, – сказал он Саре, вернувшись. – Видение, во едином образе блудного сына, меня, Сашки и Алкашки на фоне каких-то туманностей, спроектированных, очевидно, из моего тронутого первым безумием мозга – на промозглую стену... Не к добру, сказала бы моя мама... Я и забыл, что ты еврейка, Сара. А сам я, был ли я крещен? Это пустяки, Саранча ты моя черненькая: если есть Бог, так Он один и един для всех, и ему боже-ственно все равно, в какой вере и чем мы крещены: водой, звездой или розгами. Если я ошибаюсь – прости меня, тогосветная: тебе уже, думаю, лучше знать. Прости меня, моя сухонькая мумийка ты апокалиптическая... Ха-ха!.. Я придумал! Я увековечу тебя, хочешь?

Теперь он не оскользался и не падал, и будто прежняя сила вернулась к нему. Одним рывком ввез сани с Сарой в вестибюль и с тихим смехом толкнул вниз по лестнице в открытую дверь подвала, крича:

– Туда! Там твое место.

Поставил сани с Сарой в подвале, в отделе египетских мумий. Их не было: эвакуировали или попрытали.

– Никого нет? Тем лучше, – сказал Бас. – Ты будешь первой мумией в новом человекоисчислении, царица Савская, Сара Переляк, урожденная одесситка... Теперь я за тебя спокоен. Что мумией! Ты будешь – мощи. И будут приходить, и прикладываться к твоим русским голубым глазищам, и осыпать их всякими цветами. Эка ты их выпучила... Не пугай меня. Самое страшное свершилось: ты меня покинула. Вот. А теперь я покидаю тебя. Нет тебя среди живых. Нет тебя и среди мертвых. Ты среди бессмертных, Сара. Прощай.

...Пустое общежитие не поразило Баса, как будто так и должно было быть. Прочел записку и написал на ней, как революцию: «Игорек, если вернешься, дуй в Боло-Ярви. Бас». Взглянул на иконку, вспомнил, что хочет есть: под ней всегда лежали карточки. Собираясь на похороны Сары, каждый взял себе свою – на всякий случай. «На всякий случай захвати чубуковскую иконку. Ты уйдешь последний, как капитан с корабля», – приписал Игорьку. И только потом, взглянул на продкарточку, понял: два дня! Два дня возил Сару с кладбища на кладбище и по всему городу – чем он не кладбище? Но где же карточка Сары, уворованная в НКВД? Всероссийский рекорд. О ней все как то забыли. И больше всех забыл он, Бас, потому что

все могли думать, что карточка у него, а спросить постеснялись – «перед лицом покойницы». «Значит, сперла старушка», – решил Бас и успокоился. А ее, Сарина, собственная карточка? Об этом никто, и Бас ее не спросил.

– Какой деликатный мы народ, – сказал вслух, – а старушка еще деликатней.

Хлеб, сэкономленный за два дня, съел в две минуты... Два дня!.. А думал – целая вечность. А думал – не целый час...

Развернул плечи и снова вышел на Дворцовую площадь. Ангел поблескивал в вышине, отражал крестом и рубил солнечные лучи, павлиньим хвостом рассеянные сквозь тучи. И снова из арки Главного штаба вышла пехота. Казалось, она будет дефилировать бесконечно. И со всех сторон шли своей лыжной походкой апокалиптяне, вызванные из пещер первым, уже ярким и немножко теплым, солнцем. Их было все-таки много!

Еще прошел полк пехоты, что-то напевая. Бас стоял, прислонившись к плитам Арки, и ему казалось, что от них струится тепло, как от русской печи.

И шли, шли подпоясанные кушаками и ремнями, выпячивая сизые кадыки. Басу показалось, будто весь город вдруг устремился сюда, к арке Главного штаба голодных, к Зимнему дворцу Третьего полюса, к Александрийской Оси Блокады. И все улицы и проспекты стягивались в единый клубок, чтобы развернуться пружиной, ударить по фронту.

Со всех сторон, будто чуя недоброе, забухали немецкие пушки. Метель с воем и свистом расшвыряла снаряды куда попало, и заметалась между землей и небом. Но солнце – оно светило и сквозь жестокие белые прутья и колючие космы метели, как сквозь дождь, – утверждая тем самым свою уже непобедимую скоровесенную природу.

Ангел парил в вышине. «Как пушкинский орел, – сказал Бас. – Ха-ха, ангел-истребитель...» Крест мелькал как меч, рассекая скомканые снежные тучи.

– Я понимаю, – сказал Бас прохожему. – Царь-голод отказывается подчиняться смерти.

– Я тоже, – сказал прохожий.

А люди все шли и шли, будто на голодную демонстрацию, или в войско Царя-голода, в Вооруженные силы Апокалиптян. Вооруженные нечеловеческим терпением. Терпеть, умирать и не просить пощады. У кого: у своих или у немцев? Ни у кого, потому что не у кого. Блокада – двусторонняя злая и упрямая воля. Что немцы могли бы, да не хотели взять город – выдумка тевтонского самолюбия или себянелюбия своих идиотов, но что советская армия могла бы сразу же после успеха под Москвой помочь Ленинградскому фронту, но не сделала этого, боясь второго наступления на столицу, – это понятно: и в войне Москва оказалась счастливой соперницей. Для ее защиты силы нашлись, а для прорыва блокады Ленинграда – нет.

Или у Баса рябило в глазах, но люди ходили вокруг Александрийского столпа, кружились, как только что кружился он сам с Сарой. И ангел благословлял их сквозь метель. И она, будто рассеченная крестом надвое, воя, рассеялась наверху, а распоротым брюхом упала на землю, и высыпались кучи снега.

– Теперь Царь-голод поведет нас в наступление, – сказал Бас прохожему.

– Я хоть сейчас, – ответил тот и сел в снег – отдышаться. Или умереть.

А вот, даже как будто в ногу, приволакивая то левой, то правой, прошел полк пехоты. Бас присвистнул от удивления и так, посвистывая, пошагал сзади. Теперь ему легко. Без саночек. Саночкам пора закрывать навигацию.

Как старым знакомым улыбнулся Бас кариатидам. Теперь им легче. Всему городу скоро станет легче: сытней. Это – главное. А блокада? Ей еще конца не видно... Шагая, Бас напевал стихи:

«Ломая кольцо блокады,
Бросая обломки ввысь,
Россия, на баррикады —

Алым всадником мчись!»

На баррикады мчаться было когда-то нетрудно, с развевающимися алыми фалдами мелкопоместных пожаров. Прорвать эту блокаду труднее. Мистика символов: Самсон в плену у немцев.

– Нет у нас Самсона, – сказал Бас снова какому-то прохожему. – Некому разорвать пасть блокады, да так, чтобы из нее забил фонтан вражьей крови, да вбить в эту пасть клин прорыва. Но это будет, будет, – выкрикивал он вместе со словами, которые почему-то называют последними, хотя в мужском пылу они первые срываются с языка.

34. Ломая кольцо блокады...

Давно прошел Новый год, отзвенели метели в разорванных крышах, и крещенские морозы искрестили трещинами ледяную кору земли, домов и деревьев и кожу на руках и лицах апокалиптян. Их терпение – и то, кажется, начало давать трещины, терпение, как защитная кора души.

Артиллерийская дуэль ожесточилась, понеистовела. Все чаще и чаще немецкие снаряды-методисты вызывают ответные десятикратные кольцевые залпы городских гаубиц, и от них город содрогается больше, чем от разрывов вражеских снарядов. Это – как взрыв орудийной ненависти.

Всему бывает конец, пришел конец и голодному терпению. Это оно – лопнуло, это оно взорвалось небывалым шквалом огня по врагу на всем фронте. Орудия, изголодавшиеся по снарядам, били с остервенелой непрестанностью: артиллерийский голод кончился, снаряды везут по ладожской трассе, можно смело расходовать запас.

Везут и хлеб. И какую-то невиданную сухую картошку. Ничего, ее можно смочить слезами умиления. Поздно? Да, кажется, безнадежно поздно. Но пусть везут, везут и везут – бесконечно. Будут есть хлеб на улицах и умирать на снегу с улыбкой.

Вдребезги разбилась и голодная скука: Попков все чаще объявляет о выдаче крупы и еще каких-то фантастических сушеностей, понемножку, но только успевай получать. Старушки громко молятся за Попкова в очередях и тихонько тут же умирают. Дошла очередь и до них, потому что самое страшное позади.

... Теперь ясно, что артиллерийское превосходство на стороне осажденных. Были бы снаряды.

Немецкая артиллерия по-прежнему садит тупо и куда попало, без русского вдохновенного остервенения. Город еще не раз зальется кровью. И в этом году, и в следующем.

Скоро весна. Город снова, как прошлым летом, припадет к обнажившейся земле, и она даст ему и силу, и защиту. Нет, Германия – не Геркулес, ей никогда не оторвать Питер, как Антея, от родной земли, не полонить.

Отзвук близкого фронтотрясения всколыхнул дома, улицы, души.

Тоню привезли к генералу чуть не под конвоем, но как он пожалел бы потом об этом... Если б мог.

Около нового штабного блиндажа высятся горы лопат и кирок, и мирные тракторы-тягачи стынют на морозе: работы по расчистке ледяной трассы только что закончены. Сквозь редкие сосны просвечивает необозримое белое поле Ладожского озера, Ладоги – родины богатейшего русского фольклора. Какая тема для него – Ледовая трасса.

Красные флажки, отмечающие трассу, убегают в снеготканную даль, пропадают за горизонтом. Попутно торчат треугольники полужансенных снегом палаток, а кое-где – едва отличимые ото льда юрты, сложенные из кусков вырубленного льда, как ледяные дзоты.

Одинокая оленья упряжка неслышно, будто по воздуху, рассекает белое пространство. Нет, она не одинока: следом за нею, гремя цепями на колесах, идут четыре трехтонки.

– Пробный рейс, милая, с чем вас и поздравляю, – сказал Тоне вышедший из блиндажа майор с простым русским лицом и спокойным вдоль-и-поперечным взглядом серых ярославских глаз, – теперь у нас вместо «дело идет на лад» говорят «дело идет на лед»... Рад вас видеть! Мы тут все заждались... Месяц или два пропадали? Или год? Или весь двадцатый век?.. Как там держатся? Чем?

– Еще бы спросили – зачем. Поезжайте и посмотрите. Вам это будет очень полезно, не все же на фронте отъедаться, – зло ответила Тоня, но тут же улыбнулась: ей нравился этот надо-

едливый, но храбрый и удачливый армейский корреспондент, да и бегучее радужное виденье оленьей упряжки все еще маячило радостно в глазах.

– А вот я и поеду. Генерал уже и командировку подписал. Но прежде я напишу пару очерков о нашей трассе и о том, как Лада-девице на Ладо-Ладого случилось оленье видение. Конечно, это произведение не пройдет по антирелигиозным соображениям... которые, кажется, начинают смягчаться.

Это был Жиллов, и те же сапоги с морозным скрипом. Генерал встретил ее, подчеркнуто сидя. Он подчеркивал что-то красным карандашом в приказе.

– Законница ты моя неудачная, – сказал он вместо приветствия. – Добровольцы с фронта в город – явление благородное, но не без разрешения начальства. А если ты, так сказать, захотела сораспяться...

– И сораспнусь, кому какое дело?..

– То время выбрала неудачное: трасса построена, оборона ее крепка, хлеб уже, так сказать, на подступах к городу.

– Не всем же быть здесь. Так сказать, пишмашами.

В новом блиндаже, за новой поблескивающей машинкой, Тоня увидела новую машинистку – девицу с волосами тоже гоголевского цвета, а именно, – аравийского пламени с дымом. Без искр. Возмущенно искрились Тонины глаза – как можно так часто менять машинисток, – но сразу погасли смущенно:

– Как вам, строгий критик, неизвестно, – сказал генерал, кладя морщину-перекладину на переносицу, – старый блиндаж разнесло снарядам, многих убило, и в том числе старшую машинистку, которой от роду было двадцать лет. И я, я сам часок пролежал, помятый, под бревнами... А за реляцию твою спасибо.

И знаешь, на свои реляции я тоже наконец получил ответ. Моя идея взаимодействия фронтов, не новая вообще, но крайне уместная в частности, получила такую отписку: «Не суйтесь не в свое дело». По лаконизму узнаю стиль хозяина. И это – мне, будущему кавалеру всяких вновь выдумываемых орденов, о которых ходят упорные слухи, мне – строителю трассы. Мне, который вместе с донесением шпионки Тоньки получил больше 2 000 писем трудящихся Ленинграда... А тут у нас были писатели, слыхала? Потом написали свои разные очерки: «Дорога Сталина», «Сталинская трасса» и так, к сожалению, далее. Идея – моя, разработка – моя, работа – моей армии, под непрерывными обстрелами и с боями, правда, местного значения. Какая же это «сталинская» трасса? Я очень был обижен, и мне в утешение «наш корреспондент», так сказать, аккредитованный при нашей армии-труженице, придумал название: «Ледовый Невский проспект». Так все и называем.

Генерал встал, будто стряхивая с плеч обиду.

– Подойди, поцелую, худенькая ты моя девочка?

– Сам подойди.

– И подойду. Как я рад тебе. Будешь мне заменять корреспондента. Его, не спросясь у меня, вызвали в город. Посмотрим, как ему удастся написать правду.

– Мне нужно вернуться в город на несколько дней.

– Вернешься еще сто раз. Теперь у нас сообщение – как из пушки. А вначале, когда первые роты, с кирками и лопатами, вышли на лед в пятидесятиградусную стужу... Эх, что было... В атаку идти проще и приятней: дело горячее... И никто не понял значения трассы, которая, собственно, и есть прорыв блокады, узкая, но верная и легко защитимая брешь. Кромсая кирками лед, мы ломали кольцо блокады, извиняюсь за высокопарный стиль. Никто не понял – ни свои, ни немцы: свои – активно не помогали, немцы – активно не мешали строительству. Потом все спохватились: наши понаслали инженеров и тракторов, немцы сыпанули снарядам. Но было уже поздно. Мы победили. Наши машины бегут по льду. Трасса – это единственный

выход из поражения и провал немецкой блокады. Об этом надо писать и петь. А что стоит прокладка кабеля по дну озера!

– Все это пустяки по сравнению с блокадой в городе.

Тоня любовалась вдохновенным лицом генерала, но не могла не сказать так. И он не обиделся, согласился:

– Да у нас и не считают себя героями. Все знают: герои и мученики там, в Питере. О них только и думы у всех.

– Скоро уже не о ком будет и думать, некого спасать. Как почти врач я тебе скажу, что из четверти оставшихся в живых выживет не больше половины, да и то при хорошем госпитальном уходе. А где его теперь взять?

– На Кавказ всех вывезем. А как ты мыслишь конец блокады?

Тоня и не задумалась. Ей казалось, что дело просто:

– Неожиданный и сильный прорыв... Немецкие орудия – вверх тормашками... Захваченных при них немцев – резать на куски, сжигать и давить танками.

– Вон ты у меня какой герой! – удивился генерал. – А я-то думал: хоть ты и в ватных штанах, а душа у тебя в юбке. Но конец блокады – это не прорыв, а наоборот, соединение. Это стык двух фронтов: Ленинградского, неподвижного, с Волховским, действующим. Успешней всех сейчас обрабатывает немцев генерал Федюнинский. Но сил нет. Поэтому до настоящего конца блокады почти так же далеко, как и до конца войны... Но немцы слабы на нашем фронте. Соотношение сил почти весовое: стоит, например, одной дивизии сняться и уйти, или хотя бы одной-двум батареям заглохнуть – уже чья-то катастрофа, чья-то победа.

– Ты стал как поэт.

– Это от дружбы с нашим корреспондентом. Он и вояка отчаянный, и пишет лучше всех. А ты – прозаик: месь. Я согласен, часть немцев надо бы разорвать на куски, только не ту часть, что на фронте... Пока что вся надежда на волховцев. Иначе – сколько мы их ни долбай, блокада останется. Что делать? Ждать. Наш фронт так неподвижен, что карта фронта будто удобно и плотно улеглась у меня прямо под черепной коробкой, и каждой малейшей извилине фронта мгновенно отвечает зигзаг соответствующей мозговой извилины, и я уже знаю, что делать и немцы знают, что я сделаю. Но иной раз я заранее не знаю, как поступлю, и это для них самое страшное. Мы им еще покажем!

– Ну, ладно, – оборвала его она. – Ты им тут показывай, а я пойду в свой санбат. Работать надо. И неудобно мне, и стыдно туда-сюда мотаться, но очень нужно снова в город: я обещала. И я люблю.

Генерал не расслышал – звонил телефон.

– Что? Под Черным Бором закопошились? Надо было ожидать – середина трассы. Думают уж прервать ее, так посередине, и оборона, думают, там слабее. Что? Они плохо думают? Ну, брат, не всегда... Тоня, беги скорее, или оставайся. Кажется, что-то начинается. Что? Начинается у меня под носом? Ты угодила в точку. Пойдешь? Ну, пока. Заглядывай... Разведка вернулась? Надо было сразу, сразу об этом...

Бухнули свои орудия – будто одним ударом – в небо. Лес, взволнованный орудийной волной, зашумел, и снег посыпался с ветвей. Он посыпался и с неба, сорванный с низких туч начавшейся канонадой.

* * *

Немецкие дивизии – щупальцы блокадного спрута нередко отрывались от тела фронта, будто высосав всю русскую кровь на своем участке, со своими батареями-присосками перемещались в другое место. Если не удавалось втихую – это был маневр с боем.

Но на этот раз двинулись не одна-две дивизии, а чуть не вся армия, полуподковой облегающая подступы к Ладогe. Чудище обло зашевелилось; как сучья в лесу, затрещали выстрелы, и пулеметы протарахтели вопрошающие первые свинцовые четверостишия великой или малой поэмы боя: готовы ли к нему?

Тоня не успела дойти до своего санбата, но от штаба отошла далеко. Может быть, бой застал ее на полдороге. На полдороге к смерти или почти.

Оглянувшись, она увидела, как первой погибла с расщепленным треском высокая сосна около штаба – ее так и называли штабной, или генеральской, – словно с нее и нужно было немцам начинать. Срезанная снарядом под корень, она будто отпрыгнула в сторону и тяжело упала на руки соседних сосен, ломая их.

Потом высокий боец забежал вперед Тони и, крикнув «Ложись, милая», – упал застывшим от ненависти пороховым лицом на запад. Тоня привычно пощупала пульс. Он уже не бился. И бойцу больше не биться.

...Казалось, она шла целый день: склонялась к убитым, отгаскивала раненых в сугробы, или, вместе с незнакомыми санитарями, относила их на носилках в палатки на лед. И шла дальше, к своему санбату – по дымному пространству сражения, изрешеченному почти видимыми снарядными осколками и пулями-невидимками, обходя черные, шипящие сковороды разрывов, вокруг них снег дымился и потрескивал, как порох.

Меж упавших сосен падали и умирали бойцы с неслышным в грохоте боя предсмертным стоном. Противник так и не вышел из «своего» леса, а трупы бойцов лежали уже повсюду, будто разбросанные одним взрывом. И само сражение было как взрыв тоски и ненависти, накопившихся по обеим сторонам фронта. Такое не могло длиться долго... Вот неуклюже выкатились немецкие танки, клубя дымом, и застряли в снегу. Сзади них затрещала автоматами пехота, но, встреченная огнем, залегла за пнями и стволами только что снесенных деревьев. Один танк, спускаясь с горки, давя тонкоствольные сосенки, перевернулся с ходу. По инерции он елозит из стороны в сторону, как опрокинутая черепаха. Но попробуй к нему подступиться на выручку – весь склон вокруг него бешено продувается горячим свинцовым ветром. Будто от этого танка зависит исход боя.

Две танковые атаки зарылись в снег, за ними застряла пехота. Потом она отошла. Десяток танков остался – догорать.

И это совсем не снег, а земля глыбами взлетает в воздух, будто сотни землечерпалок швыряют ее огромными ковшами. Дико видеть на снегу – засыпанных землей.

Бегут сзади и впереди Тони, и по сторонам, крики и слова команды то повисают в воздухе, то покрываются разрывами. Падают среди сосен, и сосны со стоном ложатся среди трупов. Сквозь придавившие объятия зеленых лап кричат живые глаза раненых. Таких оставляют на поле боя – на после боя. Выживут – хорошо.

Лицо первого убитого, быть может, заслонившего ее своим телом, видела Тоня перед собой. И опускалась на колени около трупов, поворачивала их лицом на запад. На ее глазах взводы и роты накапливались в прибрежных нагромождениях – пирсах льда и текли навстречу противнику сгустками крови.

... На театре войны – как в театре: минута тишины играет роль вечности, и многочасовой бой кажется минутной схваткой. Только что казалось, что бой идет всюду, как обложной дождь, и нет на сотни верст на земле ни тишины, ни солнца, и всё небо и лес кричат «А-а-а!», и вдруг упала тишина. Но она была грознее и важнее всех грохотов и шумов боя. Тишина эта означала «вот-вот» широкого и звериного воя, «А-а-а!» отчаянной контратаки. И когда этот вопль – совсем не страшный, а даже как будто жалобный – оборвался, бой затих, и улегся в лесу свинцовый ветер, опаливший все вокруг и сдувший остатки вражеского наступления.

Небо прояснилось, как после грозы, и показало замороженный желток солнца. Но еще кружились в карусели воздушного боя, оперенные перистыми облаками, самолеты. Будто мало места для битвы на земле. Уж если так – скоро войне вообще не будет места...

Нет, это не то сражение, о котором долгие месяцы мечтает генерал Павлов. И не та победа. Не победа – полпобеды, как бывает полбеды. Полбеды – разметанный снарядом накат над блиндажом. Слишком близко к передовой. Надо искать другое место. В новом блиндаже по-старому воткнуты флажки на старой карте – условные знаки равнодействующей двух сил. Но больше всего мучила генерала невозвратимость потерь – самое страшное на войне.

Он равнодушно отводит бинокль от глаз и видит сквозь влажную затуманенность близко-грядущий победный бой: как бойцы будто уже очищают еще «теплый» лес, тяжелые батареи легко меняют позиции, самоходные пушки опережают их, понимающе покачивая дулами, – на запад, все идут и бегут вперед, и телефонисты тянут свой провод – красную нить большой победы, настоящего наступления...

Но ничего этого пока нет и, видно, не скоро будет.

И не видел генерал, не мог он видеть, что увидела Тоня, когда уже подходила к своему санбату: белая стена снега, почему-то песчано-желтая в основании, с молниейными прожилками – они были последним проблеском ее сознания – встала перед ней и упала на нее.

А снаряды рвались пачками, как головешки в костре, еще долго, до глубокой ночи. От их ударов из земли будто посыпались искры – так в небе вывездило. В эскорте редких автоматных очередей и ракетных отсветов пришла тишина, будто посланная с неба, тишина – истинная царица сражений.

Лампадой повисла луна – над темным ликом исковерканной русской земли. Павшие сосны не встанут, павшие люди не согреются в землянке у огонька.

У штабного блиндажа неподвижно стоит часовой, и тень его вмерзла в снег. Он прислушивается. С белой равнины Ладоги, с трассы слышались голоса:

– Едут! Идут!..

Из блиндажа выбежали офицеры, вышел генерал, и поскользнулся, чуть не упал, взволнованный. Без привычного для военного уха стука копыт олени мягко и призрачно скользили по льду, и гордо развевались их рога, как причудливо окостеневшие на холодном ветру гривы... А вот и головная тяжелая машина подошла, остановилась. За нею – колонна таких же, перегруженных.

– Господи, наконец-то, – сказал кто-то. И больше никто ничего не сказал.

Машин было немного, не больше десяти, но всем, кто глядел на них, – многие плакали, – за ними мерещились сотни, тысячи других. И они придут, эти тысячи машин, хотя слишком поздно.

Это была первая колонна машин с овощами и шоколадом для Осажденного.

На какую-то долю секунды Тоня увидела непомерно выросшие из тьмы тонкие руки хирурга. Он нес их перед собой бережно, как драгоценный инструмент, к ней. И снова они будто спрятались во тьму.

– Два осколочных ранения в область печени, – сказал хирург. – Будем уповать на молодость: только она может спасти. После операции, в любом состоянии – лишь бы была жива – немедленно отправить на Большую землю.

– Генерала бы предупредить, – сказал ассистент.

– Никаких генералов. Успеется, потом. Машины идут?

– Идут всюду!

...Генерал Павлов так и не узнал о тяжелом ранении Тони. Той же ночью он был убит снарядом на льду. Достойная смерть человека, только что завершившего большое дело своей жизни. Трасса работала полным ходом, и по ней полным ходом шли машины с хлебом для голодных.

35. Конец компании

Бригаду окопников выгрузили в прифронтовом лесу – когда-то густом, теперь поредевшем. Был дремучий лес, стал недреманный: сторожевые окопы, наблюдательные вышки. Круглые полянки занесенных снегом озер не радуют глаз, наоборот, как бельмо на глазу: легко простреливаются.

Два тяжелых орудия стояли неподалеку, одинокие, будто кинутые. Но, словно приветствуя вновь прибывших, они сначала выдули из себя клубы дыма, потом дружно ударили в небо. Саша возбужденно-тихо выкрикнул: «Эй, все наши – айда на батарею!» Надо сказать, что по дороге в «газик» к общежитцам набилось больше десятка «повесточных», а в столовой около Финляндского вокзала, открытой, очевидно, специально для окопников, дали суп с чем-то плавающим. Это всех возбудило. А тут еще батарея!

...А около нее открылась деревушка, каких немало занесено снегом по лесам, пустых, похожих друг на друга не только бревенчато, но и печалью заброшенности, пепелищами пожаров, стогами сена. На блокадном фронте кавалерия давно съедена, да и зачем она здесь. Нетронутые, с белыми обледеневшими верхушками, стога сена похожи на кулички, для голодного воображения подходящие.

Артиллеристы жили в избушках спокойной и однообразной позиционной войной... Ими командовал флегматичный и добродушный украинец, высокий, худой и насмешливый.

– Командир батареи Тарасконенко, честь имею, – не без иронии представился он, да таким басом, что Саша почтительно отметил про себя: «Он даже больше бас, чем Бас», и назвал себя:

– Так что бригадир ударной окопной бригады Тартарененко.

– И бригадир самозванный, и ударная – самозванная, и Тартарененко – самозваненко, – сказал Дмитрий, но лейтенант не слышал, удивленный:

– Ну, и хвамилия, брат у тебя. Что-то не слышал такого – подобного. Это, небось, из Шэкспира?

– Никак нет. Это от слова тартарары, которое, в свою очередь, – от слова тартары, то есть татары. А вы – от Тараса, если не Бульбы, то Шевченко.

– То все одно. А вы, случайно, не из людоедов будете?

– Именно случайно – нет. И разрешите вам представить дальше: неудачники – братья писатели Додэнко и, с особого разрешения, будущий искусствовед Алкашко.

– Да вы, я бачу, вен украинцы. Но мне на это наплевать, – лейтенант грозно налохматил черные брови. – Кто вас сюда прислал? Какой черт? Какие теперь окопы? Волчьи ямы здесь, кажется, роют...

– Хоть собачьи!..

– Но и они никому не нужны. Это для оправдания, почему своевременно не вывезли людей: надо же кому-то остаться, чтобы рыть окопы, чтобы потом отдать их немцам.

– Как можно...

– Молчать, когда я говорю. Я и без ваших дурацких ямок не собираюсь отдавать этого клочка земли, где мы сейчас с вами мирно балакаемо. У генерала Павлова я помечен крестиком. Это не значит, что на мне поставили крест. Я не какая-нибудь пехота... Наоборот.

– Это не крест, это «плюс». Куда пехоте до вас, – подобострастно сказал Саша.

– Я бачу, что вы меня понимаете. Этот клочок земли очень важен. Видите: мы – это горка, на западе, как в шахматах, битое поле: ни мы, ни немцы. Кто поле перескочит, тот и попадет в дамки.

– Кто, или только немцы?

– Бачу, вы трошки смыслите. Конечно, только немцы. Что с того, что мы, допустим, перемахнем – все равно в черте блокады останемся. А видали, какие у меня крали?

Под горкой стояли, в сорока-пятидесяти метрах друг от друга, два гладких черных орудия с прилепившимися, как ружья на плечах у богатырских солдат, зенитками.

– А внизу они стоят – для траектории, – пояснил лейтенант. – А вы, я бачу, гарные хлопцы. Приходите к нам в гости. С вами не соскучишься... Я, конечно, здесь самый главный, но у вас есть свое начальство – какой-то там сотник, или как его? Но, по правде сказать, от его сотни – с гулькин нос, да и от моей роты одна военная тайна осталась. Но – не сдамся. – И он поднял кверху нос, не больше гулькиного, будто вздернутый, как вожжами, бровями удивленно-крутого изгиба.

Видно, он был прирожденный воин, с тремя блесками в глазах: старинным – «рад стараться», новым – «служу трудовому народу» и смешанным – «была – не была», «авось» и «знай наших». Но это блески, а содержание сливовых глаз – главное, понимание собственного достоинства и обычно связанное с ними самообладание. Мужчина «марциальный», как говорили при Суворове.

Он был прав: рыли волчьи ямы. Вернее, уже вырытые накрывали бревенчатым накатом. Бревна по два-три в день волоком таскали из лесу. Не для войны они были заготовлены каким-то колхозом. В этих колхозных широтах больших посевов не было, занимались в основном огородничеством да строительством всяких барачков и сараев – на скорую руку. Благо что лесу под этой скорой на строительство рукой было сколько угодно.

Обедали окопники в теплом бараке под вывеской: «Временное правление колхоза им. Жданова». Обед бесплатный, но за пшеничную кашу отдавали 20 гр. талонов «крупы». Порции были вдвое больше городских, а после того, как лунной ночью приехали две машины с продуктами – с трассы, втрое, вчетверо – в какое-то почти сытное число раз. Ужин был тоже бесплатный: кипяток. На ночь теплый барак запирали.

Спали в избушке-старушке, такой ветхой – шаталась под ударами метельных крыл, будто только скриплым крыльцом, как единственным зубом, держалась за землю. Задень она промерзала: на бревнах выростала щетина инея, но первая же тепловая волна печурки сбивала ее, «як корова языком слызгивала» – вспомнил Дмитрий Жилова-биллиардиста, и думал, глядя на огонь: «Вот, так бы снимало иногда верхний, огрубевший слой души – тонесенько-тонесенько, как иней, чтобы она очищалась, яснела. Но не ослабнет ли она от этого? Нежные души должны быстрее грубеть, чем черствые, иначе погибнут». «Постельные» разговоры еще продолжались и здесь, часто до полуночи, пока всех не накрывал глубокий, как снег вокруг, сон.

Некоторым, особенно Васе Чубуку, чаще всего целыми кусками, посыпанными хрустящей солью, снилось – сало. С мыслью о нем засыпали, вот оно и являлось. Такое сало называлось снотворным, а сны – сальными.

Батарея Тарасконенко изредка, будто по вдохновению и наитию командира, сотрясала землю. Почти каждый раз, как по заведенному ритуалу, он встречал новых друзей вопросом к своим подчиненным:

– А шо, хлопцы, пальнем?

– Долбанем, щоб вин сказывся! – отвечали хлопцы и демонстративно бежали к орудиям.

– Отставить, – вяло командовал хозяин, – боюсь напугать господ неврастеников.

– А вы типичный флегматик, – заметил однажды обиженный Саша, и лейтенант охотно с ним согласился: да, как же, еще со школьной скамьи такой.

– И все ваши хлопцы тоже какие-то спокойноватые, если не считать вызывающего поведения за обедом: все им, чертям, мало. В город бы их отправить на недельку для голодной пропаганды.

Рота получала довольствие по какому-то разряду, часто упоминаемому в сильных выражениях самим командиром.

А рядом стлы под снегом картофельные поля. Но рядом стояли и другие батареи. Их интересы сталкивались на поле добычи картофеля: кирками высекали из каменной земли черный пометный картофель.

– Ну, и барабуля. Где же в ней соль земли? Одна вода, – сокрушался лейтенант.

– Картошка больна водянкой, – говорил Саша, не замечая, что оба говорят одно и то же каждый раз.

Иногда – празднично-редко – находили лошадиные крупы, закопанные на «битых» полях великого осеннего сражения. Конину прятали в окоп около телефониста. Назывался он громко: «Фонд Красной армии».

Каждый неврастеник получал кусок «от последней коняки» и ел с шепотливым прихваливанием, не слушая научных объяснений командира:

– Которые прихвачены первыми морозами и, так сказать, закреплены последующими – те вполне съедобны, а те, что попали в слой вечной мерзлоты, еще более съедобны.

Конечно, Саша поддакивал за всех, – такие и сто лет могут пролежать, как в банке. В консервной банке. И плюньте тому в глаза, кто скажет, что никакого слоя вечной мерзлоты в блокадных широтах с до Рождества Христова нет. Есть, и съедобно-дохлые лошадки тому вернейшее доказательство.

По-настоящему же, по-товарищески сблизилась флегматики с неврастениками лишь с появлением на окопах Баса.

Костляво-огромный, с каменными чертами остановившегося лица, он пришел на пятый день, когда никто из окопников не мог похвастать ни одной готовой, хотя бы собачьей, ямой. Радостно встреченный всеми и теплой улыбкой печурки, которую здесь было как-то неудобно называть буржуйкой, – он прежде всего и подсел к ней, и протянул к ней длинные руки, растопырив тонкие пальцы с синими наконечниками ногтей – будто хотел ее задушить. Долго молчал: оттаивал. Потом сказал:

– Оказия, паря.

– Паря – чем не пария, – обрадованно подхватил Саша.

– ...И черт вас не найдет – ишь, куда забрались. Мне кажется, что отсюда мои мечты – попасть на фронт – недалеко от действительности... И печурка у вас какая... ласковая. Где сперли?

– Она уже была сама сперта, – сказал Саша. – Глядя на нее, – ему очень хотелось поговорить, – я часто думаю: скрытая толстовская теплота патриотизма – вот чего многие не понимают.

Бас так и не сказал слова «Сара». И никто не сказал. Он тоже получил кусок мороженого мяса, а ел его – будто обжигался. Лейтенант долго и молча его оглядывал и сказал:

– Уважаю таких-подобных. Всегда прошу к нашему шалашу.

– Теперь у нас будет два Баса, – почтительно заметил Саша.

– А третий Бас – батарея, – сказал лейтенант.

– И батарея – это вы, – еще почтительнее заметил Саша, и лейтенант покраснел: лесь была государственного масштаба.

Вслед за Басом, словно у него на поводу, пришел Игорек, весь черный, но довольный и веселый. Важные новости принес он:

– Эвакуируют. Сперва – студентов, детей и всяких женщин. По Ладожской по трассе. Профессора уже увезли. Я его видел как раз перед отъездом. Он сказал, чтобы я передал вам, что вы все, и я, конечно, с вами, увидите небо в алы-мазах. Только, сказал, что вы народ опасный: возьмете и постаскиваете алымазы в свою общежитку.

– Ик-иконку не забыл? – спросил Вася.

– Забыл, черт возьми.

– Н-ну и ду-дурак. Она б-бы б-была тебе как охранная грамота.

– Грамота... Я, кажется, и читать-то скоро разучусь. Довоевались... И Ванятку я не нашел, и конфеты у меня на Сенной сперли. Уж так было жаль. Правда, и мы за них не особенно дорого дали.

– Забудем, – сказал Бас серьезно. – И с общежиткой покончено. А ты что думаешь делать? Поедешь на Большую землю?

– Я бы поехал, просто так, чтобы пожрать и обратно вернуться. Но ведь не вернут. Мыслимое ли дело в войну катать людей туда-сюда и обратно. Потому я решил остаться. Хлеб, слышно, везут и везут без перерыва.

– Вот истинное ты дитя Северной Пальмиры. А мы – у нас у каждого на Большой земле свой маленький дом и своя к нему прямо паровозная тяга... А станут ли тебя спрашивать? Повезут, как миленького.

– И совсем не как миленького. Как это – меня не будут спрашивать? Я сколько одних зажигалок потушил, знаете?

– Заливаешь.

– Смотри, сам не залейся.

– А что, может быть, таких и будут спрашивать, – задумчиво сказал Дмитрий. – Мы уже не в счет. Мы – материал для войны. Но за нами идет новое поколение, Игорьки. И это будут не какие-нибудь игроки в счастье. Они свое возьмут. Их будут спрашивать. Иначе они спросят.

– Ну, ты вечно в крайности, – сказал Саша, – при ребенке-то.

Игорек тоже получил кусок мороженой конины – «сладкой, как мороженое». Ему даже лейтенант предложил ответственный пост связного при телефонисте – незаметном пареньке в незаметном окопчике около орудия. Но Игорек пересилил тщеславие, отказался:

– Я уж лучше останусь с Басом и Алкашкой. А стрелять буду учиться без отрыва от окопов, ладно?

– Ладно, – сказал лейтенант, недовольный. – Там видно будет.

Стрелять вскоре чуть было не научились все. Стрелять – не стрелять, но снаряды пришлось подтаскивать, как номерным...

Батарейцы, каждый по-своему, полюбили Игорька. Он был как пробный камушек человеческой любви, не огрубевшей за войну. Даже телефонист, не участвовавший в общей любви к нему из-за вечного своего окопного сиденья, подарил ему старые наушники, чтобы закрывал ими уши во время пальбы. Но он не закрывал. Любил собирать отстрелянные гильзы, солнечно поблескивающие медью. Глазенки блестели и плавали в цветных, после каждого выстрела, кругах.

Любили его и окопники, он мог бы не вылезать из кухни, но работал как все, таскал бревна в паре с Басом.

Батарейцы обычно приветствовали своего командира лениво и насмешливо: будто сами их ладони ухмылялись, возносясь к нахлобученным шапкам. Но когда начали козырять неврастеники – лейтенант совсем рассвирепел, потому что это походило на ловлю блох в воздухе.

– Отставить! – кричал он.

– А вот не отставим, – и козыряли дальше.

Иногда, по старой окопной привычке, устраивали «вечера художественной самодеятельности». Анекдоты Баса вызывали такие солдатские хлопки ладонями, а то и кулаками по спинам друг друга, что артисты садились противоположным фронтом: один такой аплодисмент по спине мог свалить и Баса. Дмитрий читал стихи Пушкина, Блока, Есенина и чаще всего – на бис – Гумилева. Саша читал свои стихи с обязательными и скучными комментариями.

Как всегда у русских – спелся хор. Пели украинские песни, с неизбежным Днепром широким, и русские, с еще более неизбежной Волго-Волгой.

Бас любил петь «вне сцены»: обопрется о лопату или сядет на бревно, и басит что-нибудь непопулярное. Чаще всего пел «Орленка», глядя на Игорька:

«Орленок, орленок, блесни опереньем,
Собою затми белый свет.
Не хочется думать о смерти, поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет».

Игорьку не было шестнадцати. Ему не было и десяти.

– Это ты про меня, Бас? – спрашивал он. – Вот погоди, дай блокаде кончиться. Я всем покажу.

Он так и кричал, когда его, через несколько дней, силой усаживали в откуда-то приехавшую грузовую машину:

– Я всем покажу! Я не хочу ехать один!

– Главное на войне – это порядок, – сказал лейтенант, виновато отводя глаза в сторону, и Игорек перестал кричать: понял, что это лейтенант сообщил о нем по начальству. Его он уважал наравне с Басом. А Бас шептал на ухо, щекоча усами:

– Езжай, брат, не смотри на нас. Мы – люди конченные. Материал для войны, как сказал один философ-любитель. А тебе – жить да жить надо. Давай свою зажигалочную лапу.

А тут еще шофер дал полплитки шоколада. Игорек примиренно заплакал и уехал. На Ладого, на Большую землю.

И Бас заскучал. Песни стал петь со строгим выбором: что ни день, тоскливей и безнадежней. Он не был сторонником позиционной войны. Он не любил эти молчаливые орудия, стреляющие, по его мнению, раз в год, да и то не каждый год. И тесен был для него этот клочок земли, которым, казалось, ограничивались и война, и родина.

Поэтому, после «Ничего мне на свете не надо», «Зачем в тебя я, миленький, влюбилась», «Жалобно стонет ветер осенний» и «Грусть и тоска безысходная» он остановился на «Позабыт, позаброшен». Потом исчез, прихватив пистолет лейтенанта. Саша нашел в своей шапке записку: «Не обижайтесь. Не могу я так больше. Подамся на фронт – к Федюнинскому или Павлову. Если вернут – вернусь. Но у меня есть заслуги. А вы тут держитесь. Надеюсь, обо мне еще услышите. Я вас не оставлю. Бас».

– Пропал мой пистолет, – сказал лейтенант.

– Спишется за счет доверчивости, – сказал Саша. – Мы вам сочувствуем. Да и сами убиты горем.

– Отчепись, сочувствовало! – зло сказал лейтенант. – Не пистолета мне жаль. У меня их штук пять. Захочу – все вам раздам. Да. Пошли за мной в землянку. Подходи – навались.

Все получили пистолеты. И онигодились. Только Вася Чубук отказался даже прикоснуться к оружию. Но оно и не пригодилось бы ему...

После обеда присел Вася на бревно отдохнуть, сполз на колени и будто уснул.

– «Вместо того, чтобы сомневаться в том, верите ли вы в Бога, станьте на колени и молитесь», – кажется, так советовал старец Зосима, – сказал Саша, проходя мимо. – А вот я – стань хоть на голове – моя вера от этого не прибавится. Так что мне такие советы начинающим верующим не подходят.

Вася молчал. Саша тронул его за плечо.

– Вставай, Чубучок. Еще пару сосенок притарабаним – и на сегодня хватит. Да ты что же это... неподвижничаешь?

Вася Чубук был мертв – с бледной улыбкой, остановившейся на полдороге. Заикнулась Васина улыбка навсегда.

– День потерь, – сказал лейтенант. И приказал своим хлопцам дать салют из обоих орудий.

– Пальните за упокой души.

– Як пальнуть – до горы? – спросили хлопцы.
– До горы. Салют есть салют. А потом жарьте туда. Прицел тот же. Вопросов нема? Исполняйте приказание.

Орудия дружно взревели, задрав носы. Саша заплакал.

– Чубучок... Кто же теперь за нас будет молиться...

Больше всех плакал Сеня Рудин.

– Конец, конец нашей компании, – повторял он.

– Судьба играет человеком, а человек играет в ящик, – сказал лейтенант Сашино любимое изречение. – Ничего не поделаешь: день потерь.

Исчезновение Баса он тоже считал потерей. Но потери были еще впереди.

* * *

...Чехлы на молчаливых орудиях – как намордники. Серое небо – как чехол. И тишина, как купол. В общем, затишье.

– На фронте надо жить, и жить усмехаючись, – говорил лейтенант, – иначе, как читал товарищ Алкашко, чернеет гибель снизу. Отовсюду будет она чернеть, эта чертова гибель. А когда молчат орудия – ни жить, ни воевать не хочется.

Флегматики слушали – все, с красными шеями и желтосерыми лицами. Снарядов не было.

Но пришли машины, привезли снаряды, и ящики с гранатами поставили около орудий – так полагается, на всякий случай, для битвы до конца. Мимо день и ночь шли битком набитые людьми трехтонки: эвакуация голодных началась. А с нею будто и все прифронтовые пришло в движение.

Звонко трещат на морозе мотоциклетки, мягко мелькают штабные машины, и конные патрули все чаще подъезжают к батарее справиться, как дела, закурить, погреться в землянке. Откуда-то взялись танки – идут и идут, не останавливаясь.

Однажды в полдень телефонист выскочил из окопчика, позвал командира:

– Скорее, сам генерал тебя спрашивает.

– Чего нам ждать? – спросил Дмитрий, когда он вышел.

– Немцы собираются помешать эвакуации ленинградцев, так надо им угольков подсыпать. Я так понимаю: генерал задумал ложную демонстрацию наступления, будто с целью прорыва блокады. А чего ждать – это, брат, я не знаю. Только вы в случае чего – все по своим ямкам. Эх, как я сейчас долбану! Это уже конец блокаде как кампании, если трасса работает! – оглушал он крепким, настоящим на морозе басом... Не знал, не знал лейтенант, чего ждать...

От первого орудийного залпа тишина дрогнула, после второго от нее уже ничего не осталось. Загремел весь фронт, и гремел долго.

– Вот она – грамматика боя, язык батарей, – кричал Саша. – Началось!

Кажется, огнедышащему змею где-то рубили головы, всерьез. Дрогнул он близко и мощно, но с упругим упрямством остался на месте, то выбрасывая вперед, то вбирая в себя, как ножки амебы, роты и полки солдат-инфузорий.

...Одна отрезанная от своих частей или потерявшая ориентир в тумане «дикая» рота немцев-автоматчиков, как отрубленный коготь дракона, наткнулась на батарею Тарасконенко. Но он не растерялся, будто всю войну ждал такого случая. По противнику, как свалившемуся с неба, открыли огонь из зениток – прямой наводкой.

Автоматные пули недолго «пиукали» по батареям, двух ранило, одного убило... Немцы свернули в сторону и рассеялись в тумане.

Еще свистели пули: «пиу-пиу». Еще хрипло кричал слова команды флегматик, вовремя преобразившийся в неврастеника, и номерные весело переговаривались, утирая пот:

- Грамматика, говоришь, боя, язык, говоришь, батарей?
- Погибоши, как они говорят, ни за чтоши.
- А человек знай себе играет в ящик.
- Тютюн тебе на язык..
- Давай, не откажусь!

Еще маячили вдали фигурки немецких солдат, приближенно-лохматые в тумане, стереоскопические – когда несколько краснощеких флегматиков, на ходу стреляя из автоматов, бросились вслед за ними, а с ними Дмитрий и Саша. Сеня подтаскивал снаряды, а лейтенант кричал:

- Языка мне хоть одного.

Дмитрий, оглянувшись, увидел его счастливое медное лицо. Видно, что для него бой был как «была – не была» вдохновения, когда каждая упущенная минута по-суворовски смерти подобна.

Из лесу затрещало, полоснуло пулеметными очередями.

- Мы пропали, – крикнул Саша. А Дмитрию показалось – Игорек, и он сказал:
- Со мной не пропадешь.

Они залегли, как все, потом снова побежали, как все, наугад стреляя из пистолетов. В бою солдат не чувствует своего тела, словно он уже в полете... на тот свет. А если нет, и доведется солдату уцелеть и вдруг снова почувствовать тяжесть тела, как жизни, и устало брести по борозде утихшего сражения, роняя пот или кровь, – все равно, это был полет его души, счастье и ужас боя.

Дмитрию все казалось, что лес далеко, но когда упал, зацепившись за накрытый сугробом вывернутый пень, увидел высокие сосны совсем рядом, будто над самой головой стояли они как предупреждение, чтобы не шел дальше. И пень не пускал. И самому не хотелось вставать. Полежать бы, отдохнуть, хотя бы отдышаться. И вдруг понял, что – один. Все убежали вперед. Потому что он бежал не как все, а по-блокадному: шел. Но где же Саша? Вместе же «бежали». Позвал, приподнимаясь на локтях:

- Саша! – даже не слишком громко, уверенный, что он где-то близко.

...Но Саша был далеко. Дмитрий увидел его, идущего почему-то в сторону от леса. Пиушные пули пролетали над головой, как поверх сознания. Он звал Сашу и шел к нему, и видел, как он упал. И снова заполосовали чеканные пулеметные строфы, густые, способные, кажется, пришить к земле каждую снежинку... Поваленный на снег страхом, полз, утешаясь выгодностью, при современной технике, такого старинного способа передвижения: будто идешь все же по земле, руками и ногами вместе. И пулям тебя не так заметно. Но, забывая о них, несколько раз приподнимался: там ли еще Саша? Там. Убит? Тогда это не только конец кампании блокады, но и компании Общежитки. Саша... И вот он лежит перед ним, уже полузанесенный снегом, скорчившись. Оборванный. Жалкий. Маленький. Как младший брат. Как старший друг. Родной.

– Саша! – звал Дмитрий и тормозил его за плечи. Но он лежал неподвижно, строго и плотно сомкнув сухие, как прошлогодние листья, веки. Саша! Саша не шевельнулся и тогда, когда в едином порыве огня и металла толчками вздрогнула земля от новых залпов. Это уже били крепостные орудия городского кольца. Видно, бой продолжался, но где-то дальше, будто в другой плоскости фронта. А здесь все тихо. Тишина местного значения.

Едва слышно, но билось еще Сашино сердце. Дмитрий взвалил чуть теплого друга на плечи. И откуда взялись силы? Не сегодня ли утром вчетвером поднимали бревна-коротышки?.. На шее от напряжения забил неровный пульс. И с ним в унисон, с редкими переборами билось Сашино сердце. И слабое его биение сообщало упорный ритм шагам... всего лишь нескольким шагам: ноги подогнулись, и Дмитрий мягко и косо упал в сугроб.

Нашел их сам лейтенант, пошедший навстречу своим краснощеим.

Языка они достали, но он по дороге «скапутился». Пришлось бросить. А Саша давно пришел в себя и молча морщился от боли. Его понесли на батарею двое бойцов, маленького – взяли подмышки. Пороховой дым, смешанный с туманом, висел над Битым полем. Дым быстро рассеялся, а туман остался. И настоящим героем дня был признан Дмитрий.

– Ну, уж и герой, – отказывался он, – я даже не думал, что делаю, и как нужно поступить: само-собойное геройство не в счет.

– Думают не только в бою, но и перед, и после, – дидактическим басом возразил лейтенант, а Дмитрий подумал: «Он прав: думать надо перед боем – о том, как поступить в бою, и не только думать-мечтать, готовиться к этому всю свою юность. Но я прополз под огнем сколько-то метров, а как же солдат, который пройдет под пулями всю войну напролет? Какой славой его венчать? А этих – какой славой и кто будет венчать?»

Две машины с эвакуированными из города прошли мимо батареи, не останавливаясь. Впрочем, «этих» – значит, и нас, господ неврастеников из Общежитки.

О Сашиной ране – в левое бедро – не стоит и говорить: «чикающее» пулевое случайное ранение, – презрительно определил Дмитрий.

– И кой черт дернул тебя туда переться?

Саша отмалчивался недолго, признался:

– Погнался за зайцем.

– За зайцем! – передразнил Дмитрий.

– Прошу не смеяться: погнался всерьез... Серенький такой, вроде нашего котенка съеденного... Я думал, что он тоже, как мы, грешные, дистрофик, а оказался прыткий. И хитрющий, стервец: подпустит меня на метр – и ходу... Потом вижу – какие-то привидения бегут на меня, орут и стреляют. И я себе ору и стреляю. И чикнуло меня куда-то. Упал, и впал вроде в небытие. Но, благодаря чуткому провиденциальному руководству товарища Алкашко, – в неубитие.

– Что ты плетешь, идиот?

– Да, тип Достоевского. И за что ты меня ругаешь? Я же не виноват, что все так глупо благополучно получилось. Ни тебе героизма не дают проявить, ни аванса на по-любойную смерть... Но мы имеем право теперь переименовать Битое поле в поле Битых, особенно, благодаря мне, немцев.

– Я подам рапорт о зачислении вас всех номерными, – пообещал лейтенант, потому что Сеня Доденко тоже отличился: чуть не на лету хватал отстрелянные гильзы и кричал: «Вдарь, милая, вдарь еще!» Он скромно признался:

– Устал, братцы. Работенка была горячая. Гильзы-то, конечно, интересно, как они еще на лету тускнеют, но самое главное – подтаскивать снаряды тяжело...

– Ну, марш все по домам, приказал лейтенант, и Сеня с Дмитрием послушно повели Сашу: «Куда вы меня ведете? В так называемое домой? В это чертово избушечное домой? Я буду упираться».

Не успели отойти и нескольких шагов, как два снаряда разорвались поблизости, и послышался бас лейтенанта:

– Вот, теперь эти привидения нас засекли... Первое орудие к бою! Прицел ПО! Второе орудие к бою! – и вслед за ним забасили орудия. И вздрагивали их высоко поднятые воронье стволы, как оглобли – с впряженным в них конем-огнем, а колесница – батарейский клочек земли, у которой не надо спрашивать, куда она мчится: ее дело стоять насмерть.

Батарея Тарасконенко стала будто пунктом артиллерийского помешательства с обеих сторон.

Орудия бухали согласно, и согласно хлопцы орудовали около них с неистовством и азартом, раскаляющим жерла докрасна.

Лейтенант стоял у орудия – красавец-кучер Огненной колесницы, махал «номерным» рукой, кричал: – До завтра!..

А снаряд разорвался как раз между орудиями. Лейтенант покачнулся, упал... Нет, это был не тот момент, когда смерть подавляет страхом: ярость и боль – вот что толкнуло всех назад к упавшему лейтенанту, навстречу новым разрывам.

Но не такой был командир батареи Тарасконенко, чтобы пасть от одного удара. Он встал, слепым и точным движением вынул пистолет из кобуры и пошел, с глазами, залитыми кровью, к лесу, навстречу снегошвыряющим разрывам. И надо было прошипеть, опалить огнем воздух и снег, и разорваться вблизи еще одному снаряду – в двух шагах от лейтенанта, чтобы сгорела его марциальная жизнь. Но он еще, прежде чем упасть, сделал рывок огромными руками снизу вверх, будто хотел задержать чашу опускающегося солнца, как чашу жизни, но солнце уже ломало синюю горизонт-ную кромку, чтобы кануть в пучине бескрайнего леса, угаснуть.

В эту ночь ни на окопах, ни на батарее никто не спал. Не потому, что всю ночь били орудия, а потому что погиб лейтенант. И луна взошла такая желтая – страшно было на нее смотреть, – как воспаленный, налитый гноем глаз чудовища. Или луна – это ночное око вечности?

...Глаз или око, она светила так ярко, что Игорек, ехавший в это время по Ладожской трассе на Большую землю, мог читать почти на каждом километре на алых щитах: «Водитель, сделал ли ты сегодня два рейса?»

...Окрыленные хлопающим брезентом, под штормовым ветром шли машины.

Если бы не было льда – поднимались бы морские валы. Недаром Ладогу не любят рыбаки – капризное и коварное озеро со всем морскими замашками. Но если бы не было льда – не было бы и Ладожской трассы, спасающей тысячи, сотни тысяч самых невероятных земных... нет – ледяных жизней века.

Езжай, Игорек, будь жив!

Воспитание, образование, даже слава – все это прикладные к жизни «искусства». Самое красивое – это счастье, и главное счастье – жизнь, и совсем невероятное счастье – выжить в блокаде.

Скоро потеплеет, лед растает, утонет, как призрак, в тумане весны и эта градо-китежная дорога. И там, на дне озера, будут ли слышны хриплые, задушевно-ругательские окрики шоферов, лязг цепей на колесах, и нет-нет, да и не мелькнет ли из-под заломленной ветром полы палатки вопрошающий огонек: «Водитель, сделал ли ты сегодня два рейса?» Водитель! Может, ты сделал один рейс – на тот свет, а может, едешь еще на этом. Ты возил хлеб голодным и голодных к хлебу. На твоём пути, как слаломные вехи, глядели снарядные пробоины во льду. Но ты не ронял в эти проклятые дыры ни хлеб, ни людей, не ронял своего шоферского достоинства. Через тысячи верст и дней разреши мне пожать твою верную и добрую руку.

Природа выше войны. Лед Ладоги растает. Но и через сто лет она будет также замерзать, и будет мести поземка. Но пусть не будет войны, не будет Ледового Невского проспекта, а будет сиять вечным немеркнущим светом шпиль Адмиралтейства, как и весь под ним – настоящий, петровский...

36. Невский проспект

С какой песенной легкостью перемещаются люди в войну: нынче здесь – завтра там... Дмитрий идет по Невскому, и будто вместе с ним с окопов переместился оружейный гром, и одиночество – самое страшное после голода. И как это не рвутся связующие нити между властью и людьми, когда рушатся дома, выгорают дотла кварталы, и в одном городе ежедневно умирают целые провинциальные города.

Приехал на окопы новый начальник сотни, вместо прежнего (конечно, умершего), и привез Половскому и Рудину повестку из военкомата: явиться немедленно.

Повестка была напечатана чуть ли не на гербовой бумаге, четким и жирным шрифтом. «Какая-то пишущая машинка еще думает о нас», – сказал Саша и мирно полез в машину, привезшую сотника. За ним – Сеня. Дмитрий даже не махнул рукой им на прощанье, отвернулся зло, будто они были виноваты в том, что какая-то пишущая машинка...

Басу пришло назначение на Волховский фронт военным корреспондентом в армейскую газету – ищи-свищи его теперь. Алкаеву же – ничего, будто он и не существует для далекой и непонятной власти. Чубуку – тоже ничего. Но ему ничего и не нужно. Приехал и новый командир батареи – неприветливый, злой, ворчливый.

Так Дмитрий остался один и понял, что одиночество – это голод души. И не долго его выдерживал: никого не спросясь, уехал с попутной машиной.

– Куда? – уже на ходу спросил шофер.

– Мне бы на Невский.

– Все бы хотели на Невский. А на Литейный не хошь? Садись, там видно будет.

Приехав на Невский, Дмитрий не поверил глазам: не узнать нельзя, и узнать трудно.

В грандиозном одиночестве города, оторванного ото всего мира, не звенит ли – да еще на таком морозе – одиночество монумента, вековое и бессмертное? Одинок и Невский проспект, потому что он по-прежнему величественен и строг, не похожий ни на какую другую улицу. Даже его развалины, если их можно сравнивать, кажутся куда красивей, чем на других проспектах.

Дмитрий заходит в улицы и переулки – ответвления от Невского, и не поймет – метель ему кружит голову – да что голову, кажется – само сердце кружится, или вековой и прекрасный дурман проспекта, воспетого поэтами.

В столицах каждая улица имеет свое звучание. Над Невским будто немолчно, басовито и нежно звучала струна, натянутая, как на колышках, между шпилем Адмиралтейства и башенкой Московского вокзала. Теперь эта струна оборвана: несколько домов разбито.

В зеркальной, пополам с досками, витрине Елисейского магазина – конечно, ничего съестного: плакаты, транспаранты, лозунги, сводки Совинформбюро да полосы газеты «Ленинградская правда». В сводках все то же. На фронтах не произошло ничего существенного, если не считать подвига летчика Иванова, сбившего три вражеских самолета за один вылет. Если не считать... Поди-ка – вылети. Да сбей. Да сам не сбейся. Тогда посчитаешь.

Один плакат привлекает внимание всех: жирная свинья со злобными маленькими глазами, уперлась пяточком в Нарвские ворота. Пяточок проколот штыками, каплет кровь: «Врагу ворот». Привлекательный плакат, свежий, а враг уже давно у ворот. Пора бы и от ворот поворот. Апокалиптяне говорят – будто каждый сам с собой: заплетающимся языком, как пьяные. Но легко понимают друг друга, не переспрашивают. Продлись блокада десятилетие – выработался бы полуживотный язык, стали понимать бы с полуслова и полувздоха, и полувзгляда. Бледных чистых лиц мало. Больше грязных. У одних они будто вырезаны из черного дерева, у других – из пробкового, у третьих как вылепленные из теста. Плакат никому не нравится:

– Свинья-то слишком жирная, ее надолго хватит.

- Нам бы такую.
- А ворота перед ней слишком малы.
- И покосились что-то подозрительно.
- Прошибил маленько художник.
- Не посадили бы сердешного.
- Зачем сажать, и так умрет...

Газета вышла снова на четырех полосах: бумажный голод кончился раньше хлебного. Бумага идет в хлеб вместе с опилками. Хлеб теперь почти белый, но им никогда не насытишься... Газета с трудом вмещает радостно – не совсем правдивые, совсем неправдивые, хвастливые, скромные, волнующие статьи и очерки о победах на Волховском фронте. Заголовки начинаются с взрывных согласных: «Прямой наводкой», «Порыв», «Порыв». Порыв – да, но не прорыв. Лишь крепкие и верные удары по железо-ледяному заслону, который рухнет только через два года.

Из дружного хора бодрых статей выпадает очерк, подписанный М. Жиловым: «Невский проспект». Дмитрий прочел его, не отрываясь, улыбаясь знакомому имени. Вот он, этот очерк с эпиграфом:

«Нет ничего лучше Невского проспекта»... «О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы». Гоголь, «Невский проспект».

«И правда, Невский проспект – нет ничего лучше тебя в этом городе! Да только ли в этом! Сколько эпох пережил ты, сколько царей проехало по тебе в золоченых каретах. И первый проехал Петр, который любил тебя, кажется, больше всего на свете и ревностно следил, чтоб ты был всегда чист и наряден по положенной субординации. Это он приказал драть плетью какого-то извозчика за то, что его лошадь осмелилась «наследить» на Невской перспективе. И об этом было напечатано в «Санкт-Петербургских ведомостях» на видном месте. Петр Первый был также и первым русским журналистом: не раз поначалу, битый шведами, врал большими буквами, что бьет их.

После революции в царском автомобиле ездил Александр Блок – король поэтов, чей-то заместитель в комиссариате народного образования, не знавший себе заместителя в поэзии всего двадцатого века – забежим на полвека вперед, не ошибемся.

А теперь по Невскому ездят, будто сами собой, улиточно медленные саночки с трупами... .

Когда-то весь проспект был вымощен торцовыми «шашками», потом его залили асфальтом, а шашками топили ароматные асфальтовые котлы.

Когда-то вдоль Большого Гостиного двора зеленели кудрявые подстриженные деревья, а теперь от них не осталось и следа: еще до войны почему-то выкорчевали.

Когда-то... это было совсем недавно... Невский проспект сверкал драгоценным ожерельем на груди города от Адмиралтейства к Московскому вокзалу, и дальше – но там уже Старый Невский, Александр-Невская Лавра.

А теперь тянутся саночки – утлые ладьи на тот свет.

У меня тяжело на душе, а в желудке пусто, но я могу подолгу простаивать около каждого твоего дома, Невский, любясь колоннами, ажурным обрамлением окон, узорными чугунными оградами и массивными, высокими, с наледными орнаментами, дверьми.

*«Я люблю высокие дома,
Тем больше, чем они выше», —*

писал Валерий Брюсов. Ему нужно было ехать в Америку. А я люблю всякие дома в этом городе, но особенно – статные и плечистые, братски прильнувшие друг к другу в едином

стройном ансамбле, дома Невского проспекта. Создания человеческих рук, они живут одною с нами жизнью. Надвинув железные козырьки крыш на высокие каменные лбы, они понимающе смотрят вдаль выбитыми стеклами, и в них – отчаяние и тоска. Такая человеческая, петербургская тоска. Дома так же стареют, как люди, сторают мгновенно, как жизнь многих в молодости, падают и рушатся, сраженные снарядом или таким тяжелым и неотвратимым ударом судьбы, как фугасная бомба.

Невский! Я брожу под твоими священными стенами – и не нахожу больше многих моих старых знакомых – твоих домов. Перед их труппами-развалинами я снимаю свою шапку, прожженную угольками пуль. Они пали смертью героев, и я, поскольку я еще жив, должен рассказать людям Большой земли об этом. Пусть они знают, что в этом городе равно героически умирают и дома, и люди. С такой тяжелой, как кирпич на сердце, болью переживаю я гибель твоих домов, осиянный пожарами Невский...

Вот расколотый на две почти равные части дом накренился, словно упал на колени, но не рухнул совсем. Рядом прямо и гордо стоит дом, пробитый бомбой насквозь, сверху донизу. Как организм животного в разрезе, он обнажил напоказ утробу своих комнат-клеток. Кажется ему до сих пор больно. Больно и мне.

Перешагивая через трупы с почерневшими, обуглившимися на огне мороза, как головешки, головами, вижу чудо уделения: краса и гордость Невского – Казанский собор – стоит без единой царапины. В углах высокого гранитного фундамента – амбразуры пулеметных гнезд. Казанский собор готов ко всему. Ему уже, как и всему городу, ничего не страшно. На широкой паперти сидит женщина, еще живая. Ей уже тоже ничего не страшно: если заглянуть в ее глаза – определенно увидишь смерть. Но зачем лишний раз заглядывать в глаза смерти, когда она и так на каждом шагу. У женщины тонкое, истонченное лицо с бронзовым голодным загаром. На ресницах застыли слезы, и это плохой знак: она уже не может и не хочет бороться со смертью.

Около Невской башни недавно упала бомба, воронка еще чернеет, не занесенная снегом, коричневая кирпичная пыль кругом на снегу. Стены башни испещрены глубокими бороздами, царапинками и ссадинами осколков. Знаменитые часы с курантами не бьют больше, и циферблат вылетел. На его месте зияет дыра – как глаз Циклопа, до краев наполненный вечностью и вечной мукой.

Напротив Дома книги, через канал Грибоедова (бывший Екатерининский), отбита половина голубого дома. В уцелевшем подъезде открыта булочная, знаменитая тем, что около нее всегда толпится очередь «живущих завтрашним днем», как говорят о тех, кто отстаивает долгие часы и свое бесспорное и сомнительное право на завтрашнюю пайку хлеба. Бесспорное право потому, что завтра они эту пайку все равно получают, а сомнительное – потому что могут и не дать: запрещено отпускать хлеб и на один день вперед.

А коней Клодта нет на Аничковом мосту. Увели их, или сами сбежали? Без них и мост – не мост, а простой кусок улицы.

И опять это «когда-то»: 4 июля 1812 г. Александр Первый писал Салтыкову:

«Нужно вывезти из Петербурга: Совет, Сенат, Синод... лучшие картины Эрмитажа, также и камни разные... обе статуи Петра Первого, большую и ту, которая перед Михайловским замком, снять и увезти на судах, как драгоценности, с которыми не хочется расстаться».

Те же заботы, что и царя Александра Первого, волновали ленинградцев в начале блокады, да волнуют и теперь, когда со многими и со многим уже пришлось расстаться.

И только надежда не покидает нас, и мы с ней не расстаемся.

Из ниши выходящего на Невский портала Аничкова дворца упал, как труп, лицом на мостовую бронзовый рыцарь со всеми своими доспехами и вооружением, непригодными для этой цивилизованной войны. Его не убирают, хотя он мешает движению. Движение, правда, небольшое. Давно прошел по Невскому последний трамвай и застрял на повороте к Вокзальной площади, там, где когда-то стоял тяжелый памятник богатырскому императору Александру

Третьему. Этот памятник, как немногие другие, пострадал еще до войны: сняли его, и уволокли во двор Русского музея, и там бросили.

Кафе «Квссисана» закрыто – под обгоревшей вывеской с золотыми буквами узкого латинского курсива режет глаз ломаная линия выбитых стекол.

«Пассаж» будто щеголяет тем, что целиком счастливо уцелел. Иногда он выставляет на прилавках питательный зубной порошок и папиросы дорогих сортов. Лучший из магазинов имеет даже дворника, который иногда даже подметает и по мирному ворчит на прохожих и проезжие в саночках трупы.

Театр Радлова – один из самых героических. Еще висят афиши: «Под липами Берлина», «Фельдмаршал Кутузов».

Театр Комедии – кажется, единственный в городе, еще открытый. В вестибюле Елисеевского магазина, у входа в театр радуется глаз свежая афиша: «Бравый солдат Швейк».

Афиша свежая, но пьеса идет с начала войны. И то хлеб.

Елисеевский магазин – как и до войны, как, вспоминается, еще до революции – самая яркая и оживленная точка Невского проспекта. В нем нет ничего съестного – но вот толпятся здесь бородатые, безумноглазые, прямо с лицами святых, самые дорогие люди Отечества.

Что же приводит их сюда?

Может быть, воздух богатейшего магазина насыщен дымчатыми ароматами вкусных продуктов... Воздух – как дух сытости? Но не только это: информация – вот что тоже питает людей в войну. Надежда бодрых, и радостных, и кричащих – да, пусть кричащих – заголовков военных телеграмм, сводок и очерков нашего брата – военного корреспондента...

Укутанные в платки и одеяла женщины ходят от «Елисея» к Гостиному двору на улице Третьего июля, разбитому во многих местах, от него – к Большому Гостиному двору и обратно. Большой Гостиный сгорел, но под стрельчатой анфиладой и колоннадой уцелели, облизанные языками пламени, вкусные довоенные рекламы, всякие пирожки с краснощекими молодцами. Смотреть на них, откровенно говоря, тошно: что-то ехидное и насмешливое.

Памятник Екатерине Второй, ничем не прикрытый, висится над сугробами. Кажется, что окружающие ее сподвижники наклонились от нее в разные стороны, чтобы бежать от своей патронессы и от всего этого запустения. Но куда же убежишь: блокада.

За спиной убеленной снегом бронзовой царицы белеет колоннами желтый Академический театр драмы им. Пушкина, в просторечии – Александринка. Конечно, он давно закрыт: драм и без него хватает. Одной такой драмы как блокада – в порядочную средневековую эпоху хватило бы на века, а в нашу – хватит до конца мира, но конца, кажется, не видно. Автор – оптимист.

Как придаток к театру – тихая, и раньше, кажется, нежилая, маленькая улица Зодчего Росси. Я вспоминаю стихи моей хорошей приятельницы, талантливой поэтессы⁴:

*Наша встреча была короче
Шага, мига, дыханья, глотка...
Почему, уважаемый зодчий,
Ваша улица так коротка?*

Теперь эта сплошь колоннадная улочка стала еще короче: бомбой отбито несколько белых колонн с желтыми (под цвет театра) простенками. Куски колонн валяются, похожие на завернутые в белое трупы. Московский вокзал – еще одно чудо уделения. С игрушечно облеченнейшей, как сахарная голова, башенкой – часы на ней уцелели, только время остановилось в них – стоит, как надежда: часы пойдут, и поезда пойдут на Москву, «как часы». На Москву

⁴ Елена Рывина.

– как на Россию. И снова я вспоминаю Гоголя: «Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия»... Ох, как нужна. Но не те времена, уважаемый зодчий русской литературы, и нынешняя блокадная Северная Пальмира с ее громадно остановившейся жизнью – не так же ли нужна для России – как величайший в веках пример сверхчеловеческого мужества и народного, несмотря ни на что, благородства?

Осажденные по-прежнему любят Невский проспект. Любят жить на нем жалко яркими, витринными отблесками прошлого, любят, кажется, и умереть, пройдясь последний раз в жизни под его стенами. Трупов на Невском – как ни на одной другой улице... А еще любят возить друг друга по Невскому на саночках.

А по вечерам, холодным вечерам, здесь можно встретить красивейших – одухотворенной голодной красотой – женщин, бледных с прекрасно безумными глазами. Это женщины новой, неумиряющей России.

Гоголевский художник Пискарев из «Невского проспекта», на нашем Невском не нашел бы своего «предмета» – предлога к самоубийству. Но от голода умереть мог бы скорее других.

Солнце всходит и заходит над Невским проспектом. Как огненная циркулярная пила разрезает оно страшное, покрытое струпами трупов тело времени на одинаковые, обледенелые бревна дней блокады.

Подобно Колизею, вбивавшему в себя мировую имперскую славу Рима, Невский проспект – отражение роскоши подвига и величия мук Блокады. Над ним свистят снаряды, разрывая на куски его красивое и неприступное тело, но он высоко держит свою голову – башню Адмиралтейства с несгибаемым золотым шпилем. Он ждет. Придет весна освобождения. Жди, Невский! Придет твой час.

Придут новые люди, и осыплют твои тротуары цветами, и подарят тебе новые дома – как игрушки знаменитому старику, впавшему в детство, и они будут еще прекрасней, хотя прекрасней, кажется, и быть не может, чем те, упавшие теперь на колени или рухнувшие совсем. За новые твои дома, Невский! За новую в них жизнь!..

Эта война разрушает дома, но не разрушает надежды отстроить их снова. Пусть же эта проклятая война уничтожит и самую зародышевую возможность новых войн.

Вдруг мощный и звонкий гул оглушает меня. Колышется озвученный воздух, и вздымается моя грудь. Что это? Над Невской башней – блоковская тишина. Не скоро бить ее курантам... Я вижу: это рабочий забивает молотом костыли в расчищенные в снегу шпалы трамвайных рельс. Он даже пытается размахнуться – красиво, по-молотобойному... Но молот, не донесенный до зенита, падает из рук, падает и рабочий. Поднимается, берет молот в середине рукоятки, поднимает на четверть размаха. Но и так ему не под силу. И он прижимает молот к груди и вместе с ним, грудью падает на рельсу. Да попадает не по костылю, а по рельсе. Ничего, бей, бей по рельсе, дружище! Это гонг весны.

Воет артиллерийская тревога, не знаю, которая за сегодняшний день: начинается обстрел района Невского проспекта. Но люди идут, не обращая на тревогу никакого внимания. За долгие месяцы блокады давно уже выяснилось, что лучше быть убитым, чем умереть от голода или замерзнуть. Никто никого не старается обогнать. Все идут своей мерной дистрофической походкой. Всего лишь за несколько дней эту походку усвоил и я. Усвоишь, когда есть нечего. У меня как-то по-снежиночному кружится голова, и мне кажется, что я без конца хожу по Невскому из конца в конец, поэтому мое описание, верно, лишено последовательности. И я уже не разбираюсь – после стольких-то месяцев фронта – что страшно, что нет: спокойно, как все, иду под шипением снарядов. А вот если тошнотворный молодец сойдет с обледенелой фанеры, из-под сводов Гостиного двора – и протянет мне теплый пирожок, обязательно с мясом, – это и будет самое страшное, и в пору мне будет протягивать ноги: тихое голодное помешательство. А снаряды пусть себе свистят. Будто и воздушная тревога взвилась тонкой плеткой: пока не

страшная, пробная. Давно не бомбили. Тревога эта – тоже как глас весны: начинается летная погода. Для снарядов она всегда летная.

Иду, осторожно переступая через трупы. Как говорят: главное в профессии дистрофика – не упасть. Если я упаду – у меня не хватит сил, чтобы подняться, а пока кто-нибудь протянет руку – зачоченеешь на этом пронзительном, как крик о помощи, ветру. И тогда через меня так же равнодушно перешагнут тысячи людей, как я сейчас перешагиваю через сотни трупов.

Неожиданно меня поражает арифметика простых чисел... Быть может, я уже тоже немножко героически помешанный, но это не важно, даже это хорошо, и я кричу громко, чтобы меня слышал весь Невский проспект с бредущими по нему людьми, сделанными из бессмертного материала:

– Мы непобедимы! Обратите только внимание на эту детскую арифметику: живых – больше, чем мертвых: ведь тысячи ленинградцев перешагивают через сотни трупов, а не тысячи трупов не дают проходу сотням живых. Держитесь крепче!..

Но все-таки как много трупов... Вот почему, когда я иду по Невскому, я тоже стараюсь поднять выше воротник моей шинели, чтобы не смотреть на встречающиеся предметы.

Михаил Жиллов».

37. Один

Все-таки самое неутомимое в голодном человеке – сердце: стучит потихоньку. Как часовой механизм с двумя стрелками: стрелкой пульса, вроде секундной, и стрелкой жизни: когда она дойдет до конца – сердце можно выбросить. Будет и так: дожил до ста лет – пожалте на операцию перемены сердца: вставляется бычачье. Если неудача – не обессудь. Вот, не доходя нескольких разбитых домов до института, Дмитрий споткнулся о труп и упал с ним рядом. И сколько ни опирался о него, как о закоченевшее бревно, – никак не мог встать. А сердце стучит: вставай да вставай, будто его не касается, что сил нет. И никого вокруг: поздний вечер. И ветер... Хотел кричать тем тихим, но тьму раздирающим, будто светящимся воплем упавшего голодного, от которого у самого же стынет кровь, но только снежинки залетели в рот, а вопль не вылетел. Попробовал отползти от трупа, чтобы не набраться от него смерти, – и наткнулся на другой, параллельный. Подумал: «так и заблудиться можно среди трупов – параллельных и перпендикулярных. Таким манером и замерзает наш брат-апокалиптянин. Хотя и к весне, а градусов тридцать с минусом... Нет, я ошибаюсь. Теплеет. Теплеет чуть не с каждой минутой. Что ж... замерзаю?..»

Но судьба услышала его неслышимый крик о помощи, протянула руку, черную и дрожащую. Никогда в жизни он не видел руки такой тонкой и сильной линии.

– Ну, вставай же, – сказала Судьба, – а то мне некогда. Опирайся на меня.

Когда он встал, она похлопала его по плечу и пошла своей дорогой, как всегда – куда ей, Судьбе, вздумается. Но, пройдя несколько шагов, она вернулась, эта маленькая и сильная девушка.

– Спасать так спасать, – сказала она виновато-грубовато. – Еще не дойдешь сам. Куда тебе?

– В Герценовский.

– А я сама герценовка. Вот здоровое совпадение!.. Да знаешь ли ты, что наш институт эвакуируется? Уже дней десять, как ушел первый транспорт, потом второй, ждем третьего.

...Институт был почти пуст. Дмитрий поселился один в комнате, в хаосе разбросанных, оставшихся после уехавших, вещей. Комната была холодная, чистая и светлая – хотя половина огромных окон зафанерены, и оттого казалось еще холодней. А вещи были всякие – старые фотоаппараты, драные штаны и книги, книги. Мало в войну возят с собой книг – тяжело расставаться, но приходится.

Девушка принесла одеяла, навалила толстым слоистым пластом, укутала и ушла:

– Обязательно приду проведать завтра. Если бы точно знать, когда отправится следующий транспорт...

Не знал этого и директор. Не успел Дмитрий выспаться, как он пришел, помолодевший и веселый – полковой комиссар, а не какой-нибудь бывший японский шпион. Девушка нашла его и прислала. Только шинель на нем вся как-то пузырилась, да выражение глаз было узко штатское: «Зачем мне все это надо? Конечно, война – не то, что какой-то раскол на большевиков и меньшевиков, но при желании, подкреплённом директивой сверху, причинную связь можно найти».

– Совершенно не понимаю, зачем меня прислали с фронта в Ленинград, – признался он. – Эвакуировать студентов. Но каких, хотел бы я знать... Только вы да я – и обчелся. Откуда хоть вы взяли на мою радость?

– Прямым сообщением с окопов. Смылся без спросу. Не нагорит?

– Да что вы. Вы же теперь тут все герои... И правда... Я жму вашу руку. Поздравляю... Было когда-то в нашем институте 400 студентов, а в войну стало 100, а теперь остался один.

– Нет, я уверен, что Бас, Половский, Рудин – живы, – возразил Дмитрий, но директор замахал руками:

– Да я не хороню никого, но – налицо-то вы один, не спорьте.

– А Васю Чубука жаль. И Сару Переляк.

– Это который, я что-то не помню – Чубуков?

– Ну, который – Чу-чу-буков.

– А-а. Вспоминаю. Дисциплинированный такой, славный. Сара... Ее я никогда не забуду... Да, разгромила война наш институт. Ну, к делу: я пришлю вам справку, что вы студент последнего курса – это очень важно, скорее уедете. И завтра же сходите к институтскому врачу, он тоже даст вам справку, что по состоянию здоровья нуждаетесь в эвакуации. Глупо, конечно: кто не нуждается? Лишняя волокита, как во всем и везде.

– Это для проформы, так скажем? Что ж, схожу.

– Лучше так не скажем, потому что это неграмотно. «Про» – это и есть «для». Это вредительство, что у нас совсем не преподают древние языки. Но мне вас уже поздно учить. Я спешу доложить по начальству, что Институт существует. До свиданья, и счастливого пути, если больше не увидимся.

Дмитрий, хоть и очень трудно было встать с постели, послушался, сходил к врачу.

– Юноша бледный, – сказал землисто-бледный врач, зная, с кем имеет дело, – с литфак-ковцем.

– Со взором давно не горящим, – продолжал Дмитрий, но врач перебил:

– И так далее, не в этом дело, а в том, что вы имеете шанс уехать, выжить. Я вам гарантирую две-три недели жизни. Себе тоже.

А транспорт идет на днях. Мы должны успеть. Не валяйтесь в койке целыми днями. Старайтесь ходить. И помните, осталось немного.

Дмитрий так и не понял, чего осталось немного: жить или ждать транспорта. Жить – немного. Еле добрался до своей комнаты. Облокотился на этажерку и чуть не упал: рассыпалась. Это мыши постарались – выгрызли весь клей из шипов. Лег, по привычке глазами в потолок. И увидел в нем дыру, голубую от неба, и потянулся к ней руками, и как-то неожиданно вышел на простор, в нежно-бурую степь. И откуда-то взялась вытянутая, как шея жирафа, Эйфелева башня, знакомо удивляющая, будто всю жизнь, как говорится, мечтал о ней. И не знал, и заметался оттого во сне – идти ли к этой башне, или остаться здесь, в весенней степи.

– Пока вы будете здесь, – сказала ему девушка (она почему-то вдруг сменила «ты» на «вы»), – я буду приносить вам еду. Давайте карточки. Сегодня объявлено мясо на талон «Б». И хлеб ваш выкуплю.

Он глядел на нее молча, непонимающе, и она поняла это по-своему:

– Вот, какая я дура. Забыла сказать, что я принесу вам продукты на свою карточку, а потом из вашей вырежем талоны.

– Вырежем тебе стоимость, идет, – весело согласился он, и тут же пожалел, как только она ушла: подумает, не доверяет. «И откуда у нее берутся силы? Чем она жива? – думал он. – Духом русских женщин, воспетых Некрасовым, да и всей русской литературой?.. Вот, когда начинаешь понимать спасительницу – любовь к жизни, к женщине, к семье, родному дому и друзьям... Тоня... Если бы она знала, как я виноват перед ней... Да и так ли уж виноват?.. Помирились ли сестры?»

Под успокоительный свист снарядов то засыпал, то, просыпаясь, упорно смотрел в потолок, и снова удавались голубые промоины неба в потолке; мечтал о стуке колес, как копыт, по степи – по дороге к дому. Или прислушивался, не идет ли девушка... Какая чистая сила в ней. Теперь уже никто не говорит, а ведь нечистая сила – разве не противоположность чистой? А все эти походы – больше голодные похождения – за капустой, конфетами или олифой, – не столько, может быть, было добыто, чем истрачено: не только энергии, но и чистых и честных

сил души, самой совести?.. Но – не до духовного жиру, быть бы телесно живу. Шекспир прав: «Надо греть обе руки в пламени жизни» – пожар ли это войны, буржуйка могильщиков на Волковой кладбище или неразговорчивый язычок копилки... Но самое удивительное как он еще может мыслить. Как организм еще не сожрал ненужный ему больше мозг с его пресловутым серым веществом. Может быть, чем больше этого серого вещества, тем серее жизнь?..

По выжженной голодом пустыне воспаленного мозга еще текут ручейки сознания, питают серое вещество. И в сером его тумане все чаще экранно вспыхивает кратчайшее слово: конец... Но кто-то будто стоит у него над головой неотделимо и говорит: нет. И он видит уже пролом в стене, почти рядом с кроватью – можно высунуться головой, вылететь душой. Из голубого, с платок, шелковисто-ощутимого куска дали, или ощутимого до шелковистости, струится теплая тишина – как высшая награда. Удержать бы в глазах подольше хоть один квадратный сантиметр этого голубого видения тишины!..

Мечтал о розовой дубовой двери со знакомыми трещинками – и каждая из них вдруг оживала морщинкой простого, неповторимого, старого, вечного лица. И он отдельно мечтал о испуганно кротком:

– Кто там?

Но до этого еще надо дожить. Вот почему он просыпается каждый раз, когда на противоположной набережной Мойки звенят стекла – быть может, в доме Пушкина, и с близким, не сразу распускающимся громом рвутся снаряды. Вот почему каждый снаряд обдаёт волной потного и липкого страха.

Но он сразу упорно начинал мечтать с того места, где сон был прерван, и сон послушно тек. И пока он тек, над падающим сопротивлением тела вставало сопротивление духа, будто собранного из обрывков снов, воспоминаний, мечтаний, музыки слов, симфоний незабываемых встреч – всего того, с чем, может быть, человек уходит в смерть, устав бороться, или не сдается и побеждает.

Сопротивление духа. Но и материя – не смерть. В чем же разница? Не в том ли, что дух – это жизнь вечная, а материя – только земная, и сама по себе неспособна к движению. Материей и человеческим телом движет дух, как пар паровозом.

В длительном чередовании впечатлений и воспоминаний, одно ярче или туманней другого, перед ним прошла вся блокада. Тело вздрагивало от орудийных трясений, мозг освещался пожарами, и каждый отблеск был как предсмертный миг... Кто умирал и не умер – тот знает ослепление предсмертья. Но приходит на помощь, может быть, серое вещество души со своими неотмирающими клетками, и человек живет дальше, и вскрикивает во сне от ужаса или счастья.

... Вот вздрагивает от снарядных разрывов мост Володарского, и Саша кричит «За родину, за капусту!» Потом он несет Сашу, осторожно ступая по снегу, вдруг твердеющему под ногами. И снежная корка коричневеет в лучах солнца, разбухает рыхло – идет уже по хлебной корке! И солнце кажется круглой буханкой хлеба...

Сон редко врет человеку о нем самом. Трус и во сне не будет храбрецом, а голодный – сытым. Сколько ни ел потрескивающую под ногами хлебную корку – сытым не был. И будто кто-то все время стоял над изголовьем.

Разбудили ходики. Они тикали тихонько и не торопясь, тиканьем то совсем неслышным, то ощутимым, как уколы в тело тишины. Ходики... можно многое любить и ненавидеть, но ширпо-требовские ходики нельзя не вспомнить без улыбки. Правда, они частенько ввали. Как ввали все и всё вокруг. Гирька-«лимонка» тянула вниз цепочку минут и часов, и сама была – как Время. Время остановилось в блокаде. Столетий больше не будет – после этой войны. Будут лишь годы, дни, часы: кажется сейчас все это сочтено. И одиночество, как торричеллиева пустота. Торричеллиево одиночество. Попытаемся определить, что же такое блокада? Блокада – это «недотерпеть – пропасть, перетерпеть – пропасть». Но – претерпевшие до конца спасутся.

Блокада – это ни просить, ни давать пощады.

Блокада – это тьма внешняя, удушающий свет внутренний. Почему свет? Потому что погибают беззащитные, женщины и дети, стойкие и покорные, герои мук.

Блокада – это разведенные вокруг города мосты – на Большую землю, в прошлое и в будущее. Человек – не стоит ли он всю жизнь над двумя пропастями – прошлого и будущего, а живет лишь в промежуточном сегодня? И самое страшное – если сегодня такое же, как вчера, а завтра – как сегодня.

Для немцев блокада – живая, замкнутая и ненавидимая в своей неприступной близости цель, не только военный, но и духовный тупик.

Для всего мира блокада – это обреченная отреченность от всего мира. И грозное для всего мира предупреждение: залитая кровью льдина – кусок Апокалипсиса...

Вошла девушка.

– Сегодня прибавили еще по сто граммов хлеба, о чем вчера мы не могли мечтать, потому что совсем недавно нам уже прибавляли. И какой хлебушко: белый, величайшее достижение наших алхимиков. Вот, получайте – не скупайтесь, – и она подала ему хлеб, и еще что-то положила на стол, завернутое в газету, и куль соли. – Это мясо, не пугайтесь. Я потом приду, сообщу что-нибудь.

– Вроде котлет? – спросил замирая.

– Там видно будет. И я буду приносить вам кипяток – он поднимает жизнедеятельность. У нас студенты изобрели такой бак, вроде кипятильника завода «Вулкан», знаете? Это пока вода не закипит – из крана даже не каплет.

– Изобрели вулканизированный бак?

– Что-то вроде.

Мясо – мясом, но почему бы не прочесть газету? Ах, это мясо... Его тоже надо уметь читать, красное, с синеподтеками, изборожденное причудливыми прожилками... Не стыдно ли, пережить такой голод и ни разу не попробовать сырого мяса? Съесть его для полноты воспоминаний!

... И он растерзал дрожащий кусок мяса в одну минуту, давясь сухожилиями. Несколько волокон застряли в зубах, но он легко их вытащил, потому что зубы держались так слабо, что их можно было чуть ли не раздвигать пальцами. Ел с хлебом. С солью. Наборматовались чьи-то стихи, на десерт:

*«Мы с тобою съели соли куль,
Мы с тобою знали столько пуль,
Отчего ж ты нынче позабыл,
Как со мной когда-то ел и пил?
Как в далеком, как в чужом краю,
Я рубаху отдавал свою
Чтобы мой товарищ дорогой
Не пошел дорогою другой».*

После такого роскошно-сновиденческого куса мяса впору самому стихи писать. Это первая ласточка сытости. Ласточка... Ее тоже можно съесть. С перышками. С лапками. С глазками... Как серого котенка.

Теперь можно и газету почитать. И закурить бы, да нечего. Сколько дней не курил – забыл уж. Это была московская «Правда», с перепечатанным «Невским проспектом» Жилова. «Есть ли изюминки – не знаю, – подумал, перечитывая, – а безуминки есть».

Читал и читал, вздрагивая от проносившихся по небу снарядов, будто привыкая к страху, растерянному среди руин и дней блокады... Хороша статья Алексея Толстого – одна из пер-

вых правдивых о блокаде, если не считать смелого «Невского проспекта». Писатель получил письмо от приятеля, ленинградского профессора. После «жив-здоров», «во первых строках» профессор сообщает, что лекции читает в разбитом зале, ходит пешком, потому что трамваи стоят, что иногда приносит домой сыну наполовину съеденную котлету... Вот, уж это неправда. Котлет в блокаде в пору этой статьи не было. Разве только такие были – бело-сладкие... Место газетной полосы, где на трех колонках разверстана статья, запятнано мясной кровью. Хорошая статья. Правдивая, хоть и не совсем статья. Но эти ржавые пятна крови красноречивее всего: кровь! Весь город залит кровью! Неужели огромная страна не в силах помочь своей Северной столице?

...Впал в беспамятство. Или уснул, сраженный долгожданной сытостью? Утром первым делом вспомнил: «Соликульские стихи – Виссариона Саянова». Обрадовался: память начала «работать».

Вежливо постучавшись, вошел директор, принес свою вечно виноватую (перед советской властью?) улыбку и весть о самом главном:

– Ну, поздравляю вас. Эшелон для студентов и артистов подан на Финляндский вокзал. Отправляется завтра утром, но лучше бы вы вышли сегодня вечером засветло – идти будет легче, и место займете какое получше. Я пришел попрощаться. Снежной скатертью дорожка.

– А как же вы?

– Что же я? Пока не у дел. Институт наш с вашим отъездом ликвидируется. А вы там, по дороге, держитесь крепче: едете в жизнь из смерти. Прощайте!

Медленно шел Дмитрий по городу – быть может, последний раз, и благодарил судьбу за то, что он у нее такой нищий: даже ржавокожий портфельчишко с напиханным на скорую руку бельем кажется тяжелым, хоть бросай.

...Девушка так и не пришла больше. Ухаживала за ним, спасала. А сама, наверное, умерла. Нет, ни мясом, ни хлебом теперь не спасешься. Нужна перемена блокадного климата... Вперед, к Финляндскому вокзалу! Там спасение.

За спиной пожары махали крыльями, навсегда освещая уголки памяти, ведающие последними впечатлениями – самые верные и таинственные клетки мозга и души. «Виждь и внемли, – сказал себе. – Кажется, Казанский собор двинулся за мной на полусогнутых колоннах, как гигантская сороконожка... Нет! Он не покинет Питера никогда. – Я буду помнить все. Вот пожары – они ведь бывают всякие: вихрастые и лохматые, стоячие, как омут, или столбовые, как дорога в небо, или расплесканные, как лужицы. Но я вижу зарево и другого пожара – Весны. И будто отблеск Северного сияния вижу я – как Добрую Надежду. Мыс Доброй Надежды в небе... Пусть все, что я вижу, будет беспощадно-незабываемо выжжено в памяти, и тяжелые, пухлые мои ноги пусть никогда не забудут этот путь...

Трупы всюду преграждают дорогу, не дают прохода. Ничего не остается, как перешагивать через них и считать («напоследок займемся статистикой»). Не доходя до Литейного проспекта споткнулся о свежемороженную, еще не успевшую почернеть, голову управдома Малиновского – дорогая каракулевая шапка, злобно оскаленное, бородатое лицо. Герой Гражданской войны, «герой» блокады, теперь такой сердитый покойник – не дождался ни немцев, ни своих.

И никакой ты не герой, а мелкий и страшный преступник, каких немало, и все-таки не так много, развелось на блокадной земле. Но не надо удивляться легкости, с какой совершаются преступления даже в относительно мирные наши времена: ко злу человек предуготовлен тысячелетиями глухой и темной предистории, а к добру – лишь веками все еще недоразвитой культуры.

...Равнодушно перешагнул через него, будто стал на другую сторону смерти, называемую жизнью. По другую сторону? Но смерть везде и со всех сторон: блокада смерти. Вот кто-то,

полушубочный и полуумный, опускается в сугроб. Если бы он падал – можно поднять. Но опускаются в снег не для того, чтобы вставать. Подойдите к нему – он вам скажет «ничего», но и не попытается подняться: великое многогранное русское «ничего» для него имеет только один смысл: смерть – может быть, ничто в ничем.

Грузовые машины медленно едут по обеим сторонам Невского проспекта, собирают трупы. Вспоминается Кубань и далекие трупы тридцатых годов... Трупы, сколько их не убирай, нападают снова, как плоды с древа Голода. Сколько лет прошло с тех пор... Это было детство его и страны, строящей новый мир старыми египетскими методами.

...Машины останавливаются на каждом шагу. Нередко среди звонких на морозе трупов попадаются и малые полешки – трупы детей. На набережной Фонтанки двое в форме НКВД наблюдают с интересом. Оба немолодые, сытые, щеголеватые – давно таких в городе не видели. Откуда взялись? Приперли по Ладоге? Может, на лыжах, не дожидаясь, пока проложат трассу? Спешили: кросс, слалом – сломя голову: как же, восемь месяцев город обливался кровью, голодал, вымирал и выгорал целыми кварталами – и не сдавался. Без помощи малиновых околышей. Сколько «делов» накопилось!.. Блокадный милиционер, один на весь Невский проспект, глядит на них с ненавистью. Завой сейчас тревога, и никого, кроме этих двух не будь, он назло крикнет повелительно-пискливо, будто из трещины своей служивой души: «Эй, вы, там! Рассредоточиться!» Не понять ему, что таким сейчас как раз время сосредотачиваться: пахнет победой и весной.

Кое-где еще высятся флаги после ничем не отмеченного Дня Красной армии, которую ругают все, и немцы, и свои, и это, кажется, идет ей на пользу.

С разметанной крыши многоэтажного пятилетнего дома свисает над мостовой тонкое и узкое крыло истребителя с красной звездой.

– Эх, ты, непутевый: угораздило же тебя, – говорит прохожий полушубок, и Дмитрий долго смотрит на красную звезду. Может, она тоже непутевая, а не путеводная. Но под ней он родился.

В небе почти вертикально поднимается облачко пламени. Это горящий аэростат. Пока горит – будет лететь вверх. Аэростатов по-прежнему много. Кажется, они вечно куда-то плывут, привычно разгребая шелковыми плавниками облака. Они никуда не плывут и вообще никуда не годятся, но серебристая их брюшина радует глаз, а душа вместе с ними будто плывет куда-то, за черту блокады, из смерти в жизнь, или в жизнь вечную, как сказал бы, да уже не скажет, Вася Чубук.

Тупое, кожаное лицо извозчика проплывает мимо, и добрая лошадиная морда отмахивается от снежинок, как от мух.

– Балу-уй! – сердито прикрикивает извозчик, хотя ей, видно, давно уже не до баловства: еле волочит нога, тяжело вздымая бока с ребрами нараспор.

Апокалиптяне – высшая порода людей, они не любопытны. Но это же лошадь, живая и сказочно сивая! Каждому хочется потрогать ее ребра, проступающие, как обручи на бочке... Люди смотрят на лошадь, лошадь на людей. Лошадь что-то жует, люди ничего не жуют. И капель с крыш... Будто подсолнечное масло капает – хоть рот подставляй.

Лошадь обступили со всех сторон:

- Чистый одёр!
- И что она жует?
- Жвачку же!
- Живачку?
- А ребрышки-то.
- Обратите внимание – она смотрит в небо.

Нет, лошадь – не чистый одер, а чистая весна. И хорошо, что смотрит в небо: там поблескивают чистые голубые лужицы, и ветер уже пускает по ним белые кораблики облачков. Да, брат апокалиптянин, это вот-вот весна и, заметь, небывало ранняя.

Дмитрий смотрит на лошадь – второе после таракана животное, что видит он за долгие месяцы, смотрит на небесные лужицы – не прольется ли из них дождь. Подставить бы себя под него – как чудом уцелевший бокал, и до краев наполниться святой дождевой водичкой, как вином любви к жизни и детской в нее веры. Снова, как в церкви – да весь город, как церковь – тонкий холодок пронзает сердце, колючий, как снег. И правда – идет снег. И колючий. Пусть только не выколет глаза: главное – виждь и внемли.

Небесные весенние лужицы далеки, солнце светит щедро, но греет сдержанно, даже случайно: к вечеру будет снова —30, и удержится так дней на последних десять: зима, как многое в России – особенно муки-неурядицы, – величайшая в мире.

Он идет по солнечной тишине города, будто усыпленного морфием, и ему кажется, что все это неправда, что это не его последние шаги по городу, по мукам, уже будто прошлым, по всему уже прошлому, что все это морфиническая фантазия и он, устав, вернется в Общежитку. Но – нет к ней возврата, она давно разгромлена. Конец Общежитие, конец кампании Голодной блокады. Он еще подымет себя над самим собой, своей судьбой – как бокал вина любви, и крови, и слез. Слез меньше всего – так, несколько лекарственных капель, да и то в церкви. Не считается.

И снова какой-то сердитый покойник преградил путь, будто только что упал, и Дмитрий упал на него.

– Эх, ты, увалень, – ругал себя, но напевал лейтмотив всех голодных пешеходов: «Лишь бы, лишь бы не упасть, не упасть», – вот и получай падение номер два.

Но судьба снова улыбнулась ему, хотя это была черная улыбка беззубого рта. «Не улыбка, а черная магия», – подумал, вставая, опираясь на твердую как камень, рукавицу... дворника. Что ж, и дворники бывают люди. Например – отец Игорька, большой «уважатель всякого-разного образования посреди народа». А этот – безумец долга, и Дмитрия он заметил случайно: сыпал песок на подведомственный «плитуар», строго около своего дома, причем посыпал и трупы.

– Как дела? – спросил Дмитрий.

– Чаво? Ничаво!

Дмитрий присел отдохнуть на ступеньках «неполной средней школы» имени кого-то. Школа, и правда, неполная: половина здания отколота бомбой. На покосившейся двери синееет жестяной, очищенный от снега, почтовый ящик. Он висит в ожидании писем, как скворечник – в ожидании скворцов. На привязанной к замку фанерке написано химическим карандашом: «С 1-го марта письма идут во все города СССР».

Рядом с почтовым скворечником наклеена «Ленинградская правда». На первой странице, под скромной сводкой Совинформбюро, – стихи Анны Ахматовой:

*...захлопываю Святцы.
Рядами стройными выходят ленинградцы
Живые с мертвыми. Для славы мертвых нет...*

Рядом ее же стихи о вожде, попавшем в поэтические святцы, мертвые для славы стихи. Но – искренние, как все в ней. Дмитрий вспоминает смуглое, тонкое, духовно-голодное лицо поэтессы на далеком, будто шумевшем в другой жизни поэтическом диспуте. Неужели она здесь? Дождалась своего душевного обвала. У ее музы, этой «милой гостьи с дудочкой в руке» – «смуглая рука» («Уединение»). В другом стихотворении «Муза шла по дороге» «смуглыми ногами». Не пушкинская ли это смуглая рука вела эту музу?

Рядом с гордым профилем поэтессы в дыму коромыслом поэтического диспута Дмитрий видит насмешливую и строгую «саму поэзию» – Тоню. А Бас, Саша, Чубук, Рудин. Где они все теперь?.. Нас было много на челне... Одних уж нет, а те далече...

Напротив школы обнажена бомбой сцена какого-то клубного театра, висящая в небе среди оборванных корневищ водопроводных труб и волокнистых проводов, покрытых ледяной изоляцией. Отдернутый, наверное, еще в мирное время, занавес красного бархата свисает кровавым сталактитом... Остановись, прохожий! Тебе будет представлена мирная жизнь – хотя бы в одном глупо пропагандном действии, чтобы ты на мгновение мог забыть о злодействии блокады. Что? Ты не хочешь? Пожалуй, ты прав. Покуда иди. Тебе, может быть, положены одним хорошим поэтом почему-то только четыре шага до смерти, и ни одного – так скажем мы – до бессмертия. Ты уже там.

Сивогривый и высокий старик с пытливыми, молодыми голубыми глазами подошел к Дмитрию, дыхнул добродушно:

– Не от голодного запоя свалился? Помочь встать?

– Спасибо, я сам. Уезжаю я.

– Я, кажется, тоже.

– Кажется?

– Да, не знаю, как Бог на душу положит. А визы, так сказать, все в порядке. Надеюсь, в дороге встретимся, герой.

Старик пошел дальше, прямой, легкоступный, как Апостол, а Дмитрий услышал тонкий скрип почтового ящика, как будто в нем уже вывелись первые письма. Порылся в портфеле, нашел конверт и бумагу, написал сестрам: «Я эвакуируюсь на Большую землю. Всегда помню о вас. Жалею, что не мог проститься: ни сил, ни времени не было. Будьте дружны. И постарайтесь уехать. Ваш Митя».

Опустил письмо и пошел быстро и свободно, будто стало легче оттого, что поделился с сестрами, как с родными, радостью отъезда.

Кафе «Аврора» по-прежнему прикреплено к Дому Техники. Только бомба может его открепить. Адмирального вида швейцар давно умер. А то все придирался к пропускам сотрудников, хотя никто его не боялся: видит, бывало, что срок до послезавтра, а говорит – сегодня последний день. Теперь, может быть, у него у самого спрашивают пропуск – на том свете...

Угол Невского и Литейного – хлебное место: две булочных рядом. Поэтому здесь всегда толпятся люди. Но толпятся как-то по-братски – будто поддерживают друг друга, чтобы не упасть, устоять, выстоять... Это люди кораблекрушения, люди льдин в Ледовитом океане крови, люди космического похолодания планеты, одним словом – апокалиптяне. Одни скоптеют, другие развивают в себе нечеловеческие стороны души, высшие чувства. Есть и поэты. Поэтому – мир еще не погиб.

... Можно не знать грамматики боя, но язык батарей понятен всем: если не полный прорыв блокады, то свободная трасса – хлеб, эвакуация, – спасение.

Вот он идет – спасаться... бегством, с видом победителя. Все равно. Пусть так. Хватит с него героизма. Действительно, «быть героем – это скучно». Да и какой он герой? Устроиться бы где-нибудь на первой попавшейся Большой земле в столовую, чтобы есть до отвала.

Голубоглазый старик вышел из толпы, спросил Дмитрия:

– Что, опять встретились? Опять можем и разойтись. Я кое-что выменять хочу напоследок. Сигареты – на хлеб: духовную пищу на материальную.

– Это так Бог на душу вам положил?

– А почему бы и нет. А знаешь ли ты, что самое главное в Боге? Любовь. Хотя бы и к замужней женщине. А тут что же получается? Нет Бога. Нет хлеба. Все дозволено?.. И сказано – не убий, но не сказано – не съешь. Но я и не съел. Одно из двух: или я дурак, чего не хочется

думать, или далеко не все дозволено, а Бог – это совесть. Как вы думаете? Меня больше всего поражает эта, не весть откуда в нас неизбывная совесть – главная черта блокады.

– Мой приятель Саша тоже так думает. А я по этим вопросам не специалист. Обратитесь к Достоевскому.

– Что мне ваш Достоевский, – обиделся старик. – Достоевский сидит в каждом русском, а вот Пушкин и Лермонтов не в каждом, и дед Толстой не в каждом. Знал я его когда-то, и он меня любил. Тонок был граф телом, а духом толст. А ты смотри, парень, как бы не имел и того и другого понемногу. Надо знать свою силу, и бояться ее, как слабости. Ну, да это я так просто. Иди, еще увидимся.

...Прощай, Невский! Держи выше свою голову под шлемом Адмиралтейства. Прощайте, неслучайные саночки и трупы.

... Вот и громадное тысячеухое и тысячеглазое здание НКВД. Теперь оно слепо и глухо. Надолго ли.

Дмитрий устал. Еле идет. И все время, будто, кто-то идет рядом с ним. «И что ты ко мне привязался, ангелохранительный двойник? – спрашивает он. – Или это я сам раздвоился. Надо спешить – пока нам не подставил ножку двойник, эта мертвая тень пополам с живым безумием».

Крейсера во льду сверкают громо-молнийным пунктиром, окутываются дымом, исчезают в нем, будто уплывают... А сколько прорубей – или воронок – в Неве! Писатель, махай в них свое перо, пиши. Только пиши правду.

«Вот и вокзальная площадь – последние квадратные метры блокадной земли. Но где же памятник Ленину на броневике? Уж не сбежал ли он, переодетый в броневик?» – думает Дмитрий и вдруг, впервые за все восемь месяцев блокады, слышит густой и уверенный паровозный гудок. Сердце воспринимает его как призыв к дальней дороге, к чудесной дороге жизни.

«Эй, ты там – интеллигентская и раздвоенная, к тому же светлая личность. Не чувствуешь, как душа твоя набирает пары, как паровоз? Выше голову – путь далек лежит».

Широкая площадь провожала его глазами впадинами свежих воронок.

38. Ленинград – Кубань

Поезд тронулся утром, и оно было самым ярким за всю блокаду. Над пещерами развалин, над голодной пустыней города, под рыканье осадных гаубиц, высунулась львиная голова солнца. Окутанный паром, поезд смело разрезал заколдованное кольцо блокады!

Дмитрий охотно уступил свое место кому-то и стоял, не отрываясь от окна. В вагоне жарко горела буржуйка, и около нее любители били вшей.

А за окнами, в океане солнца, коралловыми островками тонули и уплывали назад уцелевшие дома предместий. В снегу лежали мертвенно тихие заводы. Как неравны силы! Вся Европа дымит трубами, наведенными на Россию, как пушечные жерла, а здесь заводы-гиганты скованы гигантским покоем.

Под чистым небом, по залитому солнцем, как кровью, полотну, загроможденному составами и перевернутыми вверх колесами паровозами, все убыстряя ход, шел поезд. Два охранных истребителя висели над ним в параллельном парении.

Долго, бесконечно долго тянулись длинные руки-улицы города, будто он не хотел выпускать поезд из своей каменной утробы, медленно пятясь назад, в прошлое, в воспоминания.

Наконец, рука пространства, по-русски широко размахнувшись, отодвинула его за последний вагон, оставила за опушкой леса. И там поезд встретили ели в своих вечнозеленых бальных платьях, отороченных пушистым снегом. И корабельные сосны, сосны дальних странствий, шумели приветливо, осыпая снег. И ни одной погребальной сосны. На горизонте вырос синий воздушный горный хребет. И солнце – уже не роскошно-грозная голова льва, теперь лысая морда львицы Сохмет – египетской богини голода и войны.

Новая узкоколейная железная дорога вела к берегу Ладожского озера, к трассе. Трассу только что пробомбили. Воронки чернели во льду, как дыры в голландском сыре.

Эшелон выгрузили на снег, среди бескрайной ледяной пустыни. Морской ветер, парусами вздувая снежную пыль, гулял здесь об руку со смертью, задувая еще теплящиеся огоньки жизнью. Он был последним, еще не испытанным кошмаром блокады: такого в городе не бывало. Он сметал с ног, и не все упавшие поднимались. Таких оттаскивали в сторону. Быстро, совсем как в городе, вырос штабель трупов. Мимо него, хлопая брезентовыми крыльями, шли в сторону города машины с хлебом.

Подали открытые машины. Они быстро подходили одна за другой, но невозможно было установить очередь для посадки. Красноармейцы разводили руками, отходили в сторону. Многие плакали. Невдалеке у палатки, гордо подбоченясь, стоял генерал. И тоже плакал. Рядом с ним адъютанты почтительно вытирали глаза рукавицами.

А они с вялым и тоскливым боем лезли в кузова, то подталкивая, то отталкивая друг друга, теряли вещи, срывались вниз, ползли безумными глазами в снег, вслед ушедшим, до отказа набитым машинам.

Дмитрий еще раз благодарил судьбу за то, что она не нагрозила его жадностью к липкой материи. Он кое-как взобрался в одну из первых машин. Она долго не трогалась, потому что рядом остановилась колонна машин с хлебом...

Из кабинок поблескивали затравленно глаза шоферов.

Простая и широкая, белоснежная русская песня откуда-то неслась по ветру:

*«Степь да степь кругом,
Путь далек лежит,
В той степи глухой
Замерзал ямщик...»*

Дмитрий глядел на соседей: это были потрясенные щеки, глаза, бороды.

Наконец тронулись в предрассветную снежную порошу. Женщина с растрепанными волосами метнулась откуда-то со стороны, схватилась черными пальцами за скользкий борт, но не удержалась – ее не успели подхватить, и слабый полувздых-полукрик упал под колеса и затих, раздавленный.

Машины шли, не останавливаясь. Когда рассвело, Дмитрий увидел: впереди и сзади, и по обочинам дороги чернели трупы. На ледовом Невском проспекте их было больше, чем на Невском в городе. Умирали в машинах на ветру, и сбрасывали на ходу, чтобы не везти мертвый груз. Машины шли по ним, как по шпалам. Казалось, со всех сторон ползли они вслед ушедшим машинам. Мертвые устилали собой путь живым по белой дороге смерти – в жизнь.

Долго ли ехали – час или пять часов, Дмитрий не знал, но когда в снежной дали показалась линия свайных столбиков, он понял, что это противоположный берег Ладоги, обетованный берег. Большой – ох, какой большой – Русской земли. Это была станция – Борисова Грива.

Падал мягкий крупный снег – как лепестки белых триумфальных роз. Он встречал мучеников величайшей победы, когда-либо одержанной человеком на земле: над смертью, над нищетой духа и голодом, что страшнее смерти.

И здесь, на свайном берегу, выросла гора трупов. И здесь завывала тревога – как прощальный глас еще близкого, еще страшного и еще родного города. И она была как сигнал безумию, охватившему всю толпу, – вихрю воплей, стонов и проклятий, частоколу поднятых и заломленных рук с растопыренными, скрюченными или сжатыми в кулак пальцами – в сторону Ленинграда. Давно уже апокалиптыне были одинаково страшные, а теперь все совсем поравнялись: криком. Крик, слезы – делают всех людей похожими друг на друга и на своих каких-то чему-то или кому-то подобных предков. Славные наши предки (почему их не называют славными?) не умели как следует ни смешить, ни смеяться. Кричать и плакать – на это были мастера. Смех пришел позже. А за ним, как венец эмоций, – улыбка. Улыбка Джиоконды. Улыбка Чехова. Улыбка молодоглазого старика, который нашел Дмитрия, стоял с ним рядом и тербил за рукав, но Дмитрий не замечал. Мягкий и нежный диссонанс слов любви и прощанья тронул его растерявшееся в этом смятении толпы сердце, и он с невольной послушностью повторял за стариком, как заклинание:

– Прощай, город-гений, город-голод, город-самоубийца! Хочешь – верни нас, возьми нас снова!

– Пусть хоть через несколько жизней, но я вернусь к тебе, совершенно достойный твоего прекрасного гранитного духа, Северная Пальмира, колыбель русских поэтов! – говорил старик.

– Не правда ли, молодой человек, мы вернемся? Только ты успокойся, только ты не плачь... Я старый человек. Моя жизнь прошла, поэтому мне разрешается поплакать. А твоя жизнь еще только начинается. Ты пережил трагедию блокады, – но ведь это только часть, хотя и самая страшная, трагедии войны, и еще более – великой русской трагедии, которой, кажется, и конца не видно. Но, как сказал поэт: Вынесем все, и широкую, ясную Грудью проложим дорогу себе...

– Вот я стоял среди этой беснующейся толпы и спорил с Леонидом Андреевым, которого я хорошо знал и люблю. Помнишь его «Царь-Голод»: «Чего не сможет сделать голодный»? – Все сможет, – отвечаю я. «Но разве побеждал когда-нибудь голодный?» – Да, он победил в блокаде. Разве я не прав, юноша? Разве ты не чувствуешь себя победителем?

– Не знаю, – тихо ответил Дмитрий. – Я так мало сделал для победы. И уж если вы спорите с Леонидом Андреевым, я вспоминаю его «Анатему»: «Я – Анатема. Я гуляю по свету, и пусть я не буду знать, что мне делать. Я хочу видеть все подвластные солнцу страны, где оно хоть немного светит».

– Вот ты какой у меня герой, – весело сказал старик. – Хорошо, может быть, ты вдоволь погуляешь по белу свету, может быть, он обернется тебе черно-светом или приголубит. Это

твое дело. Но вот что меня мучит: неужели мы с нашим зарядом гордости и мужества – не построим своими руками такую жизнь, чтобы потом не стыдно было вспомнить о надмирных днях блокады. Чтобы отовсюду, где бы ни был и как бы хорошо там ни было, хотелось вернуться домой в нашу маленькую Россиюшку, как говорил один мой приятель, профессор Пошехонов.

– Да это же мой профессор! – чуть не вскрикнул Дмитрий. – А кто же вы? И я помню эти слова.

– Я – писатель. Старый, никому теперь не нужный, бывший писатель... Ну, слышно паек дают. Пойдем-ка «оторвем».

– Толпа безумствовала недолго: открылись двери огромного барака, и все, по-блокадному привычно толпясь, вошли внутрь. Сразу же открылся другой барак – и закружились как в карусели.

– Еще бы: в одном бараке дают шоколад, печенье и яблоки, в другом – обед: суп и гречневая каша с большим куском мяса. Мясо это сразу остановило дыханье нескольких, потому что нельзя же так – в одно глоткомгновенье. Их отгаскивают к горе трупов.

– Над столами в бараке-столовой висят плакаты: «Не ешьте все сразу!», «Вы будете сыты». Кто это писал, тот не знал, что такое восьмимесячный голод.

– «Привет героям Ленинграда! – Ленинградцы! Страна не забудет ваших мук!» Кто это писал – тоже не знал, что пишет.

– Сперва толпами, потом гуськом ходят из барака в барак, остановившимися глазами выпрашивают добавку. Кому дают, кому нет, – как всегда в России – по симпатии. Любителей глотать по-гусиному лупят по спине или, если это не помогает, выгоняют из барака на мороз, если не относят к горе, все растущей. Какие-то добровольцы, или чтобы пошарить по карманам мертвых, по-блокадному складывают штабель. Только сумасшедший демобилизованный летчик никак не может уgomониться. Он бегаёт между бараками, распластав «руки-крылья», и с диким воем «пикирует» на толпу. На него не обращают внимания. Он съел уже несколько обедов – и ничего, а другие после двух с ног валятся, как пьяные. Триумфальный снег идет со все нарастающей силой – будто снежный обвал на другой планете, расплывая по дороге, донесло до земли, до Борисовой Гривы. Из-за сыпучей метели послышался лай собак.

– Слышали? – спрашивали друг у друга в бараках. – Никак живые собаки? – и выходили послушать, как соловьев. Нашлись и такие, что уверяли, будто слышали мычанье коров. Но им не верили.

– Никто ни о чем не объявлял, все как-то узнавалось само собой. Оказалось, что на другой стороне вокзала еще один перрон, и там давно стоит эшелон, и каждый может забираться в какую ему вздумается теплушку. Да, это были товарные вагоны. Страна считала, что героям неудобно ехать в пассажирских вагонах. Или у страны не нашлось таких человеческих вагонов для героев. Зато страна не забыла положить пирамидку дров у каждой буржуйки во всех «пульманах».

Первое, что сделали, разместившись в вагонах, – затопили буржуйки, второе – заткнули щели и дыры в стенах всяким барахлом. Бывшие апокалиптяне не выносят холода, он и без того у них во всех складках души и тела.

....Утром эшелон тронулся и пошел по белой и печальной русской земле, занесенной снегами и бедами. Прощай, Борисова Грива, незабываемая ты Грива.

* * *

И пошла гудеть под колесами Россия.

Россия... Бесконечны дороги твои железные, заносимые то снегом, то песком, с вокзалами-дворцами и деревянными станци-юшками, затерянными в необозримых пространствах и смутных временах...

Первая остановка – в Тихвине. Раньше почти к самому вокзалу подступал сосновый и березовый лес, теперь он отступил, под огнем войны, теряя на поле боя сотни оголенных и обуглившихся деревьев. На уцелевших березках неподвижно сидят воробьи, как неопавшие прошлогодние листья. Они даже не чирикают. Смотрят на невиданных людей круглыми умными глазами. Среди стволов чернеют танки со свастикой, и с красными звездами, и курносые противотанковые пушки, и орудия, защитно расписанные языками пламени, с носами, уткнутыми в небо или в снег. Около самого вокзала валяется отбитая чашка танковой башни, полная кровавых комьев и грязи со снегом. Вот она – чаша войны! Давно ли здесь прошел бурелом большого сражения за осажденный город, за то, чтобы его жители и защитники теперь спасались бегством с видом победителей?

Но голод еще не сдавался. Он гнался за эвакуированными по шпалам, ехал за ними в вагонах, горел в них самих, как незаживающая открытая рана в желудке, или – как всепожирающий и высасывающий солитер.

Тихвинский обед был знаменит: о нем писали из эшелонов в Ленинград: капустные ши, пельмени, сладкий рис, апельсины и чай с вареньем. А сухой паек – шоколад, яблоки, печенье!

Но в дороге, через два часа тряски, ни у кого ничего не осталось ни от обеденной сытости, ни от подарков тихвинцев-железнодорожников (жителей не было видно), и, как острили неумирающие остряки – от сухого пайка осталось только мокрое место. Жаловались на тряску и во всем обвиняли ее.

Вологда – первый город, встретивший эшелон. Правда, замерзшая толпа молча стояла на перроне и по всей дороге от вокзала до ресторана, где ленинградцев ждал обед (они только и думали о нем: хуже будет или не уступит тихвинскому).

Вологодцы встречали уже не первый эшелон, но все еще не верили своим глазам. Мрачные, веселые, горестно-изумленные лица. Кое-кто навеселе. Эти ничего не несут, кроме четвертинок, а то и пол-литров. Угощают, сами пьют. Заливаются пьяными слезами: «Родима-аи, до чего же вас давя-яли»...

Ходят по вагонам шатаясь, просят «дать пять» – тех, кто неподвижно сидит или лежит на своих вещах. Таким приносят обед и паек соседи, в почетном сопровождении встречающих. Это вернее, потому что соседям не всегда удается благополучно донести обед: съест по дороге, или случайно уронит и собирает со снегом в котелок. Но может и со снегом съесть и не донести. Многих отвезли в госпиталь, хотя он, говорят, переполнен военными.

Вологда, оказывается, глубокий тыл: всего две бомбы за всю войну. Встреча не организована, и слава Богу: ни флагов, ни лозунгов, ни оркестра, ни приветственных речей. Власть правильно полагается на народ: он сам знает, как встречать и угощать водкой. Страна не забудет мук героев. Но в Вологде не приготовили для эшелона дров. Пришлось на первом же полустанке растаскивать ветхие, снегозащитные заборы, к счастью, поваленные метелями: не стоило больших усилий.

И пошли стеной леса. Их еще не коснулась война, да уж и не коснется, даже концом крыла – ни истребителя вражеского, ни бомбардировщика.

И снега, снега. Главная Россия – от Вологды до Волги.

Эшелон шел сквозь свистопляску последних, отметающих зиму, мартовских метелей, за ним шли другие – в день по эшелону. Они громыхали как будто из другого мира, из незнакомой страны, из неизвестной эпохи, зачеркивая собою «смерть» из упрямой и короткой фразы: «Победа или смерть». Они были – победой!

Но голод – он еще не был побежден. Есть! Все время хотелось есть. И смерть вместе с самолетами-истребителями сопровождала эшелон, за ноги вытаскивала трупы из каждого вагона на каждой станции.

Эшелон живых трупов медленно двигался по громадному, еще не опаленному войной куску страны, почти не знавшей о трагедии северной столицы. Творимая народом легенда о

блокаде растворялась в его же толще: и верили, и нет. Как же не забыть стране мук героев, о которых она знает так официально-мало. Не потому ли страна забывала приготовить для эшелонов-героев дрова, ни разу за всю дорогу долгую, через почти всю Россию, с севера на юг, не сводила в баню, не пересадила из загаженных дистрофическим поносом скотских вагонов в людские... Холод, голод и вши блокады несли с собой эшелоны через всю страну.

Толпы людей ожидали апокалиптян на всех узловых станциях. Будто с легкой руки Вологды – нигде не было приветствий. Не было демонстраций. Не было радостных возгласов. Молча глядели неверящими глазами. Из вагонов выносили трупы и складывали по-блокадному: находились любители, карманники и маньяки, готовые из последних сил сложить «штабелек». Дай им волю – будут ставить покойников манекенами, как в Адмиралтейском сквере, в вокзальных первых классах...

Потом с подножек сползали живые трупы с черными и серыми масками лиц, с безумными глазами и пьяной неуверенной походкой. Перед ними расступались с немym почтительным ужасом.

Горожане встречали своих лучших братьев – героев непоколебимых мук, первых горожан России – инженеров, рабочих, ученых, писателей, артистов и студентов. Все они, углелицы, почти потерявшие человеческий облик, не знали, что они апокалиптяне, грозное предупреждение миру. Эта война ясна. Долго она не будет длиться. Но потом, если не уживутся два мира, если не пойдут на компромиссы – и недостроенному коммунизму, и пресыщенному капитализму придет на смену новый общественный порядок – апокалиптизм, как преддверие Апокалипсиса. Новой войны не будет. Будет катастрофа. Человечество, кажется, уже созрело для конца мира, хотя никогда по-человечески не жило.

– Мы – ленинградцы! – говорили серолицые с жалкой гордостью. Но больше молчали. В ресторанах или столовых, где их хорошо и сытно кормили, царила сдержанно чавкающая тишина.

Эшелоны часто стояли на полустанках, пропуская военные составы. И чем дольше они стояли – тем больше хотелось есть. И вот тогда подходили к вагонам колхозники – старики и старухи, и начинался бессовестнейший торг. Рубашка шла за полведра картошки, ботинки – за литр подсолнечного масла. На драгоценности не обращалось никакого внимания, признавались только часы. Ничего не имеющие на обмен только покачивали головами: больно и стыдно смотреть.

«Да твой ли, русский ли это народ? Это пострашнее “мурла мещанина?” – “дико глядится лицо онемелое”, и жадно глядится это иго-татарское лицо с клеймом тоски и страдания, не смытым даже кровью истории. А ты-то думал— герои! Посмотри на этих скотов – нужен ты им? – горько думал Дмитрий. Портфелишко его давно ушел на подметки за пол-литра масла, выпитого, как пиво. – Государство дерет с них шкуру, а они с тебя готовы снять последнюю рубаху... И что за люди! Чем они лучше, чем при Тургеневе: “Орловский мужик не велик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья”... Исподлобья – можно так сказать, Иван Сергеевич? Велик и могуч русский язык. Не кажется ли вам, что он куда более велик и могуч, чем народ, его создавший? Да и народ ли его создавал? Писатели из народа – единицы...» Но другой голос, таинственный и приглушенный, как горное эхо, – может быть, голос крови, нации, наконец, совести – возражал ему: «Ты говоришь – скоты, а сам едешь в скотском вагоне, в грязи и вшах. Ты не виноват? Так, может быть, и они не виноваты? Ты не подумал об этом. Орловский мужик? Не забывай, что цвет России погибает на фронте, как вымирал в блокаде. В тылу – партийные чинуши, калеки и полукалеки. А русский язык, если тебе уж так хочется афоризма, – гораздо богаче русского народа – это еще может быть, да и то условно...»

«Хорошо, – согласился Дмитрий. – Нельзя смотреть на скотов из скотского вагона. Ниоткуда нельзя смотреть на них свысока. Но лучше бы глаза мои их не видели...»

* * *

В вагоне из тридцати бывших апокалиптян до Сталинграда доехало двенадцать. Кого сняли в госпиталь, кого накрыли брезентом. Оставшимися силами вычистили вагон, разыграли в лотерею вещи и деньги умерших: так в эшелоне делают, чтобы блокадное добро не доставалось милиционерам или государству. Поэтому трофейные золотые часы и несколько тысяч благоприобретенных рублей не жгли рук Дмитрия, а только грели: вот уж, не было ни гроша, да вдруг алтын. Можно было кое-что прикупить на базаре, вроде котлет. Так мертвые все еще кормили живых.

Эшелон загнали в тупик. Чтобы попасть обедать в кафетерий, высокое полукруглое здание около вокзала, видное издали, нужно было или подняться и пройти по мосту, или ползти под бесчисленными составами через все железнодорожное полотно.

Все движение остановилось: ползти.

Выходя из кафетерия, Дмитрий встретил старика-голубоглаза.

– Как, набираемся сил? – спросил он весело. – Вижу, вижу – появляется здоровая желтизна, заменяющая нам румянец... А не пройтись ли нам на базар? Слышно стоять будем целый день. Ох, надоело мне что-то ехать...

– На базар – с удовольствием, у меня и монета появилась, – согласился Дмитрий.

И они пошли, посмеиваясь над воздушной тревогой, тоненько и заблудше проголосившей над городом Сталинградом.

Милиционер, мановением белых перчаток загоняющий всех в подворотни, только что распекавший торговку за то, что она не хотела спрятать куда-нибудь свои телеса с корзинами, – отдал им честь:

– Вам на базар, товарищи ленинградцы? Прямо через вокзальную площадь и потом прямо – налево.

– То-то, служивый. Знаешь наших. Прямо-налево, – ворчал старик, улыбаясь.

На очищенной от снега площади сотни огромных грузовых машин сверкали на солнце забралами радиаторов. Аромат свежей краски, как весенних цветов, воздушными букетами расцветал и носился по ветру. Солнечная капля звонко шлепала на мостовые, будто вбивала в асфальт мельчайшие тепловые гвоздики. Да, впервые по-весеннему светило солнце-капель-мейстер.

Не прошли они и ста шагов, как перед ними открылась Волга. Зимой или летом, нежной синью или грозным предбурьем, перед кем бы неожиданно не открылась она, не найти иного слова: стена. За кособокенькой левитановской церквушкой, с уцелевшим маленьким, будто нагрудным – у севшего на купол облака – крестиком, начинала белеть, как снежная равнина, Волга, и росла, и росла до самого неба. Лед уже начинал «дышать» с легким трескотным шумом.

Оба, молодой и старик, забыв о базаре, о том, что неплохо бы «подзакусить», что эшелон может уйти без них, – сидели над Волгой, слушали ее могучее дыхание, пока солнце не опустилось за горизонт. Не сегодня – завтра оно встанет над тронувшейся Волгой, поплывет по ней, солнце-ледокол, а какой-нибудь задумчивоозорной студент скажет: – Лед тронулся господа присяжные заседатели! Весеннее сумасшествие Волги начинается!

Кто бы знал, что вскоре весь шестидесятикилометровый город, столица Волги, будет разбит вдребезги, и даже от причалов не останется камня на камне... Но были такие – «предчувствовали».

– Нет, я никуда дальше отсюда не поеду, – сказал Голубоглаз. – Остаюсь дожидаться событий.

– Каких еще событий? – спросил Дмитрий.

– Самых главных. Здесь не сердце России, но ее середина. Здесь могут перерезать Россию пополам.

И он остался. Проводил Дмитрия до вокзала, даже прополз под несколькими составами. Потом расползлись в разные стороны.

Не все вернулись в эшелон обратно. Некоторые не доползли нескольких метров. Естественный отбор. Неестественный отсев?

Тронулись только утром, когда над Волгой вздымалось богатырское солнце. Солнце-ледокол.

...Дальше загудел поезд уже по черной, в весенней испарине, земле с нестаявшими снежными островками: Сальские, можно сказать, столовые степи: ровные, как стол.

Эшелон подолгу стоит на полустанках. Мимо громяют длинные составы с пшеницей и горючим.

Эти тополиные полустанки! Здесь у каждой будки – сторожевые тополя.

И вот наконец последний этап великого перехода Ленинград— Кубань: занесенная степями Тихорецкая. Большая станция – долгая стоянка. По перрону важно, все еще дистрофической лыжной походкой, расхаживает почти всё население эшелона, без пальто и шапок: солнце юга. Да и весна, оказывается, давно в разгаре: конец апреля. Месяц в пути...

Потеют не от одного тепла – от сытости. Сосредоточенно жуют кукурузу. Это уже «баловство от жиру». Настоящая живая кукуруза – разве не наслаждение?

За Сталинградом сразу же начались и запестрели на каждой станции по-довоенному веселые и продувные торговки – чем южнее, тем добрее.

В ресторане дают строго официальный суп. В конце пути, когда половина эшелона попала в неестественный отсев, выдумали какую-то диету. Кому она теперь нужна? Выжили только богатыри. И они считают, что никакой суп не сравнится даже по калорийности, не говоря уже о вкусе, с борщом. Поэтому торговки, узнав об этом, очевидно по «беспроволочному летиграфу», предлагают неслыханным и невиданным в мире «клиентам» борщ в котелках и горшочках, – бесплатно, если впридачу к чему-нибудь, или за тридцать-сорок копеек. Торговки прячут деньги под юбки, с опаской поглядывая на пацанов. Чумазые мальчуганы с восхищением глядят на ленинградцев и с презрением – на торговок. Совсем, совсем продувное предвоенное время... Вот даже желтая курица лежит на дне корзины, задрав лапки, коричневеет, дожаривается на солнце. С лица курицыной «тетки-толстетки» как ее назвал Дмитрий, капает пот, как жир с курицы, когда ее благоговейно поднимают за лапки. Кто-то сует тетке золотые часы: «Ни в жизнь такой-то не видывал!» Но сзади одергивают: не сходи, брат, с ума: здесь подавай деньги.

Живые куры сонно бродят вокруг вокзала, бесстрашно переходят пути. И воробьи, воробьи, как пушистые пули!

«Несправедливость больших пространств, – думает Дмитрий. – Где-нибудь в Рязани или Тамбове голодно и холодно, а здесь курицы жарятся на солнце. Несправедливость и тех, кто этими пространствами не умеет владеть... А попробуй-ка, совладай...» Путь от Осажденного до Кубани не уменьшался у него в памяти, словно он был слишком велик не только для одного путешествия, но и для целой жизни.

Торговки продают также и жареные семечки, и быстро выясняется, что лузгать их – тоже наслаждение жизнью, теперь, кажется, уже спасенной. Только неловко собирают слюнявую шелуху в руку, что на Кубани не полагается: надо смело и гордо плевать под ноги – и свои, и прохожих.

Эшелон стоит и стоит, за день проходит несколько торгующих поколений: бабенок сменяют девчата, девчат – девочки, девочек – старухи, под вечер снова приходят бабенки с неумолкающим: «Да Боже-ж мий, це опять же ж ленинградский ишалонт! Глянь же ж, яки воны»...

... По всем вагонам объявлено, что эшелон идет в Кисловодск. Никто нигде не имеет права сходить без разрешения. «Силой – в рай, как силой – в ад, как все и во всем у нас, – думает Дмитрий. – Но я не из таких. Я – дома...»

Дома... Это чувство неожиданно и ароматно, как гора весенних и триумфальных цветов с плеч судьбы, сваливается на его плечи. Поэтому, когда шипя и сыпя искры вокруг, нагоняя летящий ужас на кур, подошел товарный поезд и остановился с мягким и вежливым лязганьем – вот я только на минутку напишусь воды, а вы уж меня пропустите вне очереди, – Дмитрий недолго думал. Подошел к паровозу. Как хотелось потрогать его лоснящиеся, впалые после дальнего пробега, бока...

Из паровозной будки свешивались, как крылья чайки, белые усы мазутно-чумазого машиниста.

– Не на Ставрополь? – спросил Дмитрий.

– Нет, – ответили усы.

– И не на Краснодар? – Опять же нет.

– Значит, куда мне надо – в Гирей?

– Тогда садись, что ль. Подвезу. Ваш-то теплушняк мядли-итель-на-ай.

– Вот, спасибо. А то я уже хотел к вам смазчиком проситься.

– Куда уж тебе. Самого в пору смазывать. Чай все кости скрипят?

– Откуда сами? Диалект что-то не здешний... Не с милого ли севера?

– В сторону-то южную? Угадал, брат. Тверские мы. Без всякой диалектики. Садись, знай, в какой-нибудь тамбур. Слышь, главный уже отправление дает. Нам остается только свистнуть. Рад-радешенек, небось? И я рад тебя подвезти – за милую душу. Ведь экое счастье человеку выпало – в такую-то годину домой возвращаться...

– Домой! – прошептал, набирая шипящего пару и прокричал паровозный гудок.

– Домой! – отозвалось пыльное степное эхо.

– Домой! – шептал, говорил и кричал Дмитрий под стук колес и сердца стук.

Длинная рука пространства распростерлась над поездом. Вот-вот опустится она и смахнет в прошлое весь путь, с севера на юг величайшей в мире страны.

Кто-то незримый и близкий кричал вместе с Дмитрием, но и успокаивал: «Главное, господин неврастеник, не сойти с ума на данном отрезке времени и пространства. Держись крепче – помни лейтмотив блокады»...

Вдруг холодно опавшее ожидание сковало душу. Ехать бы да ехать так еще день, два, неделю! Нести в себе это ожидание встречи, чудо возвращения с того, блокадного света... Подумал, усмехаясь: «Ненормальное чувство».

Тамара никогда не могла сказать «неврастеник», – только «нервостеник». Она улыбнулась ему где-то совсем рядом, будто из соседнего вагона с сеном... «Родная деревня! Скоро ли тебя я увижу. Гораций», – и Саша улыбнулся ему неизменно дружески. И кланялись полустачные тополя, над ними лениво висели вылепленные облака, а над облаками учебный истребитель приветливо покачивал фанерными крыльями.

Черные, серые, зеленые, желтые куски земли наплывают навстречу, и только приблизятся – отбрасываются назад.

Не так ли жизнь, как поезд, – все отбрасывается назад... Но душа – она вечно возвращается к прошлому. И ее не отбросишь.

Поезд бурей громыхал на стыках степных рельс, с легким и щемящим отрывом от земли. Под четкую колесную частоту – снова: «ехать бы да ехать, без конца и незнамо куда», – это «ненормальное», тормозящее чувство.

А поезд мягкими толчками сбавил ход, прошипел тормозами и остановился. Тополя знакомого с детства разъезда будто узнали мальчика с серебряной сединой в висках, приветливо зашумели, показывая под ветром обратную серебристо-медальную сторону листьев. Луна

повисла над ними, как медовая чаша, с пчелиными роями звезд вокруг. Откуда-то слышалось шелестящее, летящее течение быстрой реки. Ее нигде не видно, будто она течет в упоенном вечерней тишиной небе.

Сошел размять ноги. Подошел к паровозу.

– Ну, видать, застряли до утра, – сказал машинист. – Как всегда у этой двойной будки... Лезай погреться. Да чайку бы выпил.

– О, неужели будем стоять до утра? – Дмитрий вдруг забыл о «ненормальном чувстве». – Тогда я пойду пешком!

– Окстись, сумасшедший! Почитай десяток километров, если не больше, до твоего городишка. Не валяй дурака...

... Он шел всю ночь. На первом километре оставил пальто, на последнем, уже ввиду города, на Кавказской горе, первой высоте Кавказа, снял разбитые на последних окопах ботинки.

Чувство дома... Кто не возвращался домой из далекого путешествия, из тюрьмы или с фронта, кто всю жизнь уютно и счастливо прожил дома – тот не знает чувства дома, чувства нашего страшного века мировых войн.

Занималась заря. Или рассветало в душе? Внизу, в долине, как свернувшийся клубком кот, спал родной город – весь в белом цвету садов, опоясанный широкой, тонущей в сумраке, лентой реки. Утренняя звезда стояла над темно-красным пятном крыши – такой, как сотни других – для глаза, и как только одна на свете – для сердца.

Пригородная пастушья свирель разбудила будто наготове дремавшие в памяти знакомые стихи любимого поэта:

«Свирель запела на мосту,
И яблони в цвету,
И ангел поднял в вышину
Звезду зеленую одну».

Почти все так: и свирель, и яблони в цвету, и зеленая звезда, и, может быть, ангел-хранитель, или двойник – за плечами. И зеленые ее, Тони, глаза будто мерцают близко... Все так. Все на месте. Только сердце не на месте. Оно замерло вдруг, пронзенное северным, колючим хвойным холодком – как стрелой, пущенной из покинутого далека. Тихий и сокрушительный удар по нервам, сверху вниз, как в церкви на Театральной площади, – свалил с ног...

И он катался по траве – в диком, зверино-нежном иступлении, рвал цветы зубами, целовал их сонные головки и рассыпчатую, как крупчатка, землю на корнях.

Потом встал во весь рост и пошел, шагая широко, будто ногами обнимая землю. По траве. По цветам. По бездорожью. В белые сады в розовой пене, в тихие переулки, в румяную утреннюю муть. И шелковистая теплая пыль омывала безумные босые ноги.

Выглянуло солнце, и открылся ясный и спокойный голубой день, а на одном из бесчисленных переулочных поворотов – редкозубый забор, и строго посередине его одна видимость – из двух досок накрест – калитки, а за нею совсем не белые, а розовые яблони, а за ними на заднем плане низкий саманный дом с розовой, как рассвет, дубовой дверью.

Выходи, брат родной дом, на передний план. Разве не за тебя идет величайшее сражение на земле? Впрочем, может, и не только за тебя.

И откуда ни возмись – залаял пес. Пес – это неожиданность. Лохматый незнакомец.

– Как смеешь ты на меня лаять? – спросил Дмитрий. – Да знаешь ли ты, что мне теперь не страшны никакие собаки в мире! Смотри, брат, как бы я тебя не съел.

Профессионально чутким носом пес обнюхал скелетные ноги пришельца и с тихим визгом бросился на грудь, почуял: молодой хозяин.

С трудом устояв под натиском собачьей ласки, Дмитрий поднял руку, чтобы постучать в дверь... и оглянулся, будто ожидая увидеть что-то, что следовало за ним неотделимо всю дорогу.

Но никого не было: белый, голубой и желтый день...

И будто тяжелая ноша пала с плеч: так стало легко. И беспомощно. И одиночественно. Ведь никто никогда не поймет ужаса пережитого, кроме таких, как он, бывших апокалиптян. Нет страшнее одиночества среди родных. И он будет вспоминать о себе как о чудесно и чудовищно чуждом человеке.

– Двойник, предатель, зачем ты покинул меня? – Пес, думая, что босоногий гость обращается к нему, взвизгнул захлебистой. – Правда, без тебя на душе легче. Мне грустно и легко. И печаль моя – светла, как этот Божий кубанский день. Мне бы теперь смуглую руку поэта, чтобы постучать в дверь.

И будто кто-то взял его за точеное голодом запястье и постучал костяшками пальцев в дверь.

– Кто там? – услышал он голос той, чьи морщинки на лице не считаны.

...До этого нужно было дожить. И он дожил. Только нервный спазм сдавил горло. В конце пути и нечеловеческих мук он пришел к началу всех человеческих чувств – к матери и родному дому.

– Кто там? – громче и тревожней.

Но в ответ матери только радостно взвизгивал пес.

Конец

Франкфурт-Майн 1953 – Париж 1955.